

# ТОЧКА ОПОРЫ

Лениздат



повести  
и  
рассказы

Владимир Лысов  
Николай Вахта  
Анатолий Конгро  
Вячеслав Всеволодов  
Павел Кренив  
Борис Марков  
Антон Савенков  
Павел Денисов  
Рэм Наумов  
Виктор Кречетов  
Владимир Сухов  
Вячеслав Силин  
Виталий Ильяшов  
Александр Матюшкин-Герке  
Вячеслав Гречнев  
Виктор Петров





**ТОЧКА ОПОРЫ**

*Выпуск шестой*



*повести  
и  
рассказы*

84.3P7  
Т64

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

*С. А. Воронин, Н. С. Пантелеймонов (составитель),  
В. А. Смирнов*

Т  $\frac{4702010200-117}{M171(03)-84}$  197-84

© Лениздат, 1984

**1**

**ПОВЕСТИ  
И РАССКАЗЫ**

**СИГНАЛЫ  
ТОЧНОГО  
ВРЕМЕНИ**

*несколько  
дней*

*из жизни  
молодого*

*радиожурналиста*



**Владимир  
Лысов**

*повесть*

*День первый*  
**НАЧАЛО**

— Ваши обязанности пока невелики: две программы в месяц. Первое время рассчитывайте на мою поддержку. В друзья не набивайтесь: кофе будем пить вместе лишь после того, как зарекомендуете себя самостоятельным. И не нормируйте свой рабочий день, — это прерогатива взволнованных радиослушателей.

Старший редактор расхаживал по комнате. Говорил он, как диктовал, — размеренно и неторопливо.

Новичок, робея, осматривался.

Тесно было в редакционной комнате: три стола, полдюжины стульев и журнальный столик, а вся комната — размерами восемь на шесть редакторских шагов.

По стенам ее — красочные афиши, плакаты минувших выставок, чемпионатов; сувениры, доставшиеся, видимо, в командировках: шлюпочный кранец, пучок сухих пшеничных колосьев, сизое стальное литье...

Чужая комната. Один стол свободен.

— Ваш стол. Отдельный. Стекло сами раздобудете, а телефоном будем пользоваться моим.

Старший редактор помолчал, будто соображая, стоит ли говорить.

— Знаете, почему я вас выбрал?

— Понятия не имею...

— Случайно прочел в газете ваш очерк...

Новичок буркнул «спасибо» и покраснел.

— Пожалуйста, — ответил старший редактор.

За дверью шумели. Той же гусиной походкой он прошагал к ней и неожиданно пнул ее. Высунувшись, внушительно, громко сказал:

— Кончай новгородское вече!

Алексей подошел так, чтобы было видно. Двое, о чем-то спорившие в узкой полутемной передней, смолкли по окрику старшего.

— Вот это Слава Брянцев, редактор,— представил их шеф новичку.— А это Кирюша Сальский. Тоже редактор, но музыкальный.

Брянцева Алексей Долгов знал заочно. Он его совсем другим представлял: с внешностью нервного, интеллигентного, незаурядного человека. Только этот самый Брянцев, факультетская звезда, оказался спортивного вида парнем, с плотным лицом, с шеей борца.

Он довольно приветливо поздоровался с Алексеем. Кирюша Сальский любезностью не отличился: коротко, незаинтересованно кивнул и обратился к шефу:

— Юра, послушай, чего я тут сочинил... Тут у нас спор возник...

Он читал быстро, без пауз, торопился, глотал окончания.

— Мура! — сказал шеф.

— Почему?

— Смысла нету, одна показная эрудиция.

— По-моему, все ясно... Неужто нужно растолковывать такие вещи? Как говорится, между строк...

— Не знаю, как между строк, а так — мура!

...Нет, Долгов не испытывал одуряющего восторга при мысли о том, что все это становится его повседневностью. Как ни старался старший редактор Жаров, Леша в продолжение его разговора с музыкальным редактором ни разу не улыбнулся.

Жаров ошибался, представляя себе, что творится в душе этого мальчика. Ему казалось — новичку прямо таки не терпится вступить в свои права. Жаров позабыл свой первый день, себя самого тогдашнего.

— Пока все. Займитесь чем-нибудь, осваивайтесь... А я, пожалуй, поработаю.

Работал Жаров серьезно, сосредоточенно. Лишь иногда отрывался от бумаг, пустым, невидящим взглядом смотрел куда-то вверх и прямо перед собой и, словно что-то вспомнив, опять принимался писать быстро, уверенно.

А Леша маялся без дела, курил.

— Вообще-то,— сказал шеф, откладывая ручку,— работать здесь почти невозможно. Только уж в крайнем случае. Я, например, чаще всего пишу дома. А

здесь — все организационные дела. Главное, что я от вас потребую, — качественно и в срок.

И как только Жаров сказал это «качественно и в срок», Долгову стало плохо: как раз об этом он и думал — сможет ли качественно и в срок?

— Присмотритесь к Губину, вашему соседу. Вот кто действительно умеет организовать свой труд.

...Таким он и оказался, Губин: энергичным, деловитым, собранным. Сразу, как только вошел в комнату, поздоровался, сел за стол — забыл обо всех присутствующих. Быстро просмотрел почту, позвонил, о чем-то договорился, сбегал переписать кассеты, вычитал материал, который ему принесли с машинки...

— Геннадий Александрович поможет вам обрести кой-какие первоначальные связи. Впрочем, и я тоже. Но я — это я, а Геннадий Александрович знаком со всеми, с кем только возможно и невозможно.

Губин вкалывал, не интересуясь, что говорит о нем начальство.

Скоро Жарову надоело вводить в курс дела. Этикет был соблюден, проку от новичка пока что не предвиделось, и он отправил его осмотреть «контору», раз-другой заблудиться в ее бесчисленных коридорах и переходах, поскольку плутать лучше сейчас, пока нечего делать.

Долгову это кстати пришлось. Хотелось побыть одному, свыкнуться с новыми ощущениями, успокоиться. Как раз спокойствия ему не хватало прежде всего. Ведь как бы он ни усыплял тревогу, две практики — одна в Ярославле, другая в Брянске — еще не делали его журналистом, он это понимал. Там давали задания — здесь полная самостоятельность, которая, против ожидания, пока что нисколько не радует.

Алексей тихо, неслышно ступал по толстым ковровым дорожкам коридоров, читал надписи на дверях, запоминал.

В коридорах студийного этажа строители разбросали мотки кабеля, куски линолеума: шла очередная реконструкция студий.

Он спустился в первый этаж, в фойе. Влиятельное учреждение, в котором он теперь работал, Областное радио, размещалось в здании бывшего земского суда. Первый этаж блистал холодной белизной искусственного мрамора и мела.

...В передней Губин что-то расшифровывал. Леша



подсел к нему. Никогда еще не слышал он рабочей записи. Но Губин расшифровывал с наушников.

— Дай ты парню послушать! — выглянул из комнаты Жаров. — Пусть его приобщается.

Губин встал из-за журнального столика, за которым расшифровывал, и протянул Долгову ручку.

— Вот тебе ручка, вот бумага. Приобщайся. Порасшифровывай за меня, а я пока пообедаю.

Показал, какие кнопки нажимать, и был таков.

— Ну и гусь! — посмеивался Долгов. — Наставник! Учитель!

## *День второй*

### **ТАИСЬЯ ФЕДОРОВНА**

Уже с неделю он возвращался домой затемно, когда соседка спала. Снял комнату месяц назад, а мечтал о ней пять лет, об отдельной, в которую никто не войдет без стука, — и целую неделю допоздна просиживал в редакции, болтался по улицам: наскучило одиночество.

Сегодня он шел домой рано, поэтому выбрал самую дальнюю дорогу.

Был тот час вечера, когда горожане с портфелями, успев забежать по дороге в магазины, в химчистки, в прачечные, уже дома, а молодежь не успела еще созвониться, придумать программу развлечений.

Он шел медленно, читал афиши, названия переулков. Лето близилось к концу, заканчивался театральный гастрольный сезон. Ни одного из спектаклей приезжего театра он так и не видел.

Самые тихие, обычно неразличимые звуки городской жизни слышны были сейчас: шуршание троллейбусных шин по асфальту, скрип парадных дверей. Через час, через полчаса уже не будет этого: зажгутся огни, помчатся, завизжат тормозами на переходах такси, улицы наполнятся разговорами, шарканьем подошв, в скверах, во дворах затрещат гитары подрастающего поколения.

Чем ближе подходил он к дому, тем более замедлял шаг: его ждала пустая комната, пыль на подоконнике, под батареей, под диваном...

Вот его улица и этот старый, вылинявший красный кирпичный дом, обжитой многими поколениями. Его подъезд — тот, в дверях которого дворничихино полуразвалившееся кресло. На этот раз дворничиха покину-

ла свой пост. Вчера, хотя он шел поздно, она была на месте; на лице ее он отчетливо разглядел смешанное с любопытством неодобрение: жилец, которого вполне могло бы и не быть.

Дверь открыла Таисья Федоровна, соседка. Она была такой же круглой, маленькой, в том же байковом поBLEKшем халате, как в первый раз, когда они познакомились, но теперь смотрела не выжидательно, испуганно, а, пожалуй, даже приветливо.

— Алеша, где ж это вы пропадаете? Совсем забыли дорогу домой!

— Да так как-то, знаете... Работа.

— Смотрите, как бы эта работа совсем вас к рукам не прибрала! — сказала она не без лукавства.

Он глуповато, смущенно хмыкнул. Отпер свою комнату и вошел, забыв переобуться в тапки.

Вот оно, первое отдельное жилье молодого, раннего Долгова! Вот он где начинается, этот самый Долгов!

Алексей тихонько хохотнул. Но, оглядев свою жилплощадь, тут же и вздохнул: покрытый газетой стол, диван под стареньким гобеленом с настороженными оленями, приемник на тумбочке и стул. Стол и стул подарила соседка, гобелен — подарок матери, приемник — коллективная собственность, он принес его из общежития: их комнату в свое время наградили за чистоту, диван хозяйка комнаты, уезжая, должно быть, не успела отдать на хранение надежным людям.

Из всей обстановки им нажитое — только книги: три картонные коробки из-под папирос, набитые книгами.

Ну так чем же теперь заняться? Читать ему не хотелось, писать было нечего, друзей в городе, в общем-то, не осталось.

Он лениво разделся, влез в тренировочный костюм и с газетой в руках лег на хозяйский диван.

В дверь постучали.

— Да, да! — крикнул он.

То была Таисья Федоровна.

— Алеша, — сказала она, — поужинайте со мной!

Столько приветливости и добросердечности было в этом ее приглашении, что он не испытал ни малейшего смущения.

— Спасибо. Я с удовольствием, — сказал он и сам себе удивился: куда девалась его застенчивость?

За ужином Таисья Федоровна рассказывала, как осталась после войны одна с младенцем на руках, как вы-

ходила ее, дочку, поставила на ноги. Теперь дочь вышла замуж, живет в другом городе. Изредка навещают ее, а так все одна. Ну, конечно, на работе подружки...

— А вы почему один, Алеша? — спросила его.

— Мы тоже после смерти отца остались вдвоем с мамой: сестры, обе старше меня, жили уже своими семьями, а я тогда только закончил седьмой класс. А потом уехал сюда учиться. Да так и остался здесь, в вашем городе.

Наверное, именно в этот вечер меж ними сложились добрые отношения, которым в дальнейшем уже не мешали никакие случайности.

### *День третий* **ОТКЛИК**

«Экое я дело провернул! — удовлетворенно думал Брянцев. — Вот уж действительно подфартило, ничего не скажешь! Да, это так!.. Теперь я на коне, вывернусь, это точно!»

Брянцев сегодня до вечера должен был сдать программу на подпись Жарову. До вчерашнего дня в ней оставалась «дыра»: не хватало одного, не самого главного, но все же необходимого «кадра». Но вчера ему повезло: по подсказке друзей он разыскал коллекционера, любителя музыки, обладателя редкого собрания грампластинок, встретился с ним и взял от него великолепный материал и в придачу несколько пластинок, которые тот разрешил переписать.

...В коридоре редакционного этажа, поравнявшись с дверью машбюро, Слава остановился, поправил галстук и, набрав воздуха, решительно толкнул ее.

Машинистки не любили, когда им носили работу по частям. К тому же ему требовалось уговорить старшую напечатать его материал вне очереди, а с этой женщиной, властной, упрямой, иной раз не мог совладать даже Жаров — возвращался от нее ни с чем. Однако в этот день настроение у Екатерины Власьевны было сносным. Продолжая стучать на машинке, она благосклонно кивнула на его объяснения и, на секунду приподняв голову, обратилась к своим «девочкам»:

— У кого работа несрочная?

— У меня... — неуверенно отозвалась Рита.

Брянцев нравился Рите. И хотя она накануне допоздна «стучала» на кооперативную квартиру, да и сей-

час, в общем, была довольно плотно загружена, ей хотелось помочь ему, выручить.

В комнате у Жарова, куда заглянул Брянцев — теперь можно было позволить себе поболтать, — сидел Ксенофонтов, ветеран радио, опытный, не по годам беспокойный старик, которого окружали почетом и уважением за щепетильную честность, преданность своему делу. Сейчас он был чем-то весьма удручен, подавлен. Сухой, с подвижным нервным лицом, с взъерошенной короткой прической, он весь как-то вжался, ушел в спинку стула. Долгов, который, сидя за столом, искоса наблюдал за Ксенофонтовым, выглядел несколько удивленным.

Тут, судя по всему, было не до трéпа. Жаров задумчиво, рассеянно курил. Потом энергично ткнул сигарету в пепельницу.

— Брось ты, Дмитрий Петрович! Не переживай раньше времени. Может, все это — чистойшей воды недоразумение, а ты себе портишь кровь!

— Какое там к черту недоразумение! — вскинулся старик и, стукнув в сердцах кулаком по колену, сморщился от боли. — Чего ты меня утешаешь? Что я, из ума выжил? Что же это тогда, как не отклик на мою передачу?..

Брянцеву хватило ума справиться с любопытством, не вступать в разговор, а то бы Ксенофонтов вполне мог послать его подальше, с него бы случилось: когда он бывал раздражен, он зачастую не владел собой, хотя потом, успокоившись, долго, мучительно переживал случившееся, бесконечно извинялся, проклиная свою старость и усталость, невыдержанность.

Слава, на которого ни Жаров, ни Ксенофонтов, ни Долгов не обратили внимания, устроился в уголке. Ксенофонтов, вдруг сорвавшись с места, рывком прошагал к двери и вышел вон.

— Что такое? — спросил Брянцев.

— Да ну!.. — отмахнулся Жаров. — Прислали ему как отклик кассету собачьего лая.

— Какого лая?

— Собачьего, я ж говорю. Самого натурального психического, сучьего. Сто восемьдесят метров первоклассной собачьей свадьбы. ...Надо же, даже пленки не пожалели!

— А почему именно отклик на передачу?

— Так он думает. Что же, по-твоему, они считают, что эта пленка — приобретение для фонотеки радио?

Слава пошел к себе, в свою комнату. Эта история с Ксенофоновым переключила его внимание, заставила на время забыть о своих заботах. Но они тут же напомнили о себе: на столе, дожидаясь его, аккуратной стопкой лежали листки авторского радиоочерка.

Он издали глянул на первую фразу. Она показалась ему до того безжизненной, вялой, что лицо его непроизвольно сложилось в гримасу отвращения. Он походил немного, собираясь с духом, и решительно двинулся к столу...

В общем-то он взял себе за правило работать с полной отдачей, делать все возможное, чтобы не давать повода упрекать себя в «сотрясении воздуха». Однако эта работа была для него все же временной, по крайней мере он надеялся, что когда-нибудь сможет добиться независимости, то есть писать только то, что ему хочется. Правда, если бы его спросили, чего ему хочется, он бы ответил неопределенно — книжки. А пока он на совесть делал свои программы и урывками, в свободное время, которого было очень немного, писал свой девятый рассказ; начатый — стыдно сказать! — около года назад. А что оставалось делать? Есть хочется каждый день, жена и маленькая дочь тоже кое к чему обязывают. Можно было бы, правда, устроиться и как-нибудь иначе, ну хоть преподавателем русского языка и литературы, и упорядочить тем самым свою жизнь; по крайней мере, знать, быть уверенным в том, что в выходные дни никто тебя не тронет. Но кто же так просто расстанется с работой, которая, кроме того, что имеет довольно высокий престиж, дает и массу других, хоть и мелких, но приятных преимуществ: многое слышать и видеть, самому в пределах рабочего дня располагать своим временем. Хотя, как им ни распорядись, его не хватает даже на самые неотложные редакционные дела.

...Ну вот, с этим «кадром» покончено! Шабаш! Можно нести на машинку. Да и «коллекционера» Рита, наверно, уже отстукала. И программу — на стол Жарову. Как он к ней отнесется? Но на этот раз вроде нет особых причин для беспокойства, все вроде есть, ничего не упущено, все как будто на должном уровне... А! Что будет, то и будет! Нечего нервы трепать до времени!

Брянцев собрал листочки авторского радиоочерка и отправился на машинку.

...Программу его Жаров подписал без возражений и даже без замечаний.

— Молодец!— сказал Юрий Александрович и, протянув Брянцеву его «шедевр», добавил:— Тащи к главному.

Стало быть, рассуждал Брянцев, шагая по коридору к кабинету главного, можно надеяться, что на этот раз все обойдется благополучно. Кажется, не было еще такого случая, чтобы главный отвергал то, что принято Жаровым. Хотя, конечно, на эту волну лучше не настраиваться...

### *День четвертый* **КОМАНДИРОВКА**

Леша стоял в тамбуре вагона, курил, смотрел в окно. Поезд врзался в черное еловое осеннее мелколесье. Жемчужно и ало светилось на закате вечернее небо.

Он ощущал, как в груди подымается нетерпеливое, радостное возбуждение, предчувствие близких, таких значительных перемен. Все было так замечательно! Пожалуй, он не знал в своей жизни лучшего состояния, чем эта такая вот легкость и радость бытия. Казалось, впереди простор без конца и края, и он — как этот стремительный поезд, врывающийся в необъятное пространство.

Продолжая, как видно, прерванный разговор, мужчина напротив внушительно, веско сказал другому:

— ...Так что живем не худо! Жить можно! Особенно если у тебя специальность: скажем, шофер, тракторист. Я вон на уборке по триста рублей выколачивал.

— Вот! А на нас, городских, обижаешься! Мне, чтобы триста рублей заработать, надо на двух работах работать.

— А ты не равняй! У меня за лето два выходных было. Два! Да уж до крайности дело дошло — в баню-то хоть сходить!.. А вас пришлют в деревню помочь чуток — недовольство высказываете! И на производстве зарплата идет, и совхоз вам плотит, а все недовольны! Нет, ты не равняй!..

— Что ж ты-то ко мне не придешь на производство, помочь? — потихоньку заводился его собеседник. — А ты приди помоги! Чего ты?..

Деревенский удивился. А потом, не сказав ни слова, бросил, растоптал папироску и решительно направился в вагон.

Чуть погодя и Долгов, выщелкнув окурочек в окошко, пошел к себе в купе.

Поезд подходил к станции. Реже, длиннее всплескивали синие огоньки насыпи. Боком выплыло из темноты желтое здание вокзала. Ярко освещенное, оно казалось выше двух своих этажей.

Вагон спал. Прошаркала из служебного отделения проводница с сигнальным фонарем в руке.

— Город Ружино! Вам сходить!

Леша вскочил, мятым со сна лицом прижался к холодному стеклу: туман понизу, над землей, пустырь, черный кустарник и вдалеке несколько белых многоэтажных домов, две-три стрелы башенных кранов над ними.

Кроме него, в Ружине выходили еще двое — молодые ребята. Вместе, втроем, они долго возились с дверью, которая вдруг перестала открываться. Дверь наконец, проскрежетав по решетке, прикрывающей ступеньки, подавалась, и они спрыгнули на шлак платформы.

Поезд коротко, слабо, будто с опаской — не перебудить пассажиров, — гуднул и, с места набирая скорость, пошел вперед, в сырое предрассветное пространство.

Вокзала в Ружине не было. Торчал снятый с колес железнодорожный вагон, старый, дощатый, из каких теперь составов не собирают. Под крышей вагона красовалась большая, светло-серая с черным фанерная вывеска: «Ружино».

Шагали гуськом по утоптанной, мягкой, пружинившей под ногами тропинке.

— Рабочие руки нужны, — говорил один из попутчиков, в кепке, в длинном, забрызганном грязью плаще. — На работу возьмут, но с жильем придется терпеть.

— Без жилья придется терпеть, — поправил второй.

— ...За пятьдесят километров, из Усоля, на работу люди ездят...

— Гигант химии, понял? Мы вот тоже катаемся каждый день туда-сюда за двадцать километров. Дак мы-то что! А вот ребята, которые здесь, в поселке, живут — вот тем не позавидуешь! Все же строители, зимой полный день — на ветру, на морозе. А придут в барак — колотун не лучше! «Козлов» и то пожарники не велят ставить...

— ...Работать, видишь ли, некому! Тогда строй сначала жилье! Завод-то надо пускать? Надо. А кто его будет пускать? Ты вот тоже повертись — и до свидания! Это уж точно! — И парень в забрызганном плаще искоса и, кажется, неодобрительно оглядел слишком уж модную куртку Долгова.

— А директор завода где живет?— спросил Долгов.

— Директор завода?.. В доме номер... четвертом. А тебе зачем?

Пришлось признаться: радиожурналист, в командировке...

— А-а-а!— услышал он в ответ, и они умолкли.

— А вы, извините, кем работаете?

Один работал бульдозеристом, другой монтажником.

— Топай к Аньке, в гостиницу,— указали они ему, когда подошли поближе к домам.— Вон в том доме. Может, и повезет. Кто его знает?.. А нам дальше, на работу...

В таком городе не заблудишься — пять домов, сложенных из белого силикатного кирпича. Алексей взял напрямик через пустырь меж домами — асфальта еще не проложили, но уже кое-где торчали хилые саженцы тополя с пожухлыми листьями, росшими редкими мутовками,— и остановился у подъезда, над дверью которого была укреплена такая же, как на вокзале, светло-серая с черным вывеска: «Гостиница».

Он огляделся. Туман, тяжелый, как шуба, медлительно ворочался над землей. Далеко в стороне над ним высились огромные продолговатые строения нефтеперегонного завода, сплетения труб над ними, колонны, мачты, которые, протыкая туман, казалось, качались над ним, и башня не башня, элеватор не элеватор.

Поднявшись по нескольким гулким ступенькам на первый этаж, Долгов позвонил в обычную коричневую дверь квартиры с жестяным почтовым ящиком, но с той же вывеской: «Гостиница». Не отозвались. Он опять нажал на звонок. Потом постучал, потом приударил сильнее, еще и еще.

За дверью, в глубине, слышались шаги. Щелкнул французский замок, но дверь только чуть приоткрылась на цепочке — сначала его оглядели.

Когда закончился осмотр и дверь распахнулась, Алексей устыдился своего поведения: перед ним стояла молоденькая, почти девчонка, девушка, худенькая и хрупкая.

Потертый ситцевый халат не грел ее, она зябко обеими руками сжимала его на груди.

— Проходите! Ну проходите! Холодно же! Долго будем стоять?

— Кто вы? Откуда?— оведомилась она, проведя его по коридору в маленькую комнату, в которой среди мат-



расов, горой громоздившихся в углу, пачками расставленных вдоль стен раскладушек едва помещались стол и стул.

Он назвался.

— Извините, но для вас раскладушка: мест нет. А квитанцию выпишу потом.

Она выдала ему раскладушку.

— Пойдемте.

Пройдя по коридору, толкнула дверь комнаты:

— Вот здесь. Устраивайтесь.

И ушла.

«Хорошо хоть Жаров надоумил позвонить сюда перед отъездом,— подумал Долгов.— А то бы и раскладушки не досталось».

В комнате кроме него было еще четверо постояльцев. Пока они спали. Долгов, стараясь не шуметь, присел на раскладушку. Она довольно резко скрипнула. Однако никто из них не шелохнулся — спали утренним, зоревым сном.

Он решил позавтракать, достал из сумки колбасу, булку, бутылку виноградного сока. Только было разложил, выставил все это на стол, как ожил, защелкал на стене динамик. Гулко, тягуче куранты прозвонили, пробили шесть утра, и комнату наполнили просторные, торжественные звуки Гимна. «Доброе утро, товарищи! — возвестил диктор.— Сегодня — шестое сентября...»

Командировочные зашевелились. Один вскочил, другие, ворочаясь, сонно моргая глазами, медленно переходили в состояние бодрствования.

— Доброе утро! — приветствовал их Долгов.

В ответ услышал от одного что-то нечленораздельное.

Тот, что вскочил, спросонок не держал равновесия — никак не мог до конца просунуть ногу в штанину, ступал на пол. Наконец-то справился с этим и поспешил из комнаты с полотенцем на шею. И остальные лениво, нехотя, но стали подниматься.

«Надо и мне идти,— подумал Алексей.— Пока не начались разные там пятиминутки, планерки...»

...Туман понизу все еще держался, но уже поредел. Людские ручейки, стекаясь с разных сторон на широкую, убитую ногами тропу, за домами довольно плотным потоком катились к кольцу автобуса.

На остановке, которая была обозначена табличкой с буквой «А», он спросил, какой ему нужен автобус, чтобы добраться до управления строительства.

— Автобус один,—сказали ему.— Всех привезет в одно место. Там тебе и управление, там и бетонный, и промплощадка — ездай до упору!

...Навстречу по красной глинистой насыпной дороге катились самосвалы, бортовые машины, груженые раствором, кирпичом, а старенький автобус бежал по низкой изъезженной параллельной дороге с пожухлой травкой на обочинах.

Ехали строители, рабочие бетонного завода. Время было раннее, поэтому пассажиры больше молчали. Но все же по отдельным репликам, обрывкам разговоров, даже по этому молчанию чувствовалось, что все они тут хорошо знают друг друга, все свои. Поэтому и молчание не было отчужденным. И что особенно нравилось Долгову, за него не обращали ни малейшего внимания.

Чем подъезжали ближе, тем более разворачивалась огромная панорама стройки. Стройка занимала внушительную территорию, заставленную коробками зданий, вагончиками бытовок, перегороденную временными заборами, заваленную стройматериалами, изрытую, перепаханную. В этом размахе большой работы свободной оставалась, пожалуй, лишь круглая площадка, где автобус делал кольцо.

— Вот управление,—показал ему пожилой рабочий в сторону вагончиков-временок, гуртом столпившихся поодаль стройплощадки.

Леше повезло: секретаря комитета комсомола строительства, внимательного молодого человека, он застал на месте. Узнав, в чем дело, секретарь обрадовался, засуетился:

— А то нас совсем забыли! А ведь писать и писать! Стройка в основном молодежная, ребята — золото! Сами приехали, по желанию, по комсомольским путевкам!

Он подтащил Долгова к простенку, завешенному синей шторкой, отдернул ее.

— Знакомьтесь. Генеральный план города. А я пойду кого-нибудь покличу...

План, вычерченный умелой, профессиональной рукой, являл собой картину большого современного города строгой, продуманной планировки.

И о городе придется говорить, и о нефтеперегонном, и о бетонном заводе. «Промплощадка», «монтаж колонн», «опалубка» — до чего выразительные, смачные слова! ...Да, этого мало...

Секретарь бегал долго. Вернулся с провожатым для корреспондента.

Парня в матросском бушлате, в кирзачах, заляпанных раствором, видно, оторвали от работы. Он был недоволен. Но все же повел Алексея к какому-то Звягинцеву, прорабу.

В прорабской по стенам — лозунги, «экран строительства» с фамилиями и процентами, плакат по технике безопасности... И — никого. На обшарпанном дерматине стола сиротливый лист бумаги и телефон, непрерывно, жалобно звонящий.

— Да где же они? — рассердился парень. — Только что тут были!

Торопливым, широким шагом он вышел из комнаты. Алексей опять остался ждать.

Минут через двадцать, не раньше, его провожатый пригнал — он именно гнал их перед собой — двух ребят и девушку.

— Вот они! — все так же сердито сказал он. — Звягинцева куда-то вызвали, а эти смылись, воспользовались!..

Девушка, когда узнала, что нужно будет говорить в микрофон, тотчас захотела уйти.

— Сиди! — сказали ей ребята. — Он тоже дело делать приехал!

— Да не буду я! Не буду — и все! — Она едва не плакала. — Других, что ли, мало? Не умею я говорить!

— Нет, действительно, а о чем говорить? — и парни заволновались.

— Обо всем. О городе, о себе, о работе... Я буду спрашивать, не беспокойтесь...

Он включил магнитофон, для начала попросил их представиться. Они переглядывались, друг друга подталкивали и — молчали.

Он выключил магнитофон, попытался их успокоить, говоря, что все равно все будет в порядке: на то есть оператор. Опять подступился к ним с микрофоном — все то же.

Наконец один востроглазый, шустрый паренек как в омут нырнул:

— Встав на трудовую вахту... — И запнулся.

У корреспондента, должно быть, задержалось веко, потому что они уставились на него удивленно и растерянно.

— Нет, вы мне скажите, стали бы вы слушать такую передачу?

— Какую передачу?— опасно косясь на аппарат, спросил востроглазый.

— Да вот — «встав на трудовую вахту» и все такое?..

— Да я вообще не слушаю радио: некогда.

Но все-таки получилось. И как будто неплохо.

И снова Долгов трясся в разболтанном автобусе. В городе, в редакции местной газеты, его ждали члены литературного объединения.

А потом, когда стемнело, его принял начальник комплекса бетонного завода.

Начальнику было тридцать два года. «В молодости» он пешком исходил с топографами Архангельщину, искал на Чукотке киноварь, в Якутии — алмазы; строил в Севастополе, в Новороссийске.

Говорил начальник довольно странно — несколько сентиментально, но нетерпимо, резко.

Вернувшись в гостиницу, Долгов застал всех постояльцев в сборе. При ближайшем знакомстве они оказались приветливыми, общительными людьми.

Трое, как они сказали, приехали на день-другой, а четвертый, бородатый художник, жил здесь уже второй месяц, всех и все знал и сделал уйму зарисовок, набросков, этюдов.

— Слушай, — сказал ему художник, этакий добродушный молодой увалень, — пойдем-ка сегодня в клуб, на танцы! Там у них хорошо, весело! Ей-богу! И для души, и так, вообще... разомнемся. Чего тут торчать, в гостинице?

Остальных он не приглашал: наверное, уже был разговор на эту тему.

— Да мне ж сегодня и уезжать!

— Успеешь! Поезд уходит ночью, в ноль двадцать. Все успеешь, не волнуйся!

Долгов подумал и согласился. Только надо было сначала заплатить за гостиницу.

— Да потом! Все равно сейчас Ани нет. Она тоже, должно быть, там, на танцах. В крайнем случае передашь деньги мне. А квитанция... Да что там с тебя? Полтинник?

И они, быстро собравшись, поспешили на остановку автобуса, на кольцо за домами.

Клуб строителей гудел. Они слышали это еще с улицы, поскольку двери его были открыты. Оттуда, из две-

рей, на осеннюю, прихваченную к вечеру морозцем дорожку косою полосой падал свет, в котором струились табачный дым и тепло.

Все молодое население города по вечерам стремилось сюда, в поселок, поскольку в городе клуба пока что не было. А здесь и своих хватало, так что народу набивалось столько, что даже по такой вот довольно прохладной погоде и при открытых дверях было жарко.

Долгов с художником с трудом протиснулись через сени в зал. Там было празднично и ярко от девичьих нарядов. Музыканты сделали перерыв, и все столпились вдоль стен в три-четыре ряда, оставив посреди зала лишь небольшой свободный пятачок.

— Покурим?— предложил Алексей художнику. Он слегка оробел: и раньше-то не был завсегдатаем танцевальных вечеров, а в таком вот бревенчатом клубе, в обстановке, как чувствовалось, своей, домашней, где, как чужак, не укроешься от любопытных взглядов, и вовсе оказался впервые.

...Потные самодеятельные музыканты разбирали сложенные на стулья инструменты. Леша, ощущая на себе взгляды, старался держаться непринужденно и даже несколько снисходительно по отношению к тому, что его окружало. А Саша — так звали художника, — не будучи столь чувствительным, держался как ни в чем не бывало.

— Вон Аня,— сказал он Долгову.— Хочешь, подойдем?

Алексей сам давно уже ее приметил. Она стояла с двумя подругами и, смеясь, прикрывая рот ладошкой, тихонько им что-то говорила, а они, заинтригованные, с тем выражением лица, когда уже готовы рассмеяться, но еще не знают, над чем, подались к ней.

— Здравствуйте! Добрый вечер!— громко приветствовал их Саша.— Не примете ли нас, одиноких мужчин, в свою компанию?

— Не такой уж вы одинокий,— пожалуй, более укоризненно, чем смешливо, отреагировала на это высокая блондинка.— А это кто с вами?

— А это Леша Долгов, хороший парень. Между прочим, радиокорреспондент, передачу про вас приехал делать...

— Ну?!— удивилась блондинка.— Сделайте передачу про меня!— фыркнула и оглянулась на подруг, ища поддержки.

Они на это не откликнулись. Аня подняла на Долгова свои ясные черные глаза, и в них — или ему показалось? — скользнула и ушла в глубину тень смущения. А другая девушка, из тех, которых не назовешь ни симпатичными, ни дурнушками, которые мало танцуют, поскольку их приглашают в последнюю очередь, делала вид, что они, эти парни, ей, в общем-то, безразличны.

Тут как раз музыканты грянули нечто оглушительно ритмичное. Блондинка поспешно повернулась к Саше и, сделав ему шуточный книксен, пригласила его на танец.

— Разрешите? — набравшись духу, обратился к Ане Алексей.

Она, словно бы притихшая после ухода подруги, подняла на него глаза и чуть заметно кивнула. А та девушка, что оставалась стоять рядом с ними, делала вид, что кого-то ждет, ищет.

Музыканты, распаренные от духоты, наяривали что есть мочи. В этой толчее невозможно было сделать и двух шагов подряд, не столкнувшись с соседней парой, так что Леша топорилил локти, чтобы уберечь Аню. И все равно здесь было лучше, чем в белоколонных залах с хрустальными люстрами, с хорошими диоксилендами. А почему — это трудно было ему объяснить...

Только вот ему не приходило в голову, что бы такое сказать. Он напряженно думал, чувствуя, что от этого становится все более неловким, скованным, угловатым. Но, странное дело, Аня как будто ничуть не тяготилась этим; наоборот, ей будто его мучения были понятны и даже приятны: она смущенно улыбалась одними глазами.

— Я, когда шел по дороге со станции в гостиницу, думал, что вы большая и шумная, — сказал Алексей. — Такое укоренилось во мне представление о комендантах. Пока жил в общежитии, больше милиции боялся коменданта Галины Ивановны.

— А где, когда вы жили в общежитии? — негромко спросила она.

— Пока был студентом.

— Ну да, конечно. А я, вы знаете, корреспондентов представляла себе такими: шумными, громогласными. — В улыбке блеснула полоска ее зубов.

— Вот видите, как много у нас общего! — брякнул он.

Она открыто засмеялась. И Леша невольно, в каком-

то приливе благодарности подался к ней. Аня незаметно отстранилась.

— Как вы здесь оказались, в этом городе?

— Приехала вместе с отцом. Он инженер-строитель. Недавно женился.

— Понимаю... — слишком уж многозначительно заметил Алексей.

Но она, по-видимому, только лишь ответила на его вопрос, поэтому так же спокойно продолжала:

— Я не работала раньше: все ждала, когда откроют музыкальную школу. На следующий год откроют. Буду преподавать. Для чего-то же я оканчивала консерваторию? А пока вот команду командировочными...

Алексей не ощутил никакой нарочитости в том, что и как она сказала о консерватории. Вряд ли здесь было намерение произвести впечатление, разве что некоторое желание заинтересовать его, но почему ему это должно было не понравиться? Что, в самом деле, было бы лучше, если б она отнеслась к нему равнодушно?

— Но ведь вы, наверное, скорее устроились бы по специальности в нашем городе?

— У меня там тетка, не раз приглашала. Но... даже представить страшно, чтобы еще один переезд, — улыбнулась она. — Я ведь ужасная трусиха. Для меня это как стихийное бедствие пережить — переехать. Да и уживемся ли с теткой? И потом привыкла... Люди у нас хорошие.

Танец кончился, и они пошли на то место, где их познакомили. Саша со своей высокой блондинкой уже были там, мужественная невзрачная девчушка куда-то исчезла, а вместо нее появился курчавый, державшийся очень уверенно, начальственно парень с вузовским «поплавком» на лацкане пиджака.

Он оказался заведующим клубом. Он ждал Долгова, чтобы показать ему читальный зал, комнату для репетиций, помещение лектория.

— Вообще, — объяснял он, — танцы у нас — мероприятие, так сказать, эпизодическое. Лекции, тематические вечера — это у нас поставлено фундаментально! Пройдем, посмотрим?

Что оставалось делать Долгову? Пришлось осматривать все эти пустующие помещения. А когда он, сославшись на то, что времени у него в обрез, вернулся в танцзал, Ани уже не было.

— Домой поехала,— сказал Саша.— Просила передать тебе привет.

Долгову стало скучно. Танцы потеряли для него всякий интерес. Стоя рядом с Сашей и его подружкой, он еще кое-как отвечал на вопросы, участвовал в их разговоре, но когда они пошли танцевать, он почувствовал себя вовсе плохо.

— Мне пора,— сказал он Саше, едва дождавшись окончания танца.— Спасибо за компанию. Всего хорошего. Может, еще увидимся...

Автобуса долго не было. Поглядывая на часы, Алексей нервничал, злился — времени, чтобы собрать сумку и дойти до станции, оставалось с избытком, хотя б он еще два раза по стольку ждал автобуса, но ему не стояло на месте...

Наконец оказался совершенно пустой и темный автобус. Шофер даже не остановил машину, а, притормозив, открыв дверь, медленно проехал мимо, давая ему возможность выпрыгнуть. Угнездившись на сиденье у окна, Алексей, странное дело, сразу, как только, набирая силу, взревел мотор, успокоился.

...Свет фар ткнулся в стену дома, скользнул по ней и замер. Машина резко затормозила. Шипя и подсвистывая, сложилась в гармошку дверь. Долгов спрыгнул на холодную твердую землю.

Шагая к подъезду гостиницы, он до того волновался, что мгновениями холодок, подымавшийся из груди, перехватывал дыхание. Рассуждая трезво, это было глупо: ну хорошая, милая девушка, ну и что? И потом — что, в конце концов, произошло? Немного потанцевали, немного поговорили, а что еще? Но рассуждать трезво он долго не мог, да теперь уж и некогда было: оставив позади гулкий короткий марш лестницы, он стоял перед дверью гостиницы, и рука его, занесенная к звонку, чуть подрагивала в нерешительности...

Аня была в том же черном шелковом платье с пышной юбкой, в каком он увидел ее в клубе. Ему почудилось, что в лице, в глазах ее опять промелькнуло что-то похожее на испуг и тревогу. Но ему, должно быть, именно почудилось.

— Вы?.. Вам уже надоело танцевать?— сказала она.

— Мне пора домой,— отвечал он, мгновенно сатанея от злости на самого себя за эти неуклюжие, неуместные слова.

— Понимаю...



Рассеянно, незрячими глазами осмотрев шкаф, тумбочку, собравшись, он с вымученной сердечностью попрощался со своими соседями по комнате. Они проводили его несколько удивленными взглядами.

Свет в коридоре Аня не погасила: может быть, оставила свет для него. Проходя мимо ее комнаты, он вдруг, будто его толкнуло, шагнул к двери и громко костяшками пальцев постучал.

— Да, да! Войдите!— поспешно откликнулись изнутри.

Аня стояла у окна. Повернувшись к нему вполоборота, смотрела в напряженном, тревожном ожидании.

— Аня, я уезжаю... Ты будешь жить здесь? Ты куда не уедешь?

Она отрицательно покачала головой. Только он, ослеп, мог бояться, что в ответ на эти или похожие слова увидит недоуменную усмешку.

— Да, я останусь здесь, я никуда не уеду... — сказала она.

Он подошел к ней и взял ее за руку, тихонько сжал ее прохладную хрупкую ладонь. И теперь уже близко увидел ее глаза, большие, глубокие и, кажется, еще более темные.

Наверное, он мог бы ее поцеловать. Но самые, в общем, естественные движения, звуки — поставить сумку на пол и зашелестеть курткой — казались совершенно невозможными в этот момент. Он медленно разжал руку, в которой была ее ладонь, и сказал:

— До свидания.

Неверными, как тогда, когда она провожала его взглядом в коридоре, шагами Алексей направился к двери. Остановился, обернулся.

Аня — он это видел! — потянулась к нему. И он быстро шагнул к ней. Тревожный блеск ее черных глаз словно бы ослепил его. Не понимая, что делает, он выпустил сумку и обнял ее.

...Тропинка, петляющая через черный пустырь, поблескивала в призрачном свете луны, подернутой ветхими прозрачными лохмотьями туч. Алексей шагал широко, быстро.

«Как все хорошо! Как прекрасно!— думал— не думал, чувствовал он.— Я скоро приеду. Опять рано утром. Когда? Скоро!»

*День пятый*  
**СТРОПТИВЫЙ БРЯНЦЕВ**

Оператор ему достался лучше не надо — Саня Желтков. На год, на два постарше Долгова, он еще не успел приобрести той уверенности в себе, которая давала бы ему право третировать редакторов, но работал уже квалифицированно, а главное, добросовестно. Впрочем, Саня и в силу своего характера, наверное, не находил бы ни малейшего удовольствия в том, чтобы утверждать свое положение за счет редакторов. Работа его, по-видимому, вполне удовлетворяла, поскольку открывала неограниченный доступ к фонотеке, к музыке, большим любителем которой он был, и потому он делал свое дело спокойно, ровно, без лишних эмоций и ссор. У редакторов он был нарасхват.

Сейчас он, вполне довольный собой, мурлыча под нос какую-то мелодийку, настраивал аппаратуру, чтобы переписать кассеты Долгова, а Алексей сидел рядом на высоком вращающемся табурете и, сомневаясь в том, что с записями у него все в порядке, тревожно следил за ним.

— Слушай,— сказал ему Саня,— ваш Брянцев — он что, действительно увольняется?

Долгов только что вернулся из командировки. Явившись в Дом радио, он сразу побежал в звукоцех, даже не заглянул в редакцию. Он не понял Саню.

— Подал заявление,— объяснил тот.— Что-то ему Жаров сказал, что ему не понравилось. Осерчал — и заявление на стол! А кто вместо него будет?

Алексей, недоумевая, пожал плечами.

Разумеется, его взволновало это известие. Но его тревожило и качество записей. Поэтому он терпеливо дождался, когда Саня покончит с переписью, и лишь тогда помчался к себе, наверх.

В редакции он застал одного Жарова. Тот сидел за столом, угрюмо, сосредоточенно перебирал какие-то бумаги.

— Слушайте, Юрий Александрович, это правда, что Брянцев увольняется?— с порога спросил Алексей.

Жаров взглянул на него с укоризной и сожалением: мол, ты-то бы хоть на нервы не действовал!

— Да, увольняется,— вздохнул он.— Вот полюбуйся,— и протянул Алексею заявление.

«Прошу... по собственному желанию...» — прочел Алексей.

— Что же он так?

— Видишь ли, Леша, выяснилось, что коллекционер, о котором он написал, не слишком-то честный человек: приторговывает пластинками. Я и осмелился сказать ему об этом, о том, что кандидатуры выступающих следует проверять. И вот результат. Но, вообще-то, он давно мучается несовместимостью занятий журналистикой с литературным творчеством, которому он хотел бы себя посвятить. Так что наш разговор — для него повод. Сам-то уйти не решается, а я его как бы подтолкнул. Прямо скажу, не очень это порядочно с его стороны. В таких случаях надо решать самостоятельно.

— Ну и номера! — растерянно отреагировал на это Долгов.

— Вот именно, номера, — согласился Жаров.

В середине дня Алексей, пообедав в столовой Дома радио, пошел на улицу выпить кофе.

Кафетерий был рядом, в двух шагах. На этот раз в смене работала Люда. Едва приметно улыбнувшись, кивнув ему, она два раза щелкнула ручкой кофейного аппарата и чуть погодя отставила его чашку с кофе в сторонку, на крышку аппарата: мало ли, человек отошел куда и вернулся за кофе...

Леша взял свою чашку двойного и занял место за стойкой.

И только было принялся за кофе, как появился Ксенофонтов. Тем же манером получил свою порцию и протолкался к нему.

— Слушай, что это там у вас происходит? — начал он. — Что это вдруг взбрело Брянцеву в голову увольняться? Ты бы ходил к нему, что ли... Что это он затеял?

— Ладно, схожу, — неуверенно пообещал Долгов.

— Сходи, — с некоторым нажимом сказал Ксенофонтов. — Не так уж это много времени займет. Дела — они никогда не кончаются.

Они вышли на улицу вместе.

— А помнишь, — сказал Ксенофонтов, — собачий лай?

— Ну?

— Так это, оказывается, жильцам одного дома мешал собачий питомник по соседству. А письмо они не решились вложить в бандероль: я его через несколько дней получил. Да... Вот такие дела! Ты давай все же съезди к Брянцеву. Не обязательно сейчас, но лучше сегодня.

Жил Брянцев недалеко от центра города в старом, дореволюционной постройки доме. Удобно жил, в мало-населенной квартире, с телефоном, так что Леша, будучи «безлошадником», завидовал ему.

Место это он знал наизусть: рядом был большой запущенный парк, где каждую весну пять лет подряд он загорал, готовясь к экзаменам, так что искать дом долго не пришлось.

Он поднялся по старой, обкатанной подошвами мраморной лестнице. Звонок к Брянцеву, дешевый, пластмассовый, не работал, о чем сообщал клочок бумаги, припиленный к потертой дерматиновой обшивке двери. Он, поколебавшись — неизвестно еще, как он живет с соседями, — нажал на кнопку другого, солидной бронзы, прямо-таки прибора сигнализации, более остальных внушающего уважение к себе.

Однако открыл дверь сам Брянцев. При виде Долгова он, кажется, испытал некоторое замешательство: никак не ждал этого визита, но быстро справился с собой и, отступив в сторонку, мрачно сказал:

— Проходи.

Алексею надо было бы как ни в чем не бывало поздороваться. Но вместо этого он молча кивнул, и лицо его помимо воли сложилось в какую-то ненатуральную, фальшивую мину участия и сожаления. Он тут же, спохватившись, обругал себя за это. И не напрасно, потому что Брянцев, взглянув на него, не выдержал и отвернулся.

Он провел его в небольшую уютную, чистую комнату, красовавшуюся новенькой рыжей «стенкой», усадил на диван, а сам пристроился на батарее парового отопления.

— Ну, давай выкладывай, с чем пришел, — сказал Слава. — Можешь не беспокоиться, дома никого нет: жена на работе, дочка в детском саду.

Сказал это несколько насмешливо, но тут же и нахмурился, сдвинул брови.

— В общем, я у тебя по совету Ксенофонтова... — начал Долгов. Он, не признаваясь себе в этом, робел перед Брянцевым, и не только сейчас: в комитете, как и на факультете, за Славой укрепилась репутация несомненно одаренного человека, и Алексей, не в пример себе, видел внимательное отношение к нему окружающих. Должно быть поэтому, растерявшись, он и не сумел толком поздороваться с ним.

— Значит, говоришь, по совету?— сказал Брянцев и дернул щекой, что, как знал Долгов, служило признаком его недовольства, раздражения.

Эта примета настроения Брянцева и явилась ему на помощь. В другое время она была бы воспринята как некий предупредительный знак. Но тут вдруг Долгов осмелел:

— Слушай, Слава, брось дурить! — загорячился он. — Ну что ты, в самом деле? Кому ты что этим докажешь? Ну случилась такая промашка, ну и что?

Брянцев поморщился, как от зубной боли.

— Перестань, пожалуйста, — через силу процедил он. — Не нужны мне твои утешения, понимаешь? Не нужны! Если я подал заявление, так я решил это не вчера! Мне вообще надоело все это! Надоело, когда на летучках, вместо того чтобы говорить о деле, демонстрируют эрудицию или сводят личные счета. Надоели все эти правщики, в оправдание своей зарплаты лезущие со своим глупым пером куда попало. Мне вот это все надоело!

Он шумно, прерывисто вздохнул, как бы стараясь унять кипевшее в нем раздражение, и закончил тише:

— Мне двадцать семь, понимаешь? А что я успел? И ничего не успею, если так дело пойдет. Так что пора решать: или — или...

— И куда ж ты теперь?

Этого не следовало говорить. Брянцев взорвался:

— Куда, куда! Не волнуйся, не пропаду! Слава богу, свет не сошелся клином на этом городе!

— Что ж, так и будешь бегать?

Тут он, видимо, задел за больное место: Брянцев в ярости промышчал что-то в ответ и так посмотрел на Долгова, что тот заторопился закругляться:

— Ладно, будем считать, что этого разговора не было.

Раздраженный, раскрасневшийся, Брянцев нервно мямл пальцы рук. Вдруг порывисто оттолкнулся от батареи.

— Вот что... Тут одно письмецо... Оно зарегистрировано. Не знаю, какой-то шофер пишет... Не наше дело, это касается милиции, горисполкома: что-то там у него с пропиской, но оно зарегистрировано. Ты уж возьми, заведи с собой...

Нашел на столе письмо и протянул Долгову. И тем самым помог себе и ему расстаться.

«Нечего сказать, потолковали по душам!—думал Алексей, спускаясь по лестнице.— Конечно, это от слабости: про летучки, правщиков — оправдывается. Поди, уже жалеет о том, что сделал. Но самолюбивый, трудно признаться, что оказался не на высоте положения».

В редакции он застал одного Жарова.

— Ну, как поговорили? — тотчас спросил он Долгова.

— Да никак! Два раза решений не принимает.

— Жаль...— грустно сказал Жаров. И уточнил:— Жаль парня. Из него мог бы выйти толк. Когда бы он был другим.

Долгов не понял.

— Видишь ли, Леша...— Юрий Александрович вздохнул.— Он должен был сделать выбор, а не метаться от передач к рассказам, если уж не умеет совместить то и другое.

Алексей кивнул, но, видно, не слишком уверенно.

— В конце концов существует такое понятие, как долг.— Жаров, должно быть, и сам не заметил, что заговорил повышенным тоном.— Профессиональный долг в том числе. Никто нам не запрещает занятий литературой, однако никто и не освобождает нас от прямых обязанностей.

Юрий Александрович взял со стола какую-то бумагу, рассеянно взглянул на нее и, отложив, потянулся за сигаретой.

Долгов сел за стол, задумался. Ну что? За что приниматься в первую очередь? Дел хватало, было с избытком, выше головы; столько их было, что чувствовал себя словно бы парализованным: и то, и это, и другое, а первого шага не сделать. Тоже полез в карман, чтобы закурить, и нащупал письмо, которое дал Брянцев. Достал его, вынул из конверта, расправил.

«Дорогая редакция!— начиналось письмо.— Четыре года назад я поступил в УНР-1 треста «Ремстрой». Получил временную прописку, комнату в общежитии. Сначала я работал сантехником, потом плотником. Потом закончил курсы шоферов и год работал на автокомпрессоре. Потом меня перевели на базу механизации треста, где я работал шофером на «техпомощи».

А потом все полетело прахом! Дело в том, что меня попросил один рабочий перевезти его на новую кварти-

ру. По закону я не должен был этого делать. Я должен был оформить соответствующие документы на эту перевозку. Но парню немедленно хотелось переехать. Я с временной пропиской и знаю, что такое своя квартира. Я повез, чтобы не омрачать его радость.

Это был мой последний рейс на «техпомощи». Меня уволили за использование машины в личных целях.

Но я и сейчас не раскаиваюсь, что перевез того парня, который и сейчас мне за это благодарен.

Мне приписали использование машины в личных целях за то, что я перевез этого парня, тогда как я целое лето выполнял на той же машине желания своего начальника. И это не считалось использованием машины в личных целях. Куда я только не ездил с ним: и зубы лечить, и на дачу, и с дачи! Так где же, спрашивается, справедливость?

И вот я остался без работы! Но ведь кругом столько гаражей! Но эти гаражи были не для меня, потому что у меня временная прописка. Я мог работать только в системе треста.

Но все же я решил рискнуть и попытался снова получить работу шофера. Мне повезло, я устроился на автобазу «скорой помощи», но меня предупредили, чтобы я потом принес паспорт с продленной пропиской, когда она у меня кончится.

На автобазе я проработал около двух недель, а потом у меня от поликлиники угнали машину, от которой я отлучился ровно на пять минут. И снова увольнение. И вот теперь я без работы. Скоро кончается прописка, круг замкнулся, за баранкой мне не сидеть. Бросить бы все и уехать, но куда поедешь, когда жена ждет ребенка? Помогите мне получить работу. С уважением. Константин Лавров».

«Еще и это... — тоскливо подумал Долгов. — Только этой заботы мне не хватало! Когда оно хоть пришло-то? Ого! Чего ж он его держал? Ладно, дома прочту повнимательней...»

— Юрий Александрович, как ты считаешь, может, мне сделать целую программу по ружинскому материалу?

Долгов и сам не понял, как это вышло, что он сказал такое. Но Юрий Александрович отнесся к его предложению спокойно.

— Делай, а что?

— Тогда я побежал в цех за пленками?

Жаров пожал плечами.

Настроение сразу поднялось. Хотя что такого особенного сказал Жаров? Разрешил поработать в двойном размере? Но за полчаса до того Долгов и думать не смел самостоятельно браться за программу. И откуда взялась эта самоуверенность, самонадеянность, наглость? А шеф? Доверяет, что ли? А почему бы и нет?

Направляясь в звукоцех, Долгов пошел вестибюлем — так покороче. Знакомый уже милиционер, дежуривший у дверей, сидя за столиком с телефоном, маленьким трехпрограммным приемничком, спицей на деревянной подставке, унизанной прямоугольниками использованных пропусков, читал книгу. Заметив Долгова, он оторвался от книги, поздоровался. Музыка, льющаяся из приемника, смолкла. «Говорит Москва! Передаем сигналы точного времени, — объявил диктор. — ...В столице — пятнадцать часов, в Ижевске, Кирове, Куйбышеве — шестнадцать... на Курилах — двадцать три, в Петропавловске-Камчатском — двадцать четыре часа. Последние известия... На полях страны...»

«Что-то уж больно быстро сегодня бежит время», — подумал Долгов, сверяя часы — они чуть-чуть, минуты на полторы, спешили.

Коля Желтков к сообщению Долгова — сам, один всю программу — отнесся без энтузиазма. Это Алексей испытывал избыточное воодушевление, а Коля Желтков отреагировал по-своему:

— Намучаюсь я с тобой! Ты уж постарайся без фокусов, как-нибудь попроще. Что дозволено Ксенофонтову, не дозволено таким новичкам, как ты! В общем, держись меня. Не будь я Коля Желтков, если не поставлю тебя на ноги!

Алексей забрал свои пленки и потопал наверх, в редакцию, расшифровывать.

Он поставил бобину на магнитофон, нажал кнопку пуска. Заговорил черноглазый. И тут же тревожно и радостно жгало сердце: Аня... Нет, он не забывал о ней ни на минуту. Просто события, весьма значительные для него, словно бы отодвинули все, что было там, с ней, в Ружине, в прошлое, хотя этому прошлому было меньше суток. Но подспудно это чувство чудесного, того, что случилось, жило, продолжало жить в нем.

Он мечтал под голос черноглазого, как под музыку. Даже то, что ему предстояло — часовая программа, не пугало его. Он сейчас ничего не боялся.



*День шестой*  
**ОБЫЧНЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ**

Жаров выглядел утомленным, задерганным.

— Ну вот,— сказал он,— теперь мы остались втроем. Если, конечно, не считать Кирию Сальского, которого считать никак нельзя: строчки от него не дождешься, с головой погряз в музыке. Так что впрягайся в лямку, пощады не жди.

...Ничего! Это ведь, знаешь, как котел под критическим давлением: если не лопнет, значит, годится в дело! А? Не осуждаешь за такое сравнение?

Алексей не осуждал.

— Н-да! Только было дело стало налаживаться — и нá тебе, все сначала!— подосадовал Жаров.— Ну что ж, ничего не поделаешь! Теперь будем ждать, когда вы, Алексей Николаевич, заткнете нас, стариков, за пояс.

Непонятно, отчего, может от неуверенности в себе, но Алексей воспринял эти слова как некое невольное, нечаянное, но все же напоминание о том, что помощи от него покуда немного. Он на минуту почувствовал себя виноватым, ущербным. Жаров заметил это.

— Ну-ну!— сказал он.— Ну, Леша, как можно! Нет, серьезно, ты очень быстро адаптировался, вошел в дело. Молодец!

Все-таки хорошо было с ним работать!

Поначалу, в первые дни, Долгов восхищался легкостью, какой-то непринужденностью, с которыми шеф выходил из самых сложных, запутанных ситуаций. Как и все, он опаздывал, не успевал; его обременяла масса неоконченных дел; у него бывали неприятности, плохое настроение. Но в отношениях с окружающими он оставался неизменно ровен, спокоен и даже ласков. Вскоре Алексей понял, что это дается ему ценой немалых усилий, что поведение его — от чувства собственного достоинства и нежелания перекладывать свою ношу, груз своего самочувствия на других.

Жаров теперь требовал от него в полной мере: что ему оставалось делать, когда замены Брянцеву все еще не нашли?

В конце месяца — как ни старался Долгов не думать о нем, он наступил, последний день октября,— Алексей положил на стол Жарову листок бумаги, на котором были расписаны по минутам эфирного времени все его труды за отчетный период. Жарову этот листок не пон-

равился: сам Долгов написал предостаточно, но авторских минут набиралось не больше половины нормы.

— Да что я их, авторов, рожу?— возмущался Алексей.— Можно подумать, они ко мне табунами ходят!

Жаров развел руками:

— Ничего не могу поделывать! Пора, дорогой, обратиться активом. Никто тебя от этого не освободит. Ладно, как-нибудь спасу тебя на этот раз, но уж в следующий — не взыщи...

Кстати,— сказал он,— ты не ответил на несколько писем. И еще там одно письмо... Черт его знает, где его искать! Размечено на Брянцева, но в его бумагах нет — все перерыл. Я смотрел карточку: какой-то шофер пишет, несправедливо обиженный на работе. Ты случаем не видел этого письма?

Долгов заморгал — часто, смущенно.

— Что ж ты молчишь, паря! Я же из-за тебя тонну бумаж перекидал! Давай его сюда!

...Жаров читал быстро, вскользь, но, дойдя до конца письма, уткнулся глазами в первую строчку и пошел сначала.

— Да-а...— вздохнул он, откинувшись на спинку стула.— Что же ты, братец? Письмо-то вполне серьезное!..

С легкой тоской перебирая в памяти все свои первоочередные, неотложные дела, Долгов молча, не глядя в глаза Жарову, протянул руку за письмом.

### *День седьмой*

#### *„Я ПО ВАШЕМУ ПИСЬМУ...“*

Шофер жил на окраине города, на широкой и скучной улице, сплошь забранной в асфальт. Леша прошел эту улицу из конца в конец, но такого дома, какой был указан на конверте, не обнаружил. Как на грех, и спросить было не у кого в это, рабочее время. Прошла мимо девчонка-школьница с портфелем, с куцыми косичками, прямо и напряженно торчащими из-под вязаной шапочки. Она такого дома не знала.

«Хоть бы присесть где, что ли!— раздражался Долгов.— Подождать, пока кто-нибудь появится...» Он, прислонившись к стволу дерева, курил, дожидаясь прохожих.

— Молодой человек, вы чего ждете?— подозрительно оглядела его дворничиха, женщина в зеленой куртке, по-

явившаяся из-под арки большого, длинного, крепкого, как броненосец, дома послевоенной постройки.

— Не знаете, где дом литер «Г»? — резко спросил он. Ему не понравился ее бесцеремонный тон.

— Там, во дворе.— Она большим пальцем ткнула через плечо в затененный проем арки.— Общежитие, что ли?

Он кивнул и прошел мимо, чувствуя на спине ее пристальный взгляд.

Во дворе было тихо — шум машин сюда не достигал. Он нашел этот самый дом литер «Г» — низкий флигель с обшарпанной штукатуркой, вошел в подъезд, поднялся по лестнице. Дверь, единственная на площадке, была распахнута настежь, и он перешагнул порог.

В длинном коридоре жгли свет: только два окна, одно напротив другого, белели в торцах его. Пахло жареной камбалой и мокрым бельем.

Дверь комнаты Лаврова долго не открывали — нудно елозили в скважине стертым ключом. Наконец замок поддался, и в проеме выросла женщина в домашнем халате, в платке, повязанном низко на лоб.

Широкое, красноватое, обветренное лицо ее рябило толстыми мазками крема — видно, только что была занята внешним своим оформлением. Вероятно поэтому — потому что ее оторвали от этого занятия — она неприветливо, резко спросила:

— Вам кого?

— Мне Лаврова, Константина...

— Его нет дома.— И дверь покатила на Алексея.

— Простите, пожалуйста! Вы не могли бы попросить его позвонить мне по телефону? — успел он вставить в сужающуюся щель. Дверь поколебалась.

— А кто вы? Зачем он вам?

— Я из радио. По его письму...

— Ой! — всполошилась женщина.— Что ж это я! Извините, пожалуйста, щас! Костя, вставай,— крикнула, обернувшись,— к тебе пришли!.. Вы уж меня извините,— оправдывалась она.— Тут, видите ли... К нему дружки целый день ходят с большими да с маленькими бутылками. Я и подумала... что вы из этих. А он дома!

Костя, большой белобрысый парень, лежал одетым поверх одеяла. Он поднялся, сел на кровати, протер глаза...

— Да очнись! К тебе пришли!.. Извините, пожалуйста! — торопилась женщина.— Он, понимаете... Ну у него

неприятности... Да вы сами знаете! Ну и зачастили к нему дружки! Этим-то охломонам все равно с кем пить, лишь бы пить! Я почему так вас и встретила... Выгоню к чертовой матери, с лестницы спущу — еще раз хоть один придет! — вдруг разразилась она, обращаясь к парню.

— Да ладно, — он недовольно скривился. — Я их зову, что ли?

...Сноровисто, быстро женщина убрала со стола косметические коробочки, тюбики, зеркало, осмотрелась, все ли в порядке; пройдясь по комнате, что-то поправила, тронула. Потом, мимоходом глянув в настенное зеркало, всплеснула руками и принялась поспешно стирать полотенцем с лица крем.

Алексей не мог взять в толк, кто она. Жена?..

Лавров тем временем надевал ботинки. Застегнувшись, одернувшись, он указал Алексею на стул, а сам сел на кровать.

— Да, ну вот, такие дела... — сказал он и потянулся за папиросами на тумбочке. Краска на крышке тумбочки, казенной, инвентарной, коричневой, в двух-трех местах вздулась от окурков. — Все так и есть, как в письме...

Не зная, как начать разговор, Алексей тоже достал сигарету. Парень тотчас же предупредительно подвинул к нему пепельницу.

— Ваша жена, — сказал Алексей, — ждет ребенка?

На мгновение парень растерялся, но тут же сообразил:

— Это моя сестра, — торопливо, словно боясь, что ему не поверят, объяснил он. — Жена написала ей, что я... того... загулял маленько, — он смутился, — вот она и приехала. А жена в роддоме!..

— Понятно.

— Да я бы уехал! — вскинулся Константин. — Только сами видите: куда уж теперь... Жена со дня на день родит... Да и что это: я ж ничего не прошу, кроме работы! Ну случилось такое! Что же теперь? Куда нам теперь?

— Ну так а что, Костя, делать-то? Я вам откровенно скажу: прописка, жилье — это дело милиции, горисполкома. Я тут при всем желании помочь не могу.

— И не надо! Вы меня на работу устройте! Есть же работа с лимитной пропиской! А больше мне ничего и не нужно!

Алексей смешался: надо же! И как ему не пришло

в голову? Отыскивая выход из запутанного, отчаянного положения, в котором оказался Лавров, он думал о чем угодно, только не о том, что парню нужна-то, в сущности, всего лишь работа, которой в городе предостаточно. Хотя Лавров как будто бы ясно писал об этом...

— Действительно...— сказал он. — Если так... Если так, я постараюсь! Помогу вам, наверно...

— Постарайтесь! — робкая надежда прорезалась в голосе Лаврова. — А я уж в долгу не останусь!

— Ну это вы напрасно! Это мои обязанности, — смутился Алексей. — Действительно! Ведь, в конце-то концов, не вы угнали машину — у вас угнали, так ведь? А что касается переезда вашего приятеля... Тут вы, как говорится, дали маху, тут вам, конечно, не оправдаться.

Лавров вздохнул и понурился.

Сестра, незадолго до этого отлучившаяся из комнаты, внесла и поставила на стол чайник и большую сковородку с яичницей.

— Извините, — опять она принялась за свое. — Ничего больше нету, до сих пор в магазин не ходила. Надо же, и угостить-то нечем!..

Она сокрушалась так искренне и многословно, что Долгов, чтобы сгладить неловкость, принужден был сесть за стол.

— Может, я в магазин сбегая? — хитровато, но и опасно скосившись на женщину, предложил Лавров.

— Сиди! Уже набегался! — прикрикнула сестра. Но тут же и заколебалась: может, надо ради такого случая?

— Нет, нет! — замотал головой Долгов. — Мне еще на работу, не стоит!

— Ну ладно... — не без сожаления согласился Лавров. — ...А то можно было б и отметить наше знакомство... Вы ж не за рулем!

— Не стоит, — повторил Алексей.

— И то, — сказал Константин. — Ну ее в болото! Кабы она столько стояла, сколько берут в магазине, а то ведь дороже платишь!..

Алексей не преминул отметить про себя это высказывание.

Он со всей серьезностью налегал на яичницу. Нежелание обидеть хозяев вполне совпало с его холостяцким желанием подкрепиться.

Сестра Лаврова ревниво следила за ним, укоризненно, сердито поглядывала на брата, который рассеянно,

нехотя ковырялся вилкой в тарелке, а разговора о том, что же они решили, что ж ему, Косте, делать дальше — она выходила на кухню, когда они толковали об этом, — не заводила, соблюдая приличие: не ко времени, не за едой. Налила чаю и тогда уж спросила:

— Так как же... Извините, не знаю, как вас по имени-отчеству?

— Алексей.

— Алексей. А по отчеству?

— Просто Алексей. Вполне достаточно.

— А меня Вера, — обрадовалась она. — Так как же с ним-то, с Константином? Вот ведь прямо как по заказу — все одно к одному: и работы лишился, и крыши над головой, и жена в роддоме... Ну что будешь делать! Везет ему, как утопленнику!

Алексей сказал: мол, надеюсь, дело поправимое, такого быть не может, чтобы не поняли, не вошли в положение Константина...

Уж так ей хотелось ему верить, столь были желанны его слова, что она на глазах расцвела, засветилась, счастливая оттого, что тучи над головой брата расходятся. А Константин уже успокоился. Достал откуда-то шахматы.

— Может, сыграем партию?

Долгов принялся было энергично отнекиваться, ссылаясь на занятость: мол, надо идти. Костя как будто бы сгорчился. Хороших, простых отношений меж ними все еще не установилось — Алексей, как всегда, спешил, и это ему мешало. Но, может быть, его присутствие как-то отвлекало парня от неприятностей, которые, похоже, порядком потрепали его? Как бы то ни было, Константин хотел, чтобы Долгов побыл еще, и Алексей согласился на партию.

Костя — тот играл, а Долгов переставлял фигуры. Он и вообще-то не был силен в шахматах, а тут сел за них без интереса.

— Мы с ней, с сеструхой, воспитывались без родителей, — рассказывал Лавров. — Оба умерли, и мать, и отец. Жили в детдоме. Она и там меня защищала, дралась за меня с пацанами.

Жили мы в Томске. Правда, и всем тогда тяжело было, это верно... Но все же дома-то дело другое. А там нас двести с лишним гавриков, сам понимаешь, что это такое. Чуть отвернулся — и сперли твою краюху

хлеба, сиди голодный... Воспитателям где же за всемирно углядет? Так она, сеструха-то, выручала...

Сейчас устроилась, замужем. А я после армии мотался по всей стране: работал на железной дороге, в депо, плавал на «рыбаках» на Дальнем Востоке, слесарем был на заводе. Нигде подолгу не задерживался. Не знаю, почему. Тянуло на новое место — и хоть ты что. А работал хорошо, это без всякого... Потом вот подался сюда. Думал осесть — и на тебе!

Всяко, вообще-то, бывало, — взгрустнув, продолжал он. — Трудно бывало. Но трудное — не плохое, о нем и вспоминаешь-то легко, если не сдрейфил. А тут — просто обидно! Да, вот такие дела... — Лавров вздохнул. — Мат! — передвинул фигуру. — Надоел я вам?

— Ничуть. Но... Надо идти. Извините. Пора. Вы возьмите мой телефон. Звоните почаще, настойчивей, не смущайтесь. Я этим делом займусь завтра же. Будем надеяться, все устроится.

— Ой, хорошо бы! — всплеснула руками сестра.

— Ну я пойду...

Лавров вызвался проводить его. Однако Алексей подумал: наверно, после того, что Константин рассказал о себе, он будет замкнут, неловок: ведь для такого вот откровенного разговора нужна подходящая обстановка, и продолжать в том же духе, чуть только она изменилась, бывает трудно, попросту невозможно. Так что лучше на том и попрощаться.

Прощались они долго. Сестра приглашала заходить, опять извинялась, сетовала на скудное угощение. Но в конце концов отпустила его, и он, выйдя на лестничную площадку, облегченно вздохнул. Ему пришло в голову: почему так? Почему от хороших, простых людей уходишь, облегченно вздыхая? Зря это она — так много и долго извиняется. За что?

### *День восьмой*

### **ВИТЯ АФАНАСЬЕВ, ПЕРЕДОВИК**

— Нет, нет и нет! — решительно возразил начальник автоколонны. — Вы извините меня, товарищ корреспондент, но у нас передовая автоколонна: в прошлом году два квартала были в победителях соцсоревнования, переходящее знамя у нас, все такое... А вы мне кого рекомендуете? Да он, может, и у меня машину угонит!

Откуда мне знать? Небось по тридцать третьей турнули этого вашего протезе? Так?

Алексей растерялся:

— Честно сказать, я не знаю...

— Да вы что? — удивился начальник. — А туда же — хлопотать за него! У нас, между прочим, не исправительный трудовой лагерь! У нас и междугородные рейсы, на юг ездим. Да это если, положим, дам я ему «Колхиду», что ж он с ней сделает? Ну, положим, «Колхиду» ему я, конечно, не дам, но все же... А то, еще лучше, займется контрабандой! Нет уж, увольте! Нам такие водители не нужны. Потом... Что я скажу кадровикам? С какой это стати мы берем «подмоченного»?

— Но ведь у вас не хватает водителей?

— Водителей — да, а всяких там... деятелей хватает!

— Ну стечение обстоятельств, не повезло человеку — и только!

— С незаконной перевозкой тоже не повезло? — насмешливо воззрился на него начальник.

— Нет, тут он, конечно, виноват. А с угоном — простая случайность. С вами что — никогда ничего не случилось?

— Со мной-то случилось! — без промедления согласился начальник. — Но вот чтоб машину угнали — этого не случилось! Как говорится, и вам не советую. Слушай! — удивился он. — У него же прокол за проколом, а ты за него горой. Он что — твой родственник? Чего ты так за него переживаешь?

— Да я ж говорю — парень-то замечательный!..

— Замечательный, замечательный! — передразнил начальник. — Все они замечательные, пока спят да дома нет.

Начальник, нахмурившись, замолчал. Встал из-за стола, прошелся по кабинету:

— Ладно, присылай его ко мне. Погляжу, что за фрукт. А теперь давай-ка о деле!

— Мне бы хорошего шофера. Молодого, разговорчивого, общительного. Сами понимаете — радио. Хороший работник, активный общественник... Покатаюсь с ним, поговорю и напишу очерк.

Начальник подобрел.

— Найду я тебе такого шофера! — Он сделал жест рукой, предупреждающий всякие сомнения. — Приходи завтра. Сегодня, ей-богу, не до того, да и подумать мне



все же надо... Вишь, как наловчился! — Он покрутил головой. — И дело сделать, и своего заодно пристроить!

— Да какой он мне свой? — вновь загорячился Долгов.

— Ну ладно, ладно! Это я так. Знаю, тебе по работе надлежит быть добреньким... — Больно уж ты настырный, корреспондент! — тут же переменял он тон. — Я б этого гаврика и на пушечный выстрел не допустил к машине, если бы не ты, ходатай!

— Да ведь хороший парень!

— Все. Хватит об этом. Решили.

— Так, говорите, во сколько завтра?

— Ну давай часов в восемь. Прямо с утра.

Утром Долгов опять сидел в приемной начальника автоколонны. Еще не рассвело, и в приемной горел свет. Огромное окно, вымытое к осени, блистало ослепительным отсветом, зеркально отражало его физиономию.

Секретарша начальника, женщина в темном цветастом платье, поглядывала на него сердито и неприветливо и не думала докладывать о нем. Но в селекторе захрипело, и раздался бодрый голос начальника:

— Ирина Антоновна, зайдите.

Женщина поднялась и скрылась за двумя обитыми кожзаменителем дверьми, а вернувшись, сурово пригласила:

— Проходите.

За длинным столом, торцом приставленным к письменному столу начальника, сидели двое, должно быть из руководства: костюмы, галстуки, аккуратные папки, разговаривают с начальником по-свойски. Но, видно, они уже заканчивали свои дела, собирали со стола бумаги.

— Действуйте! — сказал им на прощание начальник и обернулся к Долгову: — Присаживайся, корреспондент!

Те двое ушли. Начальник, опершись локтем о стол, сцепив кисти рук и уткнувшись в них подбородком, смотрел на Алексея прямо, с едва заметной, но не обидной, веселой усмешкой.

— Ну так что, корреспондент? А где же твой друг-приятель?

Долгов заерзал на стуле.

— Мне что, нужно было его сегодня привести?

— Ладно, — успокоил его начальник, — дадим ему какую-нито балалайку! — и, расцепив руки, прихлопнул ладонями о столешницу. — Так и быть, оформим! Колеса дадим, а остальное уж... Это уж сам! Где ж я на всех напасусь новых машин?

— Да парень-то просто впросак попал... — опять было начал Долгов.

— Да будет! — Начальник скроил гримасу усталости. — Наше дело шоферское! Чего не бывает... Присылай своего гвардейца! А насчет кандидатуры молодого передовика... Нашел я тебе такого. Замечательный парень! Ударник коммунистического труда, победитель соцсоревнования... — Он подвинул к себе по столу бумажку и заглянул в нее. — ...Награжден юбилейной медалью. И в семье у него как будто порядок. Сейчас я тебе его позову. Говорить-то где будете? Может, здесь устроитесь? Или я буду мешать? А то можно в красном уголке. Как, не буду вам помехой?

— Он-то как? Вас не засмущается?

— Этот не засмущается, не волнуйся! — обнадежил начальник. — Вот уж чего за ним нет, того нет — чтобы смущаться!

Витя Афанасьев, водитель автофургона, сразу, как только угнездился на своем месте в кабине, включил крохотный туристский транзистор. Музыка, легкая и текучая, оборвалась. «Девять часов пятьдесят минут. Передаем обзор местных газет...» Витя выключил транзистор.

— Газеты я дома читаю. «Правду» выписываю, «Комсомолку» и нашу газету. Чтобы знать, что происходит в городе. А в дороге слушаю только музыку, остальное мешает. Рано еще для музыки, подождем.

Ждал он недолго, затянул песню.

— А, лу-у-у-нною тро-по-о-ю, а, на-а-а сви-дань-е-е-ду!.. — пел он и от удовольствия закатывал глаза. — А, ти-хо сам с со-бо-о-ю, ти-хо сам с со-бо-о-ю, а, я ве-ду бе-се-ду!

Леша посмеивался, крутил головой: парень ему определенно нравился — заводной, веселый, артельный.

— Искусство! — вздохнув, сказал парень. — Великая вещь! Я вот на южных рейсах работал, на «дальное». Даже с собой книжку брал — песенник. Нельзя же одну и ту же, разонравится, а так — разнообразие. Так это едешь... Дороги на юге приличные, шоферу дорога хорошая в радость. ...Ну, и поешь! А что? Поговорить-то не

с кем. Ездил-то один, без напарника. Водил, сам знаешь, нынче не хватает.

— Вот только что одного вам сосватал, — сказал Долгов.

— Молодой?

— Да, в общем, со стажем, второй класс.

— А чего ж его сватать? Шоферы всегда нужны.

— Да у него там... Есть кой-какие за ним грехи!

— А чего?

— Машину у него угнали. Ушел, говорит, ровно на пять минут — и угнали.

— Ну да? — Витя задумался. — Ну так это смотря как угнали! Может, он вообще ни при чем!

— По-моему, ни при чем.

— Тогда чего ж его не взять? Как начальник-то отнесся?

— Вроде обещал. Будет у вас работать.

— Начальник-то сам из шоферов, — сказал Витя. — Заочно окончил автодорожный техникум. Толковый мужик, с понятием. Не забыл еще, как сам баранку крутил... Ясное дело, всяко бывает, — продолжил он. — Со всяким может случиться.

Ехали «порожнем», за грузом на плодоовощную базу. Витя Афанасьев закурил папироску.

Прямое асфальтированное шоссе бежало по окраине города, вдоль новостроек и пустырей. Переходы и светофоры здесь были редки, и, надо думать, отчасти поэтому Витя говорил без умолку.

— От начальства, — говорил он, — много зависит, хоть мы его и ругаем, бывает. Вот я, например. Шофер первого класса. А что я делаю? С базы — в магазин, с магазина — на базу, бывает, полтора километра туда — полтора обратно. Но вот попросил начальник — и я согласен! Ну не надолго, конечно, на месяц, — такой у нас уговор. А почему? Да потому, что по-хорошему попросил! А если бы стал требовать да грозить, хрена с два согласился бы! Потому что есть которые помоложе. Я в их время тоже работу не выбирал, делал какую давали.

Промчались по ровной, тугой, как струна, трассе, шипящей влагой, и остановились перед круглой площадью-развязкой. Отсюда надо было сворачивать в сторону, на сырую грунтовую дорогу, которая вела к базе.

Зажегся желтый, и Витя тронул машину с места. Быстро, но плавно набрал под зеленым скоростью и осто-

рожно, без рывков, толчков съехал с асфальта вниз, на плотный песок колеи, петлявшей по пустырю к базе—территории, огороженной серым от дождей деревянным забором, с аккуратными, словно игрушечными прямоугольниками строений. На этой промятой, осевшей колдобинами дороге, хлюпавшей грязью и водой, машина переваливалась, как неуклюжий баркас на крупной зыби, и Витя умолк.

У ворот базы он долго, протяжно сигналил, пока из будки не вышел дед-стрелок в синей форменной фуражке со скрещенными латунными винтовочками.

— А это кто? — спросил дед.

— Со мной. Корреспондент,— бойко отвечал Витя.— Интересуется моими трудовыми достижениями.

Дед недоверчиво оглядел Долгова, но, видно, осмотром остался удовлетворен.

— Болтушка ты, — недовольно проворчал он на Витю и пошел открывать ворота.

Лабиринтом меж одинаковых, поставленных вдоль и поперек «боксов» хранилища выбрались к «виноградному» корпусу. Витя развернул машину, подогнал ее задним бортом к эстакаде, к растворенным дверям склада, и выключил мотор.

— Сейчас я, по-быстрому, — сказал он и полез из кабины.

Алексей уже начал было скучать: рейсы короткие и однообразные, туда-сюда... Выбравшись из кабины размяться, он постоял, вдохнул сырого свежего воздуха, глянул на небо, затянутое седой хмарью, и направился к сходенке, брошенной с эстакады на землю.

— Куда? — зарычал небритый парень, грузчик, увидев его в дверях «бокса», и опустил в штабель ящик, который уже было приподнял, чтобы ставить его на тележку.

Алексей, смешавшись, остановился и отступил.

...Наконец трое грузчиков выкатили на асфальтированную завалинку тележку с виноградом. Двое из них полезли в кузов, один остался внизу.

— Чего ты преешь в кабине? — крикнул, выходя, Витя. — Выдь, проветрись!

— Чегой-то он у тебя в кабине закупорился? — громко сказал пожилой грузчик снизу. — Вышел бы хоть подмогнул!

На что молодой, небритый, который остановил его в дверях, виновато и недовольно буркнул:

— Да это я его... Думал, кто из посторонних...

Алексея смущало внимание грузчиков к его персоне. К тому же надоело сидеть в кабине. И когда грузчик снизу подмигнул ему и, кивнув, пригласил: мол, выходи, чего ты, ждем не дождемся, — он хмыкнул и открыл дверцу кабины. Спрыгнул на землю, подошел к тележке и взял ящик.

— Не, в такой одежде нельзя! — замотал головой грузчик. — Отдыхай, это я так... Тут и работы-то... Ящик-то с коробок спичечный. Щас мы их, быстро перекидаем!

— Давай, давай, корреспондент! — вдруг загорелся энтузиазмом Витя. Сам, однако, и не думал пособить грузчикам. — Щас я тебе спецовочку соображу, а плащ снимешь. Так-то оно быстрее дело пойдет...

Он принес жесткую новую спецовку. Алексей надел ее и встал в пару с пожилым к тележке.

Работа была легкой, неспешной и даже приятной. Хотя пожилому-то без него пришлось бы поворачиваться вдвое скорее. Ящики весили килограммов по пять, не больше: виноград — продукт нежный, и затарили его с большой аккуратностью, бережно, в плоские ящики из тонких дощечек.

— А ты чего? Присоединяйся. Физический труд — он облагораживает. — Молодой из кузова принялся за Витю.

— Мне нельзя. Я считаю... — с деланной озабоченностью отказался тот.

— Слышь, браток, — обратился к Долгову третий грузчик, дядя с обветренным, бурым лицом. — Слышь, а почему... — он говорил по слову — по два, сбиваясь с дыхания от работы, — у грузчиков... восьмичасовой рабочий день? Скажешь, легкое производство?

— Семичасовой, — поправил его молодой напарник. — Если на шесть дней разделить, получается семь часов.

— Ну семичасовой, — огрызнулся дядя. — Скажем... сталевар у печи... или там химическое производство... там семь часов. А у нас что, работа легче? Не скажи! Ну-ка попробуй... понагибаться вот так целый день! Ты что думаешь... мы каждый день на винограде? А картошка идет... капуста! Ящики-то — не эти... килограмм по двадцать... по двадцать пять. Глядишь, и спина отнимется... и руки как плети. Что ты на это скажешь?

Витя осклабился:

— Может, тебе еще и молоко выдавать за вредность? И хлеб с маслом?

— И второе! Из одного мяса! — встрял молодой грузчик и заржал.

— А что? — рассердился дядя. — Вон у меня соседка работает... Монтажницей на этой... на киностудии. И то молоко выдают! А нам что, легче?

— Может, оно и не легче, — спокойно заметил пожилой грузчик, — а только все же, как ни говори, работа у нас — не то что дымом дышать или химией. Ты б, Николай, пореже стакан в кулаке зажимал, меньше бы уставал, это я точно тебе говорю! Я вот когда с этим делом распрощался, сразу другим себя почувствовал. Много она, окаянная, сил забирает...

Дядя на это не возразил.

Они быстро перекидали тележку. Грузчики скрылись за дверьми склада и минут через пять выкатили груженую. И опять ящики, скользя, засвиристели по широкой полосе отполированного железа, которым был подбит кузов у заднего борта.

— Вот кому выдавать молоко! — кивнув на Алексея, бодро сказал молодой. — Работникам умственного труда. Или нет... эти, как их... свечки от геморроя! — И, довольный, захохотал. Причем на этот раз его поддержали.

Выгрузили, закатили в «бокс», выкатили, перекидали и следующую тележку... Кладовщица, молодая пухлая блондинка, ушла вместе с Витей оформлять документы, а они уселись на порожнюю тележку, на красный пожарный ящик с песком и закурили.

— А вот еще что мне скажи, — начал дядя с бурым лицом. — Если, положим, я возьму здесь расчет и устроюсь на вредное производство, на химкомбинат... Дадут мне пенсию в пятьдесят пять лет или нет?

— А сейчас сколько вам лет?

— Сорок семь.

С виду-то ему было все пятьдесят пять и, пожалуй, даже побольше.

— По-моему, там две категории вредности... Некоторые, я знаю, получают пенсию даже и в пятьдесят. Это надо узнать точно в Облсовпрофе.

— Вот и узнай, а? А я с тобой свяжусь! — так, словно сто лет знал Долгова, сказал дядя.

— Да что ты к нему привязался! — вступился за Алексея молодой. — Ведь знаешь, что не дадут тебе

пенсию в пятьдесят пять лет, уже узнавал. А морочишь тут голову человеку!

А ты мне лучше вот что скажи, — обратился он к Долгову. — Вот, скажем, я работаю... Работаю здесь и на кирпичном заводе по совместительству. Не-е, я не из этих, не из хапуг — чтобы пуп рвать, лишь бы жить лучше соседа, — предупредил он возможное отношение к нему Долгова. — Тут, видишь, какое дело... Получил я квартиру, десять лет ее ждал. Надо ее обставить? Надо! А не на что. Вот и работаю на двух работах. Вообще, хочу завербоваться на Север — на год, на полтора. Жена говорит, будет ждать. А будет ли?

Тут уже Алексей обескураженно развел руками.

Дядя, которого интересовала пенсия в пятьдесят пять лет, открыл было рот, чтобы что-то сказать, но парень тут же пресек его:

— Ладно!

Дядя усмехнулся и закашлялся, подавившись табачным дымом.

— Ты пока телишься, там уже все закончат, — отдышавшись, сказал он.

— Не бойсь, на мой век хватит, еще останется!

— Говорят тебе — поезжай сейчас! — неожиданно озлился дядя. — У тебя ж специальность — стропаль! А там только еще начинают — самые заработки! А через год-полтора — всё, уже не то, двести пятьдесят, триста — и отходи! Самое время ехать! Понял?

— Этой зимой точно поеду! — сказал, как решил, парень. — Надо! Пора уже создавать нормальную человеческую семью! А то уже тридцать четыре года. Пора и домом обзаводиться.

— Что ты все заладил: дом, семья! — не выдержал пожилой грузчик. — Нет обстановки, так уже и не семья? Хоть и говоришь, что не из тех, которые пуп будут рвать из-за денег, а кто ты? Не такой же? Семья-я! Он да жена. Тебе детей заводить надо, а не барахло! А с этим успеется, это дело наживное.

Ты вон все с Васьки берешь пример, с Бордюгова... — Дядя обернулся на эти слова, но, видно, относились они не к нему. — Тоже гусь! На кой ему, видите ли, лишняя обуза — дети. Ну и что в результате? Как работе конец, так в магазин! Заботы-то никакой. Никого, кроме жены. А так бы, глядишь, подумал, стоит ли... Все же семья — она держит. А так — что за семья? Ты да она... И все-то вы так — ухватить, урвать! А зачем, для кого? Кабы есть

было нечего, ходил бы босой, а то ведь в порядке. А потом оглянетесь — и ничего! Для чего копошился-жил, для кого?

— Да не гунди ты! — осерчал дядя с бурым лицом. — Так, как ты, я тоже не желаю! Чтобы каждый рубль слюнявить, копейку считать...

— Да я-то троих рошу! — взвился пожилой. — А где твой? Поди, сам не знаешь, где. Ко-не-е-шно! Тебе-то что! Получил зарплату да и в гастроном!

— Ну и что? — Дядя с вызовом, с угрозой во взоре подался к пожилому. — Что они у тебя — профессора, академики, твои-то?

— А что? Старший закончил техникум, мастером на заводе. Младшие тоже как-никак со средним образованием. Хоть бы какие! Не хуже других! — рассердился пожилой.

Но тут появились кладовщица и Витя, и разговор, грозивший обернуться ссорой, оборвался.

Витя говорил кладовщице о том, что следующая ездка — не к ним, в другой «бокс», за яблоками. Она интересовалась, кто будет вместо него. Он не знал.

— Зина, так что, пока всё? — спросил молодой.

— Видимо, всё. Сейчас узнаю.

Грузчики, поднимаясь, нехотя разбирали рукавицы, топтались вокруг насиженных мест — пригрелись, и уходить не хотелось. Молодой скрылся в дверях «бокса» и чуть погодя вернулся с большим газетным кулком в руках. Кладовщица покосилась на него, но ничего не сказала. Заговорщицки подмигнув Долгову, парень протянул ему кулек:

— На-ка вот! Держи на дорожку!

Алексей энергично запротестовал:

— Да не надо! Куда мне? Ей-богу, ни к чему.

— Бери, не ломайся! — поддержал грузчика Витя. — Ты же им помогал! Им на усушку-утруску тоже ведь кой-чего полагается...

Алексей взял кулек.

В воротах базы Витя протянул дедуле накладную. Тот, сдвинув брови, поднес ее к глазам, повертел так и сяк и махнул рукой, разрешая.

— Побудешь со мной до конца дня? — спросил Витя. — Или дела?

— Побуду, дела никогда не кончаются...

— Давай! — обрадовался Витя. — Вдвоем-то оно куда веселее! Ну а радио-то мне когда слушать?



— Я позвоню твоему начальнику, когда буду знать точно. А он тебе передаст. Годится?

— Годится, а что ж!

*День девятый*  
**СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ ЖАРОВА**  
*(Глава-отступление)*

Юрий Александрович не понимал, как это случилось, почему он не сумел помешать глупой мальчишеской выходке Брянцева. Растерялся, упустил момент? Да, конечно. Однако это трудно было считать оправданием, да и не любил он оправдываться. В душе оставался неприятный осадок — будто что-то не сделал, что было нужно, что должен был сделать.

Оставшись один в редакции — было уже поздно, около восьми вечера, — Жаров наконец заказал разговор с приятелем, радиожурналистом, жившим в том городе, куда поехал Брянцев. Он не хотел этого делать днем, при всех, да и рисковал не застать своего знакомого на месте. С этим человеком они повстречались с полгода назад в командировке на строительстве ГЭС. И вот только теперь Жаров собрался ему позвонить. Впрочем, ничуть не смущался этим, был уверен, что тот профессионально не осудит его за несоблюдение приличия.

Жаров не знал, где работает Брянцев и работает ли уже. Тот постарался уехать так, чтобы никто не сумел проводить его, попрощаться. В последние дни, пока оформлял увольнение, он избегал их всех, чуть ли не шарахался от встречных в коридорах комитета. Жаров ценил Брянцева, умного, одаренного парня, а расстались они как-то не по-людски...

В пустом и все же беспокойном ожидании звонка Юрий Александрович думал о том, что Брянцеву, вероятно, много еще придется путаться в жизни, если не произойдет какого-либо события, которое встряхнет его, заставит взглянуть на себя со стороны, прямо и честно, без робости и самоугаваривания; если не найдет в себе силы понять, что в жизни нельзя постоянно уходить, устраняться... Наверно, покуда он находит достаточно оправданий для себя, для своего поступка, но ведь не может не чувствовать, что они во многом придуманы. Все на свете можно оправдать, было бы желание... Но только, пожалуй, очень уж толстокожий человек не

замечает изъянов, прорех самой безупречной логики, если она формальна, умозрительна. А Брянцев — парень неглупый. Но не до конца честный перед собой. Не так уж и мало людей, которые слишком легко прощают себе этот грех. Наверно, как это ни грустно, но каждому нужно осознать меру своих сил и способностей и ограничиться делом, которое можно делать только добросовестно и честно.

«Как я, например, — невесело усмехнулся Жаров. — Тоже ведь пытался в писатели. Нет, я попросту не решился. Мог, но не решился. А может, не мог, раз не решился?»

Наконец резко, прерывисто зазвонил телефон — это была междугородная. Ему повезло — приятель оказался дома. Жаров услышал его приглушенный расстоянием и помехами, тресками спокойный баритон, в котором даже теперь, по телефону и в неизвестности предстоящего разговора, прорезывалась природная насмешливость.

— Петя, это Жаров. Помнишь такого?

— Ну как не помнить! Здорово! Как дела?

Будто Жаров звонил ему каждую неделю, будто бы он ничуть не удивился звонку и не понимал, что беспокоят его не понапрасну.

— Как твой?

— У меня то же самое.

— Слушай, Петя, — хмыкнул Жаров. — Не встречался ли тебе, случаем, некто Слава Брянцев? Эдакий молодой человек спортивного типа, вспыльчивый и застенчивый одновременно. Других особых примет, в общем-то, не имеет. Журналист.

— Встречался, а как же! — незамедлительно отозвался Петя. — И очень часто встречается этот вспыльчивый и застенчивый молодой человек, который больше молчит, но постоянно заставляет опасаться, что заговорит. Этого знаю. У нас на радио и работает. Парень, по-видимому, способный, хотя со всей определенностью сказать не могу: мы с ним в разных редакциях.

...Мне кажется, — помычав, подумав, сказал Петя, — с ним произошло что-то, перевернувшее его душу? Так, нет? Во всяком случае, вроде как в нем что-то с чем-то борется...

— В общем, да... — согласился Жаров.

— Что «да»?

— От нас он ушел по собственному желанию, но, вообще-то, такого желания у него не было...

— Ну а что было?

— Ммм... Небольшой прокол. Собственно, даже не прокол...

— И только-то? Ну надо же — журналист пошел! Да сколько у нас с тобой этих самых проколов было? Вы что, его выгнали?

— Да нет, сам ушел.

— Ну и?.. И чего ты звонишь?

— Поинтересоваться, узнать, где он, что, как...

— А почему тебя это интересует?

— Он хороший парень. Слушай, Петя, я тебя вот о чем попрошу... Попробуй расположить его к себе. Он тебе сам все свои внутренние дела изложит. Там, понимаешь, сплошные борения. С одной стороны — журналистика, с другой — неистребимая тяга к профессиональной литературе. И неизвестно, что серьезнее. Мне бы самому в свое время нужно было бы помочь ему в этом разобраться. Но поздновато спохватился... А парень хороший. Ему стоит помочь, и я как раз хотел просить тебя об этом.

— Случай, прямо скажем, не из редких, — отвечал Петя. — Ладно, попробую, как ты говоришь, расположить его к себе. Коли, как ты говоришь, стоящий парень. Ну а сам-то ты как живешь?

— Да вот... Восемь часов, звоню тебе с работы... Сейчас пойду домой.

— Понятно. Как жена, сын?

— Да все нормально. Так ты присмотришься к этому Славе Брянцеву.

— Я это дело, старик, так понимаю, — отвечал Петя. — Если его, как ты говоришь, раздирают влечение к литературе и необходимость трудиться, на это могу заявить следующее: наша профессия — не жена, а любовница. Жена может простить измену, любовница не простит, верно? Вот и ему, твоему Славе, я скажу то же самое, если, конечно, он захочет послушать меня.

— Вот и скажи. Сделай милость. Вообще-то я был бы не против, если бы он вернулся к нам...

— Ну тогда и не жди! Если действительно дельный парень, тогда мы его приберем к рукам! Нам толковые ребята тоже нужны.

— А может, ему нужно писать прозу. Не знаю... — сказал Жаров.

— Нужно, так будет, — решительно подытожил приятель.

— Ну, будь здоров, Петя!

— Будь здоров, Юра!

Юрий Александрович положил трубку на рычаг. Телефон коротко прозвонил и замолк. Жаров, упершись руками в край столешницы, выпрямился, секунду посидел в оцепенении, прислушиваясь к ноющей пояснице, и встал. Все! На сегодня шабаш. Он с облегчением вздохнул.

Пройдя мимо молоденького милиционера в дверях вестибюля, он вышел на каменное крыльцо Дома радио, остановился и с удовольствием вдохнул холодный сырой воздух, в котором уже как будто бы чувствовался острый привкус снега. Поднял воротник плаща, поплотней запахнул ворот и шагнул с крыльца.

Днем пока бывало не холодно, выпадали обильные, но короткие, не унылые, сеющие, все еще бодрые дожди. Но к вечеру подмораживало, и мелкие лужицы в неровностях, вмятинах асфальта поблескивали слюдяной корочкой льда.

Скоро начнутся сухие морозы, ветры, одеревенеет земля... А там выпадет снег — и зима. Ему стало грустно, что миновало еще одно лето, которого он так и не увидел толком, не успел разглядеть. Был отпуск — использовал две недели, но все это время сидел за городом, на даче, за сторонней работой — писал. А так бы хотелось бездумно и беззаботно полежать на горячем песке на пляже, поплавать в теплом море... По вечерам ужинать где-нибудь в саду, за дощатым столиком втроем, семьей, а на столе — огурцы, помидоры, фрукты... Да теперь уже поздно! Жаль, что этого не было, очень жаль...

Юрий Александрович не спеша шел по улице, по которой ходил каждый день почти двадцать лет, по той стороне ее, что ярко освещена длинной витриной ателье мод, красной неоновой надписью «Гастроном». Дворники присыпали улицу солью, и ледок раскисал, становал; сейчас мокрый асфальт в свете огней дробился, сверкал лакированными черными бликами.

Народу в автобусе в этот вечерний час было немного. Так что он мог даже сесть, да еще у окна, как любил. Обычно в транспорте по дороге на работу, с работы он уставал: чтобы войти, продраться в автобус, уже нужны были силы, а потом, стиснутому со всех сторон, когда не переступить, не пошевелиться, к тому же еще приходилось выслушивать удручающие, раздражительные пре-

рекания пассажиров, а то и самому бывать втянутым в них. Все это действовало на нервы, утомляло. А тут можно было вытянуть ноги и отдыхать, смотреть в окно на знакомые улицы, дома...

Он любил и ценил это состояние умиротворения, покоя, потому что редко его испытывал. Чаще всего мысли о деле не отпускали после работы долго, иногда мешали заснуть, а сегодня совпадением обстоятельств ничто не тяготило его, не висело над ним.

Чудесный вечер! В такие вот вечера с ним происходили мелкие, но восхитительные события. Как-то он, например, подходя к своему дому от остановки автобуса, удивился, увидев на фронтоне давно уже примелькавшегося здания полустершийся рельефный орнамент со змеями, скарабеями, диковинными птицами с распушенными хвостами, вероятно ибисами. Откуда взялся этот Древний Египет? Он стал вспоминать. Дом, он знал, до революции принадлежал купцу первой гильдии, оптовому торговцу хлебом. Он построил его для жены. А кто была его жена?

Дома он заглянул в книжку, изданную местным издательством, и выяснил, что жена купца — турчанка, невестка как оказавшаяся в этих краях после русско-турецкой войны. Почему же тогда ибисы, скарабеи? Чья «творческая инициатива» — архитектора или купца? Так или иначе, это было интересно.

Как раньше он не замечал этого орнамента? Ведь тысячу раз проходил мимо этого дома. А вот надо же...

Выйдя из автобуса на своей остановке, он вспомнил, что жена наказывала ему купить хлеба. Впрочем, наказы она отдавала на всякий случай, не очень надеясь, что они будут выполнены. Первые несколько лет она на него обижалась, принимая это за невнимание к ней. Потом смирилась. Но все же не могла до конца понять, как это так — не суметь выбрать время для ее поручений, когда никто его не обязывает сидеть, отсиживать на работе.

Секунду он колебался: хотелось бы угодить ей, но махнул рукой: до закрытия булочной оставалось десять минут, наверное, не успеть...

Дом его прятался в глубине двора, в зарослях теперь уже полуголых тополей, березок, сирени, шиповника, бузины. Дом был небольшим, двухэтажным, даже снаружи уютным. По сравнению с громадинами современных «кораблей» это был именно дом, не жилое здание.

По тропинке, пересекающей двор, он шел к своему подъезду. На скамьях детской площадки, под частоколом вымахавшей в два человеческих роста бузины, никого не было — время телевизора, да и холодно. Мерзлый, обветренный песок хрустел под ногами так громко, что, казалось, шаги его слышит весь двор.

...Почему-то многие думают, что люди его профессии непременно ищут общения, шумных бесед, компаний. Он замечал как раз обратное: что они предпочитают свое, привычное, домашнее окружение, а то и одиночество. Общение с людьми, тем более с теми, которых видишь в первый раз, зачастую требует много сил, нервной энергии... От этого устаешь. И хочется побыть одному, думать о чем угодно, никак не контролируя, не принуждая себя. Поэтому, например, сейчас он с удовольствием отметил, что во дворе, на скамьях нет компаний подростков с их непременными гитарами и транзисторами. Поэтому его жена не раз обидно недоумевала, считая, что он чрезмерно внимателен к своим настроениям, состояниям, желаниям и нежеланиям...

Окна его квартиры освещены — кухня и обе комнаты. Сын, стало быть, скорей всего дома. Он поднялся на свой этаж, достал ключ, отпер дверь.

— Юра, ты? — окликнула его из кухни жена.

— Я, — сказал он и с грохотом, стаскивая их носком о пятку, сбросил ботинки.

— Не ходи в носках, надень тапки. Простынешь...

— Надел, — сказал он.

— Слава тебе господи, все в сборе, — вздохнула жена. — Хлеба, конечно, не купил?

Он виновато развел руками:

— Поздно, булочная уж закрылась...

— Ладно, я и это предусмотрела. Сама купила... Все же позвонил бы! — несколько неожиданно, как это с ней и бывало обычно, перешла она на возбужденный, раздражительный тон. — Неужели трудно? А если бы я не купила?

— Я же не знал, когда освобожусь, — в тысячный раз оправдался он.

— Что нового? — спросила она, помолчав недовольно, насупленно.

— Все по-прежнему... Кстати, нашел Брянцева. Работает в Горске на радио.

— Чем он тебя так приворожил, этот Брянцев? Парень как парень... Ну, способный. Но мало ли их,

способных, из которых ничего не выходит? Да и потом, сам не маленький: все же ребенок, семья, сам должен соображать...

Он усмехнулся:

— Себя в нем узнаю. Может, поэтому и вожусь...

— Вот уж не думала, что ты под стать этой мятущейся душе! По-моему, мне достался идеальный муж. Если, конечно, не считать, что он ничего не делает по дому...

Тут он откровенно хмыкнул: знать бы тебе, что стоила мне эта покладистость.

Хлопнула дверь комнаты, и сын вошел в кухню.

— Здравствуй, — сказал он. — Давненько мы тебя не видели.

— Здорово, — отозвался отец, с интересом разглядывая его, будто и впрямь давно не видел: крупная, все еще по-мальчишески непропорциональная, нескладная фигура, чистое, спокойное, округлое лицо.

Он, его сын, был вежливым, добрым и чуть ироничным молодым человеком. Жаров с удовлетворением отмечал, что вежливость его — не та, что дается усиленным домашним воспитанием, происходит она из понимания своего места среди людей, из желания ладить с ними. Жарову нравилась эта черта многих современных молодых людей.

— Как дела? — спросил Юрий Александрович.

— Какие у меня дела? Дела у тебя да у мамы, — сказал сын с некоторой долей иронии и, как показалось Жарову, превосходства.

Так оно и было, коли жена следующим образом отреагировала на эти слова:

— Тебе бы, Валерик, быть нашими папой и мамой, а не сыном, с твоим чувством собственного достоинства...

Сын ничуть не смутился и тем более не обиделся. Спокойно занял свое место за кухонным столом, у окна.

Жаров смотрел на него, несколько удивляясь, что это его чадо: по-видимому, довольно симпатичный парень, хотя в мужской красоте он не разбирался; лицом похож на него, но немного; больше материнского, мягкого, сглаженного. И при всем том такой крепкий орешек, что иной раз не раскусить. Мать так прямо чуть не до слез доводит. С ним, правда, бывает откровенен, но не вполне.

А вообще-то Валерий многое успел сделать в свои годы: победитель математических олимпиад, перворазрядник по легкой атлетике, по конькам...

Конечно, он знает себе цену, думал отец. И в то же время щадит нас, не слишком это подчеркивая. И я со своими словами и добрыми намерениями, к сожалению, не в силах опровергнуть эту его самоуверенность. А жаль... Но что поделаешь, если даже самый умный человек, не обрета определенного жизненного опыта, никогда не поймет некоторых, причем иногда самых простых и нужных вещей.

Он-то думает, что того, что он имеет, для жизни ему хватит. И попробуй ему объяснить, что это не так. Например, этот его треклятый рационализм. Каково ему с ним придется в жизни? В личной жизни, например. ...Да, так все непросто! И парень вроде что надо, а как поведет себя в жизни — поди, гадай!

— Чем сейчас занят? — спросил отец.

— Математикой, — коротко отвечал сын, принимаясь за бифштекс с жареной картошкой.

Вот, пожалуйста, самостоятельно внедрился в высшие сферы этой своей единственной любимой науки и как будто бы делает успехи; во всяком случае, доктор наук из физико-механического института находит для него время, регулярно его консультирует. И потому ответа его, как он считает, отцу вполне достаточно, уточнять он не будет: зачем, когда тот разбирается в математике в объеме полузабытой программы средней школы? Так вот он ставит ее, математику, выше других областей человеческого знания и по этой причине слегка пренебрежителен ко всем, у кого с ней мало общего. Даже и к нему, отцу.

— Ну а как тебе показалась моя покупка?

Сын неопределенно пожал плечами.

Две недели назад Юрий Александрович купил годовые комплекты старинных журналов. И был в восторге от своего приобретения. Сын настоял на том, чтобы журналы заняли место на полке в его комнате. В общем-то, отец не возражал — какая разница? — но опасался, что дитяtko просит их лишь для того, чтобы обратить внимание своих гостей-сверстников. И теперь он неспроста задал этот вопрос.

— Ты имеешь в виду журналы? Пока не читал.

Некогда. А отец и на работе не раз вспоминал о них, предвкушая радость — хотя бы полистать перед сном...



— Неужели тебе это неинтересно?

— Нет, почему же, интересно. Но некогда... Успейся. Со временем прочту.

Отец посмотрел на него с сожалением. Старательный, увлеченный, деловой молодой человек. Но ведь нелюбопытен.

— Но ты хоть заглядывал в них?

Сын не понял настойчивости отца.

— Нет. А что?

— Плохо, — сказал отец.

Сын даже перестал жевать, отложил вилку; с недоумением уставился на отца.

— Юрий, ну что ты ему не даешь покоя? Сначала поужинайте, потом и поговорите, — вмешалась жена.

— Ладно, потом так потом, — согласился он.

Сын принял его уступку за окончание разговора и спокойно продолжал жевать.

После ужина Юрий Александрович взял книгу и забрался с ногами на тахту. Сын смотрел в прихожей телевизор, жена возилась на кухне, гремела посудой.

Что-то ему не читалось сегодня. Казалось бы, за весь день ничего неприятного не случилось, а вот тем не менее чувствовал некоторый внутренний разлад и непонятное раздражение.

Разговор с сыном, понял он, когда услышал его громкий, здоровый хохот из прихожей. Вот в чем причина. А в чем, собственно, дело? Почему он должен быть похож точь-в-точь на меня? И если бы я уделял ему больше времени, разве он обязательно стал бы похожей?

А ведь есть семьи, и среди знакомых в том числе, где отцы точно так же заняты, тоже живут без правил и внешнего распорядка. И тем не менее... Да тот же Ксенофонов — его двадцатипятилетний сын в рот ему смотрит, подражает ему даже манерой одеваться — свободно, небрежно, с таким не бросающимся в глаза щегольством... Пошел по стопам отца. Как тот его ни отговаривал, закончил факультет журналистики, трудится на телевидении...

Нет, вероятно, дело не только в том, сколько времени уделяешь сыну, дочери. В чем же?..

Он недовольно отбросил книгу, поднялся и пошел на кухню ставить чайник. Мимоходом отметил, что сын при свете — где-то он вычитал, что в темноте телевизор смотреть вредно, портится зрение, — смотрел мультфильм.

Видно, не все еще потеряно, уже несколько отвлеченно подумал отец: сын очень любил мультфильмы, откладывал для них все свои дела, даже математику.

— Ты чего? Не наелся? — несколько виновато, растерянно спросила жена.

— Да нет, чаю выпью.

— Ну поставь. Я хотела попозже.

Он поставил на конфорку чайник, сходил в комнату за пепельницей и сигаретами и вернулся. Жена, домытая посуду, не оборачиваясь от мойки, сказала:

— Что же мне делать со своим отпуском? Куда я одна-то?.. Ведь есть же у тебя законные две недели! Почему же не взять? Ну неужели там без тебя все рухнет! Ведь есть же Губин и этот... твой новичок! Летом тебе надо было писать, срочно, опаздывал, это я понимаю. Ну а сейчас? ...Тогда бы заранее предупредил, что не сможешь осенью. И я бы пошла зимой, тем более это нетрудно...

— Да будет тебе! Ну сколько можно говорить об одном! Достану тебе путевку в дом отдыха, буду по выходным навещать...

— А что я там буду делать одна? В такую погоду? На улицу носа не высунешь...

— Тогда поезжай на юг.

— На юге тоже давно не сезон...

— Лена, ну как ты не понимаешь, что от меня это не зависит? Я очень хочу, да ведь все равно не отпустят. Неужели же непонятно?

— Понятно, как не понять, — изменившимся, напряженным голосом сказала жена. — Да только сколько же можно входить во все твои дела и проблемы! Ты-то ведь обо мне не думаешь?! Почему же я должна разделять все твои неурядицы!

— Ну вот... — Жаров как бы обмяк, осел.

— Вот! Вот! — Она резко бросила вилку в раковину. — И так будет всегда, пока ты не удосужишься подумать о семье!

— Да при чем здесь семья и что, наконец, произошло? — болезненным голосом отозвался он. — Ну, не получилось с отпуском! В прошлом году были вместе, а в этот раз не получилось! И все! И только! И не преувеличивай!

Она вдруг сгорбилась и заплакала. Беззвучно — только вздрагивали плечи. Вот этого он уж никак не хотел, не переносил. Уж лучше бы кричала, ругалась —

намного лучше. Он встал, подошел к ней, попробовал развести ее руки, прижатые к лицу,— она резко дернулась, высвобождаясь. Тогда он, вздохнув, взял из пепельницы дымящуюся сигарету и затянулся...

— Завтра суббота, завтра я работать не буду. Если хочешь, навестим твоих. И Валерку с собой возьмем.

Она молчала.

— Не надо, Лена. Я же не виноват. Напрасно ты так на меня...

— Валерке-то надо в школу... — немного погодя сказала она, полуобернувшись, пряча мокрые глаза.

— Ну сходим вдвоем. А вечером двинем в театр.

— А билеты?

— Я позвоню — и достанем.

— Хорошо бы... — Голос ее после слез прерывался.

— Ну а почему бы и нет? Что нам мешает?

Стащив с вешалки полотенце, она приложила его к глазам.

— Сейчас размажешь тушь. И полотенце испачкаешь,— сказал он.

— Не тебе стирать. А тушь давно уже размазалась. Так что можешь не беспокоиться...

Вышла и через некоторое время вернулась другой, успокоенной, только глаза оставались припухлыми, влажными.

— Пей чай. Вон уже чайник кипит...

Он налил себе чаю, взял кусок сахара — он любил пить вприкуску. Жена улыбнулась.

— Как у всякого организованного человека, у тебя неистребимые привычки. Вот был бы в доме один песок — и я бы испортила тебе настроение на весь вечер. А ты удивляешься, когда я вдруг разревусь.

Эти слова подействовали на него, пожалуй, больше, чем слезы. Он невольно подался к ней, чтобы обнять. Она слегка отстранилась:

— Пей чай. Опрокинешь чашку...

...Лежа в постели, стараясь не шевелиться, чтобы не разбудить жену, он думал о том, что жизнь его, в сущности, вполне удалась: он занят делом, которое приносит ему достаточное удовлетворение и внутреннее равновесие, уверенность в себе. Что за беда, что с ним, с этим делом, связаны и раздражение, и сожаления, огорчения, досада. Иначе и быть не может, если им занят по-настоящему. Что же касается всяких там неосуществленных намерений, то ведь и так может быть, что

это всего лишь не очень оправданные мечтания. Ведь он работает без принуждения, не противясь себе. А разве этого мало? И разве мало того, что у него есть жена, которая недовольна им, потому что хотела бы быть с ним почаще, и сын, отдалившийся от него за последние годы. Сын...

### *День десятый*

### **БАБУШКА МАРИЯ СТЕПАНОВНА**

С тех пор как Алексей приступил к работе в редакции, прошло немалое время, но он все еще чувствовал себя в какой-то степени человеком сторонним, не внедрившимся в многообразные отношения коллектива радиокomiteта, и это занимало все его мысли. Были к тому же и другие сложности, из-за которых он много нервничал, терял лишнее время: например, та же технология дела, которую он пока что не освоил в полном объеме.

Но вот сейчас, когда его первая, целиком самостоятельная программа прошла, получив уничтожающий отзыв Ксенофонтова, он не мог не осмотреться, не подумать о том, на что раньше не доставало времени, не попытаться оценить себя как бы другими глазами, со стороны. Но самоанализ тоже сейчас не получался. Уже столько их было за последнее время, встреч и разговоров с людьми, что самым желанным оказалось побыть одному, в тишине. И помечтать, просто помечтать...

Только когда он поймал себя на том, что принялся вспоминать командировку, гостиницу, Анину комнату, ее — черноволосую, нежную, с застенчивой улыбкой, он понял, что все его расплывчатые, бессвязные полумысли-полумечтания были где-то рядом с ней, около — оттого и было ему хорошо.

Господи, Аня! Вот почему так иногда ныло сердце, и он становился рассеянным, вялым, невнимательным ко всему окружающему.

Надо ехать! Но как, когда?

Что, если попросить у Жарова командировку в Ружино? Но ведь надо как-то обосновать эту поездку, ведь только что был в Ружине... Тогда что же делать? Вот вроде теперь свободен, но попробуй уехать — тут же спохватятся!

А что он ей скажет, когда приедет? Он ничего ей не скажет. Он приедет ради нее, и она сразу это поймет. А дальше все будет прекрасно!

Словно подброшенный пружинами дивана, он вско-чил, походил по комнате, но места в ней ему было мало.

...Над городом низко ползли тяжелые серые тучи, но дождь вроде не собирался. Он доехал до центра, до городского сада.

Сад был сырым, неудобным; темнели стволы кленов, их редкая рыжая, как старая ссохшаяся кровь, листва обмякла, обвисла; листвою были усыпаны песчаные дорожки сада.

Но ворота его открыты. И даже в эту глухую осеннюю пору на мокрых лавочках, под мокрыми деревьями сидят шахматисты-любители, а вокруг них — любители, дожидаящиеся своей очереди или стоящие просто так, поиграть вприглядку.

Делать ему было нечего, и он свернул в ворота.

Во вмятинах аллеи нога выдавливала из мокрых, разбухших листьев сипящую, темную, в бесчисленных мелких светлых пузырьках воду. Там, где было повыше, где листву обветривало, она под ногой едва слышно вздыхала.

Он подошел к одной такой группке шахматистов, заглянул через плечо молодого парня-болельщика.

За доской сидели мужчина с непокрытой головой и молодой человек студенческого типа в модной замшевой кепке, с юношески нежным лицом, в тонких золоченых очках.

Мужчина, сделав очередной ход, передвинув фигуру, сопроводил ее приговоркой:

— Та-а-ак... Картина Репина «Приплыли».

Кто-то из окружающих хмыкнул, кто-то подался вперед, а юноша засмутился и застыл с занесенной рукой, в которой держал фигуру.

Однако поставил ее. И мужчина, немедленно взявшись за тонкую шейку слона, приподнял его одним боком и, не отрывая от доски, торжествующе провозгласил:

— Так? Вы ходили так? А мы... а мы... а мы этак!

Похоже, он брал соперника на испуг, поскольку никакой опасности для партнера на доске не предвиделось. Но стоящие рядом следили за игрой молча, внимательно.

— Только не подумайте, что для нас это неожиданность! — отреагировал мужчина на ответный ход юноши. — Мы это дело ликвидируем вот таким образом, — и взял пешку противника.

Юноша, окончательно растерявшись, развел руками и виновато улыбнулся.

— Давай, давай, парень! Посто́й, поучись,— поторопили его. Он поднялся из-за доски.

Нет, действительно мужчина играл что надо. Долгов только теперь понял его замысел.

— А с-с-с тобой,— сказал победитель очередному партнеру, долговязому парню, заросшему длинным желтым волосом,— а с тобой я играть не хочу. Он играет с интересом,— мужчина кивнул на юношу,— ты играешь на интерес.

Парень остался недоволен, ворчал, вставая со скамьи, на которую только что опустился. Вместо него сел замерзший, ежившийся в трикотажных тренировочных брюках и в длинном синем плаще старичок — видно, выскочил из дому на минутку, но застрял. Вероятно, он был никаким противником для мужчины, который, спокойно расставив фигуры, дождавшись, когда старичок возьмется за пешку, тут же предупредил его:

— Не за то беретесь...

Алексей побыл здесь с полчаса, и ему надоело. Однако возвращаться домой не хотелось. Может, еще погулять? Или сходить в кино?

Поскольку радиокомитет был рядом, мелькнула мысль заглянуть туда: уж там-то ему не дали бы скучать. Но оттуда наверняка не уйти до конца дня: то, другое, третье — многое для него найдется, и все неотложное, важное, нужное... Нет уж, сегодня он твердо решил устроить себе выходной. И он с трудом, но сдержался, чтобы не свернуть к радио.

Не торопясь, бесцельно он шел по узкой безлюдной улочке, и это ему все больше нравилось. Оказалось, это просто здорово после многих недель напряженной работы, беспорядочной, суматошной жизни!

Он любил сырые дни без дождя. В такие дни бывало немножко грустно, но голова работала четко, ясно, и в груди отчего-то вдруг подымались желанья, предчувствия чистого, ничем не замутненного и обязательного счастья, которое впереди, от которого сладко щемило внутри и увлажнялись глаза. Так было и теперь. Он думал ровно и вольно, без напряжения, легко. Думал о том, что жизнь должна быть, непременно будет значительной, интересной, пусть хлопотной, но счастливой.

Улочка вывела его на другую, широкую, обсаженную тополями, сбегаящую прямо к реке. Деревья, росшие

в квадратах земли, оставленных в асфальте и забранных положенными сверху чугунными решетками, начисто облетели с той стороны, откуда вставало солнце, а часть крон, обращенная к домам, все еще топорщилась редкими большими сморщенными листьями.

Весною, он вспомнил, он наблюдал, как с той, солнечной стороны выстреливают из почек, распускаются, распрямляются клейкие, яркие листочки, другая же половина крон еще гола, не ожила. А совсем недавно листья, которых уже нет, были такими же, как эти, все еще не облетевшие,—немоощными, тронутыми желтизной, а эти, в тени, оставались плотными, сочными, темно-зелеными...

Спустившись к реке, он пошел по берегу, по мелкому камешнику. Впереди был деревянный мост, за которым тянулся пустырь, застроенный сараями владельцев катеров. Хозяева называли эти сараи эллингами, но то были именно сараи из бросового, неделового дерева вперемешку со случайными находками в виде хорошей доски или куска кровельного оцинкованного железа. Лишь кое-где стояли прочные, крашеные железные строения.

Настоящая, с холодами осень еще не началась, и весь берег был утыкан разномастными, всевозможных размеров, обводов, конструкций катерами, зачаченными прочно, надежно, хитроумно, все больше железными цепями на массивных замках.

День был будний, а время рабочее, и владельцы плавсредств в основном отсутствовали. Только несколько человек возились у своих водоплавающих игрушек, двери их сараев были раскрыты.

Зато вовсю, даром что низкое серое небо опустилось по самые крыши домов, жили голубятни. В этом городе голубятни строили на отшибе, на таких вот пустырях. А в том городке, где Долгов жил первые семнадцать лет, голубятни торчали маленькими каланчами рядом с домами над крышами «стак»—сибирских сараев, сараюшек, а то голубей держали и на балконах домов. Гоньбой увлекалось не только пацанье — взрослые дяди. В хороший солнечный выходной день ни один голубятник не мог усидеть дома. Открывались решетчатые проволочные двери вольеров, и стаи выпускались в небо.

Какие это были голуби! Не нынешние — экзотических, редких пород. Пара чайных почтовых, мечта, предмет гордости и восхищения, покупалась на рубли, из-за которых отказывали себе во всем, даже в куреве — пере-

ходили на самые дешевые папироски-гвоздики. А еще были хохлатые турманы, очкастые черные карьеры, якобины в перьевых капюшонах.

А у этих мальчишек и голуби не те, и голубятни сделаны наскоро, без необходимой прочности, основательности. Вон они, пацаны-голубятники, в старых куртках, куцых плащах, сидят на бревне, брошенном у воды, и лишь изредка вскидывают головы на своих птиц, которые не хотят летать по такой погоде, уныло кружат над своими вольерами...

Думая об этом, Алексей вспомнил отца. Отец, умерший, когда Алексей учился в школе, как-то рассказывал, что после войны, в тяжелую пору он наловчился ловить голубей на чердаке их старого трехэтажного дома. Отцу, понятно, доставались лишь сизари, «дикопоты»: породистые, культурные голуби ночевали в загонах. Он отрубал им головы во дворе, на сосновой плахе, а потом мать ощипывала их и варила жесткое, жилистое мясо.

Ему, Алексею, рассказ отца не показался тогда откровением жестокости, практицизма, он отнесся к нему спокойно. Но вот эти ребята, вполне возможно, и не поняли бы такого: как это можно ловить голубей по ночам под застрехами крыши, потому что ночью они не видят, отрубать им головы и бросать в кастрюлю? Может, уже и не поняли бы, возмутились.

Вот ведь как-то в школе в одном из сочинений на свободную тему Алексей упомянул об этом и о том, что отец, заядлый книголюб, продавал книги, чтобы выручить кое-какие деньги на еду для семьи. И преподавательница литературы, милая, симпатичная девушка, удивилась, нахмурилась и сказала, что это... ну, как бы это точнее выразиться... отдает мещанством! Ну что это — продавать книги, чтобы выручить деньги?..

Наверно, эта девушка всегда хорошо жила. Она учила их недолго и вскоре куда-то уехала.

Долгов поравнялся с голубятниками, и его окликнули.

Обернувшись туда, откуда кричали, он увидел Кирю Сальского. Верно, вспомнил он, ведь он живет где-то здесь, рядом...

Кирилл возился с катером, недавним своим приобретением, о котором прожужжал уши всей редакции. Долгов подошел.

— Здорово! Так вот он каков, твой корабль! — Он оглядел зеленый с белым катерок, оснащенный «Вих-



рем». Хороший катерок — с ходовой полурубкой, с удобными деревянными сиденьями, набранными из гладко оструганных, отлакированных реек.

— Ты почему не на работе?

— Отпросился у Жарова. Надо, пока не поздно, до холодов перегнать катер к бабушке в санаторий. Там у нее надежнее. Эллинга-то у меня нет.

Потом, как бы оценивающе окинув Долгова взглядом, сказал:

— Вот что, товарищ Долгов! Ты умный? Тогда помоги мне заменить свечу. А там мы с тобой двинем к бабушке. Ты же сегодня свободен?

«Может, действительно съездить с ним?— думал Долгов. — А что мне делать?»

Он помог ему заменить свечу, которую Кирилл попросту не мог найти в моторе, и они присели покурить.

— И откуда у тебя такие деньги? — нечаянно поинтересовался Долгов.

— Какие?

— Ну, на катер...

— Скопил,— неохотно отвечал Кирилл.

— А-а-а! — отреагировал Долгов и устыдил себя: тебе-то какое дело? Ну есть у него добрая бабушка. Ну и что? И ты бы небось хотел такую иметь.

Зарабатывал Кирилл не бог весть какие деньги. Но бабушка его, пенсионерка союзного значения, весьма известный в городе человек, души в нем не чаяла, отдавала ему, наверно, чуть не половину пенсии. Член партии с девятьсот двенадцатого года, она отбыла царскую каторгу и ссылку, в гражданскую войну назначалась продовольственным комиссаром губревкома, организовывала в этих краях продрозверстку. А теперь большую часть времени жила в санатории старых большевиков. Туда Кирилл и намеревался перегнать свой катер.

— Сегодня не так уж холодно,— сказал он. — Я буду идти не спеша, прокатимся — одно удовольствие! А?

— Прокатимся,— сказал Алексей. Однако ему пришлось в голову, что Киря скорее всего будет надоедать: болтать о катерах, о музыке. О катерах, наверно, еще ничего, а о музыке он говорит так, что после него ее не хочется слушать. Ну да ладно! Парень он неплохой. Порядочный парень. Так что можно и потерпеть.

Отчалили они примерно через час, так как Кирилл долго выпрашивал у шоферов на кольце автобуса бензин. Но сразу, как только взревел и застучал новенький

мотор и берег медленно пополз назад, Долгов воспрянул и ощутил в груди то самое, что он любил и хранил, лелеял, впрочем, полубессознательно, не думая об этом — томительную грусть по переменам, тягу к дороге, другим, незнакомым местам. Наверное, в общем-то, это было желанием жить, нерасторжимостью с жизнью.

Вода, тяжелая, маслянистая, почти черная, медленно катилась назад; небо низко висело над рекой, насупленное, хмурое. Но ветер не продувал — стояли последние дни затяжной, теплой осени.

Кирилл, вцепившись в штурвал, вперив взгляд по стрелке реки, весь был поглощен своими обязанностями рулевого. Алексей пересел поближе к нему. За стеклом полурубки ветра совсем не чувствовалось, и ему, не отвлекаемому неудобствами, вольно было смотреть на воду, на старые темные каменные дома с подслеповатыми окнами, уплывающие по берегам, заборы баз строителей и мелиораторов, гаражей, складов...

Иногда дома и заборы прорезались ровной линией улицы, утыкающейся сверху в реку. Тогда город чем-то напоминал огромную чашу стадиона. Он казался тяжеловесным и сонным, этот старый город, но прочным, уверенным в своей надежности и мощи.

Катер вошел в крутой каменный низкий пролет моста, и свет померк, а на камне замерцали слезинки влаги. Алексей явственно — это было достоверно, как осязание, — ощутил сырую давящую тяжесть свода.

Миновали железнодорожный мост, и начались новые многоэтажные дома. Они были белыми и голубыми, высокими, стройными и независимыми на больших пространствах меж ними, эти дома. Долгову, не в пример другим, нравился новый городской ландшафт. Если видеть эти жилые массивы издали, купно, в симметрии улиц, невозможно испытывать скуку. А в особенности эта картина была для него хороша поздним вечером, когда зажигаются сотни, тысячи окон и горят ровными, правильными рядами. Тогда ясность, и простота, и простор подчеркнуты и даже одухотворены. Да и днем среди этих домов, когда лето, когда зелень деревьев, кустов, газонов, хорошо и легко. Их нижние этажи утопают в листве, в цветах, а верхние как бы вырастают из крон деревьев. Много неба, пусть даже такого, тяжелого, низкого, дождевого. Разве может быть скучно, когда так?

За околицей города река обогнула продолговатый

оплывший холм в желтой полегшей траве, и открылось ровное пространство низкой луговой отавы, однообразия, осенняя неприятность которой лишь кое-где перебивались клочковатыми, облетевшими куртинами кустов. А дальше голубел сосновый лес с желтыми, красными крапинами лиственных деревьев.

Приволье и тишина, низкое серое небо, самый воздух, седоватый и влажный, заглушавший и без того неяркие краски осени, действовали на душу миротворно, успокоительно, и заботы, смутный, неясный непокой на душе как-то враз и незаметно улетучились. Природа словно давала ему часть своих сил. И опять в груди забились тоненькая, но настойчивая, проникавшая его сладостной грустью жилка неясного чувства — то ли воспоминания, то ли мечты — об Ане... Теперь он понимал это. И беспокоился, что Кирилл заговорит о чем-нибудь постороннем, мелком, ненужном, что это благословенное состояние будет нарушено.

И Кирилл заговорил. О катере. Он подумывает купить второй мотор, чтобы можно было выходить на дальние северные озера.

Алексей в ответ промывчал что-то неопределенное. Кирилл понял это как проявление интереса и принялся перечислять достоинства и недостатки систем подвесных моторов. Алексей отозвался на это коротким и мрачноватым «угу». И Кирилл, взглядевшись в него, смолк и надулся, — обиделся.

Медленно, плавно они входили в лесистые берега. Ветру здесь, в извилинах реки, негде было разгуляться, и по опушкам соснового леса пятнами желтела листва березы, краснела ольха.

Река сделала еще поворот, и перед ними возникла поляна с купальней на берегу, низкими белыми кирпичными строениями сразу за ближними деревьями и зелеными коттеджами, прятавшимися чуть подалее, сливавшимся цветом с хвоей. Тут был пионерлагерь. Однако в этот послеобеденный, «мертвый» час он казался пустым.

Катер прошел мимо помоста, прямоугольником ограждавшего купальню. Волна шлепнула под настил и всколыхнула его. Шевельнулись короткие тонкие ниточки водорослей, опушившие снизу доски.

— Немного осталось, — сказал Кирилл. — Сейчас по правому берегу — еще один пионерлагерь, а там и санаторий.

Алексей кивнул. Он приезжал сюда несколько раз и знал эти места. Но приезжал по железной дороге, а по реке не приходилось.

Скоро показался и санаторий. Они пристали на его территории, за высокой оградой, круто сбегавшей к реке, вдававшейся далеко в воду. Катер стукнулся в дощатый дебаркадер, к которому было причалено несколько лодок. Кирилл выпрыгнул, волоча за собой цепь, запутал ее за крепкую железную скобу и махнул рукой, приглашая:

— Вылезай!

Он был тут своим человеком, жил здесь каждое лето и потому не смущался тем, что вот так, запросто, пристал на стоянке казенных лодок.

На взлобке крутого травянистого берега, не доходя кирпичных строений санатория, им встретилась маленькая кругленькая старушка в белом халате. Она остановилась, прищурившись, взгляделась в них. И всплеснула руками:

— Ты, Кирюша? А я думаю, ты — не ты... Может, чужой?.. Вчера тут к нам забрела одна компания... Полчаса уговаривали, пока выдворили. Всё молодежь... А это кто же с тобой?

— Мой приятель. Знакомьтесь. Алексей.

— Екатерина Ильинична, — сказала старушка, протянув пухлую ручку ладонью вверх. — Вы к бабушке? Идите, идите! Она у себя. Немного тут погуляла, а сейчас у себя...

К знакомству с бабушкой Кирилла Алексей приготовился, как к некоему испытанию. По рассказам Кирилла он представлял ее суровой, властной, категоричной в своих суждениях, может быть, даже нетерпимой к чужим, противоположным. Правда, с Кириллом она, судя по всему, бывала совсем иной, но ведь он ей внук, так что это понятно. А как обойдется с ним?

Он ошибся. То есть не настолько, чтобы представление его полностью не совпадало с оригиналом: бабушка и показалась, да и была, как он понял впоследствии, твердым, уверенным в себе человеком. Но без какой-либо резкости в суждениях, в манере держаться.

Когда Кирилл, поздоровавшись, представил его бабушке, она, приподняв на лоб очки, от стола, за которым сидела с книжкой, оглядела его и сказала:

— Здравствуйте, Алеша. Много слышала о вас от внука. Рада познакомиться, — встала и, нимало не церемонясь, решительно, по-мужски протянула ему руку. Тем самым установила простые, дружеские отношения. — Ты куда ж пропал? — обратилась она к внуку. — Чем ты так занят в городе, что даже по выходным не находишь времени приехать?

— Ничем, — сказал он. — Работаю.

— Круглые сутки?

— Нет, почему же, бывает, что и не круглые...

— Мог бы и появиться в субботу, в воскресенье...

Как мать с отцом?

— Нормально.

— Ну ладно... Ради приезда Алеши не буду тебя отчитывать. Как вам это нравится? — обратилась она к Алексею. — Уж сколько раз с ними ругалась — нельзя же так-то! Отгородились от всего мира, будто хотят что скрыть. Правда, некоторые наши старички стесняются возраста, хворей, затрапезного вида. — Глаза ее смеялись. — И все же не стоило бы прятаться от людей. Как вы считаете?

— Это насчет забора, через который не перелезть? — спросил Алексей. — Ну а как же совсем без забора? По-моему, нельзя без забора. Он должен быть или очень высоким, или низким. Иначе полезут. А встретили нас нормально. Я ж не один, с Кириллом.

— Вот-вот, только поэтому, — уточнила она. — Впрочем, и Кирюша вполне разделяет эту, «заборную» точку зрения. Он по примеру наших старичков чувствует себя хорошо лишь тогда, когда его охраняют от людей...

...А ведь в юности, в ваше время, — вздохнула она, — эти старички только тогда и жили, когда на людях, без этого себя не мыслили. Боевой был народ! Я ведь многих из них помню еще по двадцатым годам. А теперь, смотришь, тот, этот, другой — как-то съежились, ушли в себя. На него стали похожи, — кивнула она на Кирилла. — Так тем более надо им быть ближе к жизни, к тем, кто моложе, кто еще в деле! Ан нет! Капитулировали. Верно я говорю?

Долгов неопределенно пожал плечами: ни согласиться, ни возразить он не мог. Но она все больше нравилась ему. Неловкость, смущение, которые он испытывал поначалу, проходили, и уже самая обстановка комнаты: стол, стулья, кровать, шкаф, тумбочка,

шторы на окнах — не казалась ему казенной, чем-то неуловимым, что было печатью женской заботливости и внимания, эта комната отличалась от его, например, жилья.

Мария Степановна — так звали бабушку, — чувствовалось, жила здесь по-свойски. Должно быть, и шторы на окнах были подрублены, подогнуты ею самой — как-то очень уж аккуратно они ниспадали с карниза, чуть-чуть не достигая пола. Да и каждая мелочь: шкатулка, раскрытая книга, футляр от очков — были поставлены, положены так, будто другого места для них и не могло найтись.

— Напьемся чаю, — говорила она, — и занимайтесь чем хотите. Развлечений, правда, у нас здесь почти никаких: шахматы да бильярд. Я тут недавно предложила организовать танцы, — вспомнив, улыбнулась, — так они, старички, сочли меня сумасшедшей. Не поняли, чуть было не схлопотала выговор по партийной линии за несерьезное поведение, — и неожиданно залилась счастливым смехом.

Мария Степановна ушла ставить чайник. Кирилл достал из шкафа белую полотняную скатерть, постелил ее. Поставил на стол вазу с вареньем, тарелку с пряниками, расставил чашки и устался на Долгова.

— Пойдем на речку? Потом, после чая, — предложил Алексей. — Искупаемся. А что? Если как следует растереться и сразу в тепло — ничего страшного.

— Да ну! — недовольно скривился Кирилл. — Холодно. — Лучше сыграем в бильярд.

— Не любит природу, — сказала, входя, Мария Степановна: дверь была полуоткрыта. — И что ты с ним будешь делать! Говорит, приезжает сюда из-за меня. Может, действительно так? Сидел бы целыми днями взаперти, в четырех стенах. Даже на юге, на Черном море, — и то, кроме пляжа, знать ничего не хочет! Я обойду все окрестности, даже в горы однажды поднялась метра на два, а этот все прееет на пляже! Нет у него, Алеша, настоящего интереса к жизни, вот что я вам скажу! Если бы он хоть раз увлекся по-настоящему! А то ведь все его увлечения, даже и музыка, от головы. Вот теперь катер. А до того была фотоохота. Купила ему фотоаппарат, немецкую оптику. И что же вы думаете? Через полгода забросил и аппарат, и фотографии — теперь неизвестно, где и валяются. И катер так же забросит. Вот покатается, надоест — и забросит.

А почему? Да потому, что все это придумано. Если и есть у него искренние желания, то только одно-единственное: жить не хуже, чем все, причем все сразу.

Кирилл, недовольный разоблачениями бабушки, хмурился и несколько раз пытался ее прервать. А Долгов, все более проникаясь симпатией к ней, думал: пожалуй, она права. Действительно, и в редакции Кирилл оттого, должно быть, несколько отчужден от остальных, что неискренен.

— А вы, Алеша,— обратилась к нему Мария Степановна, — а вы — какой?

— Да как вам сказать?.. — Алексей не ожидал такого вопроса. — Вообще-то, такой же: тоже ничем не интересуюсь, кроме работы. Разве плавать люблю, купаться. Дома купался в своей речке Соронке до поздней осени, до холодов.

— Так вы откуда родом?

— Из Дронова. Знаете такой городок? На северо-востоке, на самой окраине области.

— Ну как не знать! — живо заинтересовалась Мария Степановна. — Я там бывала, и часто. Еще в молодости. Но, наверно, об этом не стоит? — усмехнулась она. — И так мы вам талдычим об этих годах без устали, как заведенные. Так?

— Нет, почему же... Я люблю послушать о том, чего не видел, не знаю.

Они пили чай и беседовали. Кирилл в разговоре не участвовал, впрочем, как будто ничуть не тяготился этим: отсутствующими глазами смотрел куда-то в угол, в одну точку, созерцая нечто невидимое. Мария Степановна будто забыла о нем: следила, чтобы не пустовала чашка Долгова, пододвигала ему варенье, пряники.

В дверь постучали. Вошла Екатерина Ильинична, кругленькая старушка, встретившая их на взгорке у берега.

— Катя? Вот кстати! — обрадовалась Мария Степановна. — Присаживайся. Выпей с нами чашку чая.

— Спасибо, я не хочу, — засмушалась та, стоя в дверях. — Я ведь пришла-то только, чтобы спросить, не надо ль чего... Встретила ваших ребят на берегу, вот и подумала... Но раз не надо, тогда я пойду...

— Выпей чашку! Что ты от людей-то шаракнешься?!

— Спасибо... Да мне и некогда... Пойду я.

Мария Степановна покачала головой.

— Вот ведь какая! — сказала она, когда та скрылась за дверью. — Вас боится: как бы чего не натворили. Всего боится и, если что, бежит ко мне за помощью. А меня самое иной раз так отчитает — как девочку.

Тут недавно один мой хороший знакомый облапошил меня: наврал, что к нему придет жена, что будут жить вместе, — я и отдала ему свою комнату, поменялась на эту. У меня-то комната была больше, и солнце в ней целый день, а эта, конечно, похуже. Но что-то, по-моему, жена к нему и не думает приезжать. И он не думает переселяться на старое место: встретит меня — отворачивается, делает вид, что не замечает... Вот Катерина меня и отругала, говорит: простота хуже воровства. А я говорю: не нравится мне твоя половица...

Между прочим, и за тебя мне достается, — обратилась она к Кириллу. — Считает, что я слишком тебя балую. Должно быть, правильно считает. Как думаешь?

Кирилл никак не отреагировал на ее слова — пил чай.

— А мне показалось, вы давно здесь живете. Все у вас обжито, все на месте... — сказал Алексей.

— Я легко приспосабливаюсь. В отличие от вас, молодых, — не без легкого ехидства отвечала Мария Степановна.

Алексею нравилось, как она говорила, рассказывала: просто, бесхитростно, с шуткой, и он не удивлялся, что отношения меж нею и этой старушкой, Екатериной Ильиничной, складывались именно такими, по всей видимости, добросердечными и внимательными, хотя эта старушка была в подчиненном положении обслуживающего персонала, что редко бывает приятным для того, кто его занимает.

— Еще? — Мария Степановна потянулась за чайником.

— Хватит. А то я еще хочу искупаться.

— А это напрасно. Простудитесь. Лучше пейте чай. Кирилл, ты что же, тоже думаешь купаться? Не станет. — Она безнадежно махнула рукой. — Не заставишь и при плюс пятнадцати.

Вот ведь, — продолжала она, — старалась его воспитать сильным, мужественным человеком. Не удалось. Что слова, когда он ни в чем никогда не знал ни



нужды, ни отказа! Если хотя бы чего-нибудь добивался в жизни. Но ничего ведь. В свое время хотел поступить в консерваторию — поступил. А теперь окончательно успокоился: дело сделано, чего же еще? Нет, братцы мои, нельзя так-то — без стремлений, без больших желаний... — уже построжавшим тоном сказала она.

— Да ладно тебе! — скривился Кирилл. — Что, я тебе, должен придумывать эти стремления, желания? Мне вполне достаточно того, что есть...

— Многое из того даже лишнее. Пожалуйста, одно самолюбие — и никакого уважения к себе!

— Не понял. Ты о каком уважении? — Голос Кирилла как бы поплотнел, зазвучал напряженно и звонко.

Мария Степановна надела очки и обратилась к Долгову так, будто Кирилла и не существовало:

— Всегда считала, что человека делают воспитание и окружение, а теперь убеждаюсь: не только это... Трудности. Да. Надо было для начала послать его на завод, чтобы поработал, узнал, почем фунт лиха. А мы с его матерью побоялись. И отец тоже не слишком настаивал. А теперь ворчит на нас: мол, испортили его оранжерейным воспитанием...

Кириллу надоели эти разговоры о нем, о том, кто он и кем мог бы быть, к тому же предназначенные для одного Долгова, и он в раздражении брякнул чайной ложкой о стол.

— Хватит уже, а?

Бабушку вспышка его не испугала. Она медленно поднялась из-за стола, выпрямилась, только и сказала: «Не дома!» — и он сник. А она, подумав, должно быть, о том, что сейчас не время ссориться, помолчав, переключила разговор на другое.

Она расспрашивала Долгова о том, как он жил дома, в своем маленьком городке Дронове.

Как он жил? В общем-то, не очень... Их было пятеро: мать, отец, он и две сестры — обе старше, обе теперь замужем. Отец после войны работал токарем на авторемонтном заводе. Голодно вато жили, часто хотелось есть...

Она кивала, понимая. Лицо ее чуть-чуть погрузстнело.

Почему надумал поступать в университет? Просто захотелось — и все. Послал документы — и тут же забыл о них. То есть и не надеялся, что к его бумагам

отнесутся сколько-нибудь серьезно: с какой стати, кто он такой? И очень удивился, когда пришло извещение, в котором вперемешку печатными буквами и от руки ему предлагалось прибыть на вступительные экзамены.

Поехал. Даже с работы не уволился: все еще как бы не верил, что это ему извещение. Мать потом увольняла его заочно. Как это ей удалось, малограмотной? Верно, пошли навстречу...

— Значит, до университета работал?

— Работал.

— Сколько ж тебе лет? — спросила Мария Степановна.

— Двадцать три.

Она удовлетворенно кивнула. Не сочувствовала ему, не хвалила. Просто заговорила с ним свободнее и спокойнее и, вероятно, незаметно для себя перешла на «ты».

— Видишь ли, Леша, это хорошо, что в юности ты уже в большой степени полагался сам на себя. Но жизнь не только трудна — она и сложна. Ты, предположим, умеешь обходиться без удобств, умеешь много работать. Но хватит ли тебе нервной, моральной выносливости, чтобы выдержать жизнь чисто внутренне? Ты понимаешь, о чем я говорю?

...Вот мне Кирилл рассказывал эту историю увольнения Брянцева. Я, правда, не знаю всех подробностей, но мне кажется, что он поступил очень, так сказать, современно — просто ушел, и все, не дав себе труда выстоять, выдержать, определиться, решить, что же он хочет. А так нельзя. Вам, я замечаю, не хватает выносливости. Когда дело требует серьезных нервных затрат, да если они к тому же не направлены прямо на дело, вы отступаете в сторону, уходите. И вы же потом упрекаете всех и вся, что вам досталась несовершенная жизнь!

Не знаю уж, почему оно так. Может быть, оттого, что слишком многое вам дается само собой? Даже и тебе, а что? Брянцев — он тоже, видно, как этот вот, — она указала глазами на внука, — из так называемой хорошей семьи?

— Понятия не имею, — признался Долгов. — Я с ним и познакомился-то как следует не успел...

— Плохо, — упрекнула его Мария Степановна. —

Теперь, может быть, и вовсе никогда не познакомишься.

Она помолчала, задумавшись.

— Все дело, видимо, в том... Сколько раз замечала: говоришь о куда каких важных вещах — принципиальности, общественной, гражданской позиции, а вы усмехаетесь пренебрежительно, даже покровительственно. А говорить-то об этом надо! Но как же тогда говорить?

Извини меня, — она дотронулась до его плеча, — за эти нудные философствования. В общем-то, нет никаких причин именно с тобой говорить об этом. Так просто, смотрю на вас и... захотелось поразмышлять вслух. С ним-то об этом, — кивнула на Кирилла, — не очень поговоришь: он обожает конкретное, а точнее сказать, несущественное.

— Ну а вы? — пропустив мимо ушей ее извинение-комплимент, спросил Долгов.

— Что я?

— Вы, ваше поколение, никогда не уходили?

— Мы о себе почти не думали. Только в связи с общим делом.

— А старичок, который вас облапошил?

Она рассердилась:

— Именно старичок! А тебе двадцать три!

— Извините. — Долгов почувствовал себя крайне неловко. — Я ведь, в общем, только думаю вместе с вами. Так что же нам делать?

— Поставьте себе большую цель. И будьте верны ей.

— У Брянцева тоже цель: литературное творчество.

— Так что же, ради нее избегать жизни? Тогда остается только то, что никому не нужно. Для человека творческого, да и любого другого, этого явно недостаточно. Так или нет?

После чая они с Кириллом все же пошли на реку: Кирилл вспомнил, зачем он сюда приехал. Осмотрев катер, сказал, что ему надо к плотнику — попросить досок: перевернуть на них катер и закрыть его на зиму брезентом. Алексей остался один.

Скоро Кирилл вернулся, хмурый, раздраженный: плотника в санатории не оказалось, укатил в город.

— Придется приезжать еще раз, — злился Кирилл. На что Долгов рассеянно заметил:

— А бабка у тебя — человек!

Кирилл удивленно, не остыв от раздражения, уставился на него.

— Сколько ей лет? Нам бы с тобой сохранить такую вот ясность ума хотя бы до пенсии.

— Вон ты о чем! Накачала тебя моя бабка? Это она умеет! Вишь, как быстро обращает она вас в свою веру! Стоило выпить с ней чашку чая — и вы уже в одной шеренге!

Алексей резко, что было неожиданно для него самого, оборвал его:

— Ладно, помолчи, отпрыск!

Кирилл еще больше, кажется, удивился, застыл с полуоткрытым ртом.

Молча, не глядя друг на друга, они вернулись к коттеджу. Молча прошли по коридору, постучали в дверь.

Мария Степановна уже убрала посуду и сидела теперь с вязаньем.

— Чем бы мне вас занять? — Она вопросительно глянула на них поверх очков. И отмахнулась: — Сами себе ищите занятие!

Кирилл все еще переживал обиду, молчал. Но долго он не выдерживал:

— Пойдем в бильярд, что ли, сыграем?

— Интересного партнера я тебе не обещаю, — сказал Долгов. — Но чтобы ты больше не дулся, пойдем сыграем.

Бильярдная в первом этаже была открыта, пуста. Завсегдатаи, как объяснил Кирилл, собирались ближе к вечеру, а сейчас можно было играть сколько влезет. Но маркер, седой сухонький старичок, хотя все три бильярдных стола были не заняты, не очень-то обрадовался их появлению.

— Твой приятель — он что, умеет играть? — сказал он. — Или порвет мне сукно?

— Не порвет. Отвечаю.

— Чем ты мне ответишь? — возразил маркер. — Надо будет вывесить новые правила: не пускать таких вот, как вы. Сколько уже прошу директора — и все без толку...

Все же они заняли место за крайним, у двери столом, поскольку маркер устроился в дальнем конце бильярдной, в кресле, с газеткой в руках. Проиграв две партии, Долгов отложил кий. Кирилл возмутился:

играть так играть, тогда нечего было и приходить сюда!

— Да будет тебе! — пытался урезонить его Алексей. Но Кирилл не хотел и слушать: видно, ему очень нравилось выигрывать, это захватывало его целиком. Так что наверх, к Марии Степановне, они вернулись до крайности недовольные друг другом.

...Кирилл торопил домой. На все уговоры бабушки остаться, побыть еще он упрямо отнекивался, стоял на своем: пора, нечего тут прохлаждаться, дома дела. Не получилось у них поездки, считал бы Долгов, если б не бабушка, с которой ему довелось познакомиться. Может, он сам был виноват? Слишком бесцеремонно вел себя по отношению к Кириллу, а на берегу обошелся с ним попросту грубо. Но Мария Степановна, прощаясь с ним, невзирая на неудовольствие внука, настойчиво приглашала:

— Приезжайте еще. Надеюсь, увидимся? Обязательно приезжайте. Или сюда, или домой, с Кириллом или без него. Буду рада.

Кирилл, пока она приглашала, с подчеркнутым безразличием поглядывал в сторону, но не выдержал:

— Пошли! Опоздаем на электричку!

### *День одиннадцатый* **АНЯ**

А зима все не начиналась. Стоял декабрь, но снега не было. Лишь по асфальту мело, шуршало сухой острой крупкой.

Зерна ее, вздуваемые порывами ветра, больно кололи лицо, и душа изнывала по настоящему, обильному, мягкому снегу, который снимет какое-то нервное напряжение природы, утешит и успокоит. А так — природа будто усиливала душевную маяту, мороку, которую он испытывал не то от усталости, не то от нервов.

Он поднялся по лестнице на свою площадку, достал ключ. Вспомнив, что забыл зайти в магазин — еды дома не было, потоптался в растерянности, замешательстве, вздохнул и сунул ключ в скважину: не хотелось, просто невозможно было возвращаться на улицу: холодный ветер, острая колючая поземка.

Он пока что не понял, не заподозрил, но сразу почувствовал, — от лукавого ли, игривого взгляда, которым вскользь одарила его Таисья Федоровна? — что

что-то его ожидает сейчас вот, о чем он не думал и не гадал. Почему, отчего она так на него посмотрела? Кто ее знает. Только сердце вдруг прыгнуло и застучало сильно, настойчиво, часто.

— Что ж это вы, Алеша, бродите невесть где! А к вам — гости!

Таисья Федоровна сказала это с подчеркнутым значением, смыслом. Он вздрогнул и глуповато уставился на нее: не ослышался ли?

Скрипнула соседская дверь, и в полутемный коридор, в полосу света, падавшую из комнаты, вышла великолепная пара—Аня и Константин Лавров в строгом черном костюме, в белой сорочке.

Алексей растерялся. Растерянность судорогой застыла на его лице, он ее ощущал как маску, пытался избавиться от нее, но словно бы одеревенел.

— Ничего не понимаю, — пробурчал он. — Вы?..

— Здравствуй, — сказала Аня.

— Здравствуй, — кивнул Лавров и торопливо, так, будто хотел поскорей развязаться с этим, сунул ему цветы.

— Это мне? — не понял Долгов. — А зачем, по какому случаю?

— Так... — сказал Лавров. — Подарок.

— Ну если подарок... А я уж думал...

— Что? Что ты думал? — засмеялась Аня.

— Да так. Ничего. Не ожидал. Да еще сразу двоих.

Он отпер дверь своей комнаты, пропустил их вперед. Они чинно, рядком уселись на диване.

— Вы когда же прибыли? Как? — он не мог осмыслить, понять появление их вдвоем. Впрочем, и по одному они точно так же застали б его врасплох.

— Ой, да не надо! Сломаешь голову! — прыснула Аня. Глаза ее были нежными, ясными. — Костя пришел чуть раньше. Я только что. Еще не успела согреться. Спасибо Таисье Федоровне — приютила.

— А цветы? — тупо сказал Долгов.

— Это вам, подарок, — повторил Лавров почему-то вдруг осевшим голосом и прокашлялся. — Слушай, — оживился он. — Большое тебе спасибо! Приняли меня, работаю! Дали машину. Буду как следует вкалывать, переведут на «дальнобой». А мне же сейчас только и работать: сам понимаешь, теперь нас трое, надо известись тем, другим... В общем, большое тебе спасибо!

— А кто третий-то? Сын? Дочь?

— Ванька.

— Передавай ему привет.

Костя замаялся, не зная, что говорить дальше. Нервно полез в карман за папиросами, достал их, повертел в руке и, смущенно кашлянув, сунул обратно.

— Да кури на здоровье! — сказал Долгов. Но, спохватившись, виновато глянул на Аню.

— Да курите! — Она махнула рукой. — Я привыкла. У нас в гостинице все курят, даже некурящие: от безделья, от забот, от тоски по дому и так далее.

Оба, Долгов и Лавров, задымили.

— Тут, понимаешь, Аня... — начал было Алексей. — У Константина были неприятности...

— Я уже знаю, — ласково сказала она.

— Это... Дак я пойду? — заерзал на диване Лавров. — Слушай, тебе завтра когда на работу?

— Завтра же суббота, выходной.

— А, да!.. А в понедельник?

— К девяти тридцати.

— Я подъеду, подвезу тебя, понял?

— Да зачем, Костя! Я на автобусе доезжаю, почи-тай, от двери до двери. Не надо!

Костя смутился.

— Слушай, если тебе будет нужна машина, только скажи! Мало ли, всяко бывает... Что-нибудь привезти... Или твоим знакомым.

— Мало тебе приключений с этими перевозками? Обойдемся! Сам говоришь — работа хорошая, перспективная!

— Да нет, в этот раз я буду умней, все будет по закону... Ну надо ж хоть как-то!..

— Ты как мой адрес узнал?

— На работу тебе звонил.

— Позвони еще раз, в конце недели. Встретимся.

— Я с удовольствием, — повеселел Лавров. — Позвоню. Договорились? Ну я пойду. До свидания, — поднялся он. Поклонился Ане: — Всего вам доброго!

Алексей вышел проводить его. На кухне заговорил дотоле молчавший динамик:

«Товарищи! Проверьте ваши часы. Начало шестого сигнала соответствует...»

Одеваясь, Лавров шептал:

— Ты меня извини! К тебе, понимаешь, девушка, и я еще тут!.. Надо же, как неудачно! В смысле я, то-есть. А я тебе позвоню!

— Это ты меня извини, — так же тихо отвечал Долгов. — Понимаешь... Ну, в общем, это все очень серьезно для меня!

— Ну дак о чем речи! Будь здоров! — И протянул ему руку. — Спасибо тебе, дружище! До встречи!

...С ним непонятно что происходило. Никак не мог поверить, что Аня здесь. Да было ведь между ними сказано нечто, означавшее для него очень многое, что он без конца повторял, воображая эту встречу! Он даже тогда поцеловал ее! Но это случилось как будто не с ним и не с ней. Теперь она как бы чуть от него отделилась.

Так или иначе, но он не мог сейчас подойти к ней.

— А я собирался в Ружино со дня на день...

— Все это время — и со дня на день? — улыбнулась она.

— Аня, ты не поверишь, все это время придумывал повод для командировки! — загорячился он.

— Ну а если бы без командировки? Без повода?.. — Голос ее дрогнул, в лице промелькнуло что-то, будто она испугалась своих слов.

— Только и думал, чтобы все бросить и — к тебе. Но дела одолели! Ты не поверишь, но это так. — Он слабо, безнадежно махнул рукой: ему было прямо-таки больно от неуклюжести, необедительности сказанного.

— А в выходные дни?

— Где они, выходные? — разозлился Долгов. — Завтра, например, выходной и послезавтра. Ну и что?

— Так, может, я напрасно приехала? Помешала тебе? — Она двинулась на диване.

Заметив это ее движение, он порывисто шагнул к ней.

— Да нет, ну я же не к тому! Ты умница, ты вообще...

Теперь она должна была встать, потому что смотреть на него снизу вверх ей было неудобно. Они оказались рядом. Алексей говорил ей что-то путаное и невнятное, а она со всем соглашалась, кивая, и прятала заблестевшие глаза...

...За окном сгустилась, обволокла дома, улицу тьма; ветер все еще мел поземку, и полосы сухих снежных кристаллов вкось проносились под фонарем.

Они зажгли свет. Алексей, не зная, куда себя деть такого вот, непривычно легкого, возбужденного, вспомнил, что вечером нужно пить чай.

— Я в магазин. Куплю что-нибудь к чаю.



— А у меня есть. Очень вкусная рыба, рулет горячего копчения—я пробовала—и пирожные. И хлебушка я купила, я запасливая! А лучше мы пойдем погуляем, а?

— Холодно. Замерзнем.

— Не замерзнем, пошли!— Она взяла его за руку и потянула к двери.

В прихожей, одеваясь, они старались не шуметь, но все же Таисья Федоровна высунулась из двери.

— Алеша, вы придете? Или мне запереть дверь на крюк?

— Придем. Не беспокойтесь, мы ненадолго.

На крюк соседка запирается обычно не торопилась, делала это только к ночи. Но любопытство ее взяло верх.

Они вышла на улицу. Порыв ветра налетел сбоку, хлестнул по щеке. Повернувшись к ветру спиной, Алексей буркнул:

— Ну и куда пойдем?

Она засмеялась:

— Какой же вы, сударь, угрюмый и мрачный!

У здания городской библиотеки ярким розовым пламенем горели сильные фонари. В их свете мельтешил, крутился, бушевал серебряный вихрь снежной крупы. Голые кроны лип, как гравированные, чернели на густой, высвеченной полной луной синеве неба.

— Очень красиво,— сказала Аня.— Так не бывает, как сейчас...

— Пойдем к реке?

Они свернули на набережную. Ветер мчался вдоль реки, вздувая тяжелую маслянистую воду упругой, в ярких бликах береговых фонарей черной рябью.

— Пойдем на ту сторону. По мосту и на ту сторону,— сказала Аня.



Федя любил строгать. От стружки пахло свежим лесом. Он старательно обдирает с палок кору и вырезал на них причудливые узоры. Потом взялся за работу посложнее. Ко дню рождения матери вырезал деревянную ложку, черпак, украсил резьбой кухонную доску. Мать всем гостям показывала его работу, и они вполне искренне, как казалось Феде, хвалили его умение. Незаметно Федя пристрастился к резьбе, и ему захотелось постоянно работать с деревом. Когда время пришло выбирать профессию, Федя уехал в Ленинград и поступил в ПТУ учиться на плотника. Первую практику группа проходила на строительстве крупного инженерно-лабораторного корпуса НИИ — здания на восемь тысяч квадратных метров.

В тот памятный день все шло как обычно. Федя первый переоделся в рабочую одежду и, прихватив кусок доски, уселся на краю скамейки возле мусорного ведра. До начала работы оставалось еще добрых двадцать минут. В окне в отдалении виднелись вздыбленные кони на Нарвских воротах.

«Когда-нибудь я с них вырежу макет», — подумал Федя, принимаясь на доске вырезать строительные узоры. Стружка, завиваясь спиралью, падала в мусорное ведро и дышала крепким ароматом хвои, вытесняя суховатый запах бетонного пола.

Матвей Владимирович, мастер группы плотников, начал распределять ученикам работу:

— Первое и второе звено укладывает лаги под полы. Сечкин Володя, напomini технологию: сначала на перекрытие укладывается звукоизоляция. Потом — лага. Она выверяется по уровню... Федя!

— Я! — отозвался тот, продолжая шкурить дерево наждачной бумагой.

— Снова будешь работать в паре с Володей. Этот лентяй только с тобой нормально работает! В других звеньях ему почему-то не работается. К девчонкам-штукатурам повадился...

— Может, они сами ко мне бегают! — недовольно возразил Володя.

— Верно! Бегают. Но не к тебе, а ко мне. Жалуются, что ты мешаешь им работать.

— Да не мешаю я им! Это, должно быть, Нинка наябедничала. Со злости. Я ее рыжей обозвал.

— Зачем же ты так? Красивая, способная девчонка. Не чета тебе, лентяю.

— Ха, способная! Кудрявая овца! — не сдавался Володя.

— Хватит, Сечкин!.. И запомни, увижу что ты снова весь инструмент за поясом таскаешь, поставлю за практику двойку.

— Да не порежусь я, Матвей Владимирович! Удобно ведь держать инструмент под рукой.

— Был у меня в группе такой рационализатор, да потом без пальцев на ногах остался. Топор упал из-за пояса... Федя, ты и Володя соорудите подмости для штукатуров. На втором этаже... Напоминаю, гнилая доска, надтреснутая, незагнутые гвозди — это не мелочи, это своего рода преступление перед теми, кто будет работать на вашем сооружении.

Федя поднял голову. Из раздевалки выходило последнее звено. Он неохотно отложил свою заготовку и ушел с Володей строить подмости. К обеду они были готовы. Федя позвал Матвея Владимировича. Тот бегло проверил их, показывая этим, что верит добросовестности учеников, похвалил ребят:

— Молодцы! Быстро сработали и, кажется, неплохо.

— В лучшем виде! — похвалился Володя. — Не первый раз строим.

— Добро! Поверю вам на слово, стучите дальше, в соседней комнате.

Мастер ушел. Напарник Феди, Володя, по прозвищу «плотник-щеголь», с оглядкой все-таки сунул за пояс топор, ножовку, молоток. Отвес у него раскачивался, подвешенный за пуговицу на куртке. Прихватив инструмент, ребята отправились на новое место работы. Неожиданно им навстречу вышла Нина. Даже не взглянув на Володю, она обошла его, как штабель

досок, и остановилась перед Федей. Улыбнувшись тепло, как старому знакомому, она сказала:

— Спасибо за подмости. Мы уже без дела сидели...

Володя завистливо подумал: «Заигрывает! Будто так уж ей нужны были подмости. На них же работать нужно. А отдыхать — не работать».

Федя посмотрел на Нину с высоты своего роста. Он на всех девушек так смотрел. Они почему-то казались ему пустыми и бездарными. Но, встретив немного испуганный бесхитростный взгляд, парень неожиданно покраснел. А Нина продолжала:

— Федь, я видела твои штучки, выгесанные и доски. Очень симпатичные... Давно хотела попросить: подари мне какую-нибудь... или продай.

«Симпатичная девчонка! А я и не замечал этого», — подумал Федя и оглянулся на Володю. Тот с ухмылочкой пучил на них глаза.

«Он теперь не упустит случая и растрезвонит о разговоре с Ниной», — решил Федя, но решительно сказал:

— Раз нравятся, приходи, сама выберешь, а я уж постараюсь продать подороже. Аукцион состоится в двадцать первой комнате.

— Знаю. Хорошо бы этот аукцион назначить в семь, тогда я зайду, — сказала Нина и, не ожидая ответа, направилась к выходу. Проходя мимо Володи, обвешанного инструментом, словно рыцарь доспехами, и взглянув на него, Нина громко рассмеялась, а парень от неожиданности вздрогнул. Шпагат, на котором он, играючи, раскручивал отвес, выскользнул из пальцев и пронесся у самого кончика носа Володи.

Федя ушел за досками. Когда он вернулся, его напарник куда-то исчез. Неожиданно в соседней комнате послышался девичий смех. Федя зашел на их голоса и не ошибся. Что-то напевая, Володя играл палкой, как смычком, на полотне ножовки. Федя громко сказал:

— Эй, плотник-щеголь, зря стараешься. Девчонки уже вчера раздали свои симпатии. И не таким, как ты, фиглярам, а курсантам из Макаровского училища. Идем-ка лучше со мной!..

Но Володя изображал игру на ксилофоне, ударяя палкой и молотком по стене, перекрытию, ведрам, растворному ящику, стараясь произвести побольше шума, чтобы заглушить голос звеньевого.

Федя сильно подтолкнул напарника к выходу:

— Шагай, шагай! Некогда тут агитировать!

Едва устояв на ногах, Володя бросился на Федю. Но толчок не получился, звеньевой успел ловко увильнуть в сторону, и Володя с разгону таранил стену. Девчонки засмеялись.

«Сейчас мне с этим верзилой не справиться, — подумал Володя. — Подожду случая поудачнее».

— Ладно уж, пошли!..

Стены огромного зала столовой были облицованы пластмассовой рейкой светло-голубого цвета. Светильники из-за карниза сеяли мягкий, ненавязчивый свет, а на улице моросило, поэтому в столовой было особенно тепло и уютно. Чтобы подольше задержаться в этом красивом помещении, Федя каждый раз ел не торопясь, наслаждаясь уютом. Но сегодня сквозь бездумное благодушие прокралась неосознанная тревога. Потом вспомнились слова мастера: «Верю на слово, проверять не стану». То ли они были сказаны с какой-то особенной интонацией, то ли по другой причине, но у Феде появилось ощущение, что подмости ненадежны. «Чепуха! — успокаивал он себя. — Доски проверяли хорошо, ни гнилых, ни треснутых не брали, подмости устойчивы, не шатаются, гвозди загнуты, — мысленно перечислял он правила проверки своей работы. — Может быть, загвоздка в гвоздях? Не тот размер применили?.. Ладно, чего там гадать! Пообедаем, заберемся с Володей на подмости и хорошенько попрыгаем. Выдержат нас — значит, всё в порядке!» Тут же предложил напарнику:

— Есть предложение забраться на леса и блеснуть там чечеткой. Проверим наше сооружение на устойчивость... — И серьезно добавил: — Спокойнее будет.

— А я и так спокоен, — ответил Володя, неторопливо вылавливая изюмины из компота. — Ручаюсь — слона выдержат.

— Не фиглярствуй! Девчонки все равно не видят. Пошли! Если лень попрыгать, я тебя на ручки возьму, как балласт.

— Сам ты громило-балласт, — сердито сказал Володя, неохотно повинувшись звеньевому.

Коронным номером Володи была чечетка. Подмости хорошо пружинили, он подпрыгивал мячиком и большими не по размеру ботинками выстукивал коленце за

коленцем. Рослый Федя, повязав на голову шарф, плясал за даму, оттягивая полы куртки, словно на нем было платье.

Девчонки-штукатуры вернулись с обеда в самый разгар проверки сооружения. Некоторые из них влезли наверх к ребятам, подбадривая их смехом, хлопая в ладоши. А Нина с Зиной тоже пустились в пляс. Поглядывая на Нину, обычно уравновешенный Федя выдавал такие коленца, каких и сам от себя не ожидал.

Щиты настила не раз были в употреблении, и от налипшего к ним раствора поднялась густая завеса пыли. Остановившись, Федя закричал:

— Ура-а-а! Выдержали!

Володя почувствовал, что назрел момент для мести. Он сильно и неожиданно толкнул Федю в плечо. Падая, Федя столкнулся с напарницей Нины по танцу, и этим затормозил свое падение. Но Зина не удержалась на ногах и утянула за собой Нину. Подмости вздрогнули, раздался сухой треск досок настила и грохот обвала. Девочки испуганно закричали. Из образовавшегося пролома в настиле пыль взметнулась под самый потолок, заслонив место аварии. Федя бросился на крик, из-за пыли он ничего не разглядел, на свисающем щите съехал вниз и принялся поднимать на ноги всхлипывавшую от испуга Нину. Подняв ее, осторожно отвел с лица коричневые пряди длинных волос. На щеках пыль смешалась со слезами, расплылась грязными разводами, но ни царапин, ни ссадин на лице не было. Федя нервно засмеялся и слегка прижал голову девушки к своей груди. Нина судорожно вздрагивала. Неожиданно вырвавшись из объятий и оттолкнув его, закричала:

— Пошел вон отсюда, строитель!

Зина, морщась от боли, гладила ушибленный локоть.

На шум прибежали Матвей Владимирович и ребята из других звеньев. Трое пострадавших выбрались из-под настила. Их обступили тесным кольцом, с тревогой приглядываясь к ним.

— Тихо! — прикрикнул мастер, но, не дождаввшись тишины, спросил: — Все целы? Ран, вывихов нет?

Убедившись, что его ученики отделались легким испугом и ушибами, мастер вытер на лбу испарину, попросил Федю:

— Рассказывай! Как все произошло?

— Да как?.. Я с Володей прыгал по настилу, проверяя на устойчивость. Потом девочки к нам забрались. Тоже стали танцевать. А Зина вот решила проверить настил задним местом, вроде тараном.

Кое-кто хихикнул, представив, как толстушка Зина таранит подмости.

— Федя, Федя! Нашел над чем шутить!

И только тут Федя по внезапно постаревшему лицу мастера догадался, что недооценил значения случившегося.

— Ладно! — сказал Матвей Владимирович, словно подведя известный только ему итог. — Всем на рабочие места! Федя с Володей — за мной! Осмотрим участок аварии...

Разобрав груды ломаных досок, мастер нашел то, что ему было нужно, и позвал учеников. По грязной полосе в месте поломки было видно, что в настил уложили щит с двумя надтреснутыми досками.

— Матвей Владимирович, но мы же тщательно проверяли щиты и доски, — виновато сказал Федя.

— Верю, что проверяли. Но вот не заметили эти надломы под слоем раствора. Нужно было сначала очистить щиты, затем укладывать. Ладно, что там пенять на вас! Сам виноват, понадеялся, не проверил как следует, и вот результат! И еще, Федя, ну где ты видел, чтобы на рабочих подмостях устраивали балаган? Хиленькие доски совсем не рассчитаны на резонанс, то есть танцы.

Мастер резко отвернулся от Феди и в наклон, чтобы головой не задевать щиты, направился к выходу.

— А ведь это ты виноват! Плотник-щеголь! — прошептал Федя.

В коридоре опять собралась толпа. Здесь о чем-то разговаривали Матвей Владимирович, институтский инженер по технике безопасности и еще какой-то мужчина.

Несколькими днями позже Федя узнал, что это был инспектор из обкома профсоюза. Среди учеников ПТУ поползли слухи, что за эту аварию инспектор оштрафовал Матвея Владимировича как за групповой несчастный случай, а директор училища объявил мастеру выговор. Федя, всегда по уши занятый каким-нибудь делом, услышал об этой новости последним.

«Как же так? — удивился он. — Я виноват, а наказали Матвея Владимировича! Собственно, и наказывать

не за что. Все живы, здоровы. Правда, Нины почему-то не видно...»

У девчонок из Нининой группы Федя узнал, что Нина не выходит на работу, потому что у нее от падения все еще болит нога.

Эти неприятности с аварией выбили Федю из рабочего настроения. Все валилось из рук, ничего не хотелось делать. Он едва дождался часа, когда мастер отправил всех учеников на рабочие места.

— Матвей Владимирович, это правда, что вас оштрафовали за тот случай?

— Правда,— как-то нехотя ответил мастер. — Иди работай!

— Нет, я сейчас разыщу этого инспектора и потребую, чтобы меня наказали, а не вас.

— Федя,— начал сердиться мастер,— никуда ты не пойдешь. Наказали меня заслуженно. Что бы вы ни натворили, я за вас в ответе!

— Но это же несправедливо! И я исправлю эту несправедливость.

— Нет, Федя, денег я от тебя не возьму. Всё! Иди работай!

Федя понуро направился к своему напарнику. Из-за поворота коридора, задев парня плечом, выскочила Нина. Она вернулась к остановившемуся Феде и виновато попросила:

— Федь, ты прости меня, что накричала на тебя, когда упала с подмостей. Это я от испуга...

— Чего ж там обижаться,— невнятно пробормотал Федя. — Ты лучше скажи, как нога?

— Какая нога? — думая о другом, не сразу поняла девушка. — А, бегаю вот, уже не болит. Федь, а ты еще не раздарил свои штучки, вырезанные из дерева? Те, что мне обещал?

Обрадованный тем, что хоть у Нины с ногой обошлось все благополучно, Федя наконец посмотрел девушке в глаза и на какое-то мгновение замер. Из глаз Нины струилось что-то доброе, хорошее, будто теплее стало. Плохое настроение, вызванное разговором с мастером, сразу улетучилось. Довольный тем, что хоть Нине может сделать подарок, Федя радостно сказал:

— Нет, не раздарил. Они всегда будут ждать тебя. Приходи хоть сегодня.

Сечкина, как и следовало ожидать, на рабочем месте не оказалось. Присев на стопку досок, Федя углу-



бился в раздумье и через некоторое время спросил себя: «Может, за штраф мастеру выслать деньги по почте? Нет, это не годится. Догадается, от кого. Вернет мне деньги — и все дела!»

Неожиданно парень сам себе сказал:

— Придумал! Только так!.. Только так!..

Потекли вереницей дни. Заканчивалась производственная практика, приближались каникулы. Группа девчонок-штукатуров закончила на корпусе работу, и их направили в другое здание. Однажды Нина все-таки решилась зайти к Феде за обещанным подарком. Она самой себе не хотела признаться, что ее интересует Федя. «Мог бы и сам принести то, что обещал», — думала она.

Федя сидел за ширмой, видна была только его голова, и, судя по звукам, он что-то там зачищал наждачной шкуркой. Вскинув голову и тут же опустив ее, глядя на свою работу, весело пригласил:

— Входи, входи, Ниночка! Выбирай любую работу из тех, что висят на стене. А хочешь — всё забирай!

Нина вспыхнула, приняв его щедрость за предлог окончательно избавиться от нее.

«А как он меня встретил? Головы не соизволил оторвать от своей работы», — подумала она и сердито сказала:

— Нужны мне твои деревяшки, как рыбе зонтик. Сам ты тоже деревяшка!

— Ура-а-а! Закончил! — неожиданно закричал Федя, не слыша от радости того, что ему говорила девушка. — Ниночка, ты будешь первой, кто увидит это! Иди сюда!

Сбитая с толку возгласом парня, Нина замешкалась, поддавшись настойчивому приглашению, зашла к Феде за ширму и увидела там макет Нарвских ворот.

— Ну как? — спросил Федя.

— Здорово!

— Это подарок Матвеем Владимировичу ко дню рождения. Уж от этого он не должен отказаться... Почти месяц делал. Теперь у меня будет много свободного времени. Идем погуляем?

«Так вот почему Федя не заходил ко мне!» — подумала Нина и, скрывая свою радость, как можно безразличней сказала:

— Пошли!..

**ИЗОБРЕТАТЕЛЬ**



**Анатолий  
Конгро**

**повесть**

Есть такая странная порода людей — изобретатели.

С одним из них автор повести познакомился несколько лет назад. И удивился его своеобразному творческому подходу к любому делу, умению в самой простой вещи увидеть скрытые от других смысл и возможности. И благодаря своему таланту явить что-то новое, изобрести что-то... В то же время изобретатели не какие-то фанатики от техники, чуждые всему житейскому.

Эта повесть как раз о таком человеке. Его фамилия в повести Васильцев. В жизни она звучит немного иначе. Но саму повесть автор с дружеской благодарностью посвящает обладателю шести Золотых медалей ВДНХ, заслуженному изобретателю РСФСР Николаю Николаевичу Васильеву.

### **ВО ДВОРЕ И НА КРЫШЕ**

Во дворе почти все курили. Одни по-настоящему, другие баловались, стараясь выглядеть старше. Один Колька Васильцев не принимал участия в борьбе за мужскую самостоятельность и зрелость. Еще и козырял этим.

— Чего мне бояться? Мне отец ничего не сделает,— заявил он Кузе, когда тот стал насмехаться.— Просто смешно: идет человек по улице, а у него белая палочка изо рта торчит. И дым валит, будто он Змей Горыныч.

Кузя оглянулся по сторонам и вытащил из кармана помятую сигарету. Кто и был во дворе, на них внимания не обращал.

Близ помойки на самодельном столе мужчины дома

выполняли воскресный план в домино. Дядя Вася, дворник, сосредоточенно поливал асфальт. Было жарко, и вода тотчас испарялась, оставляя на темной поверхности белесые проплешины.

Кузя чиркнул спичкой, затянулся и выпустил дым из ноздрей.

— Похож я на Змея Горыныча? Ты скажи, не бойся,— пристал он к Васильцеву.

Кузя считал своим гражданским долгом наводить страх на сверстников и досаждать взрослым. Он гордился репутацией главного дворового хулигана, которого знают даже в милиции.

Кузя вдруг поперхнулся дымом так, что слезы выступили на глазах.

— Ты чего смеешься? Чего смеешься?! — подступил он к Васильцеву. — погоди, я тебя поймаю!

Николай стоял рядом, поймать его ничего не стоило. Но такой уж это был традиционный оборот речи для запугивания врагов — «я тебя поймаю». Имелось в виду, что поймает он Кольку когда-нибудь поздно вечером, когда соберется подходящая компания и можно будет отлупить Кольку, не опасаясь взрослых.

— Еще неизвестно, кто кого поймает! — отозвался Колька Васильцев.

Так и полагалось отвечать по дворовому военному ритуалу, если вызов принят. Кузя только засмеялся. Даже один на один он был сильнее Кольки. Но Васильцев надеялся обойтись без драки. Он придумал электрический пистолет. И как раз сегодня это устрашающее оружие будет готово для обороны.

Дядя Вася протащил мимо кольчатый черный шланг. Дворник придавливал пальцем струю у самого наконечника, превращая ее в стекляннй веер. Шланг прополз рядом с ногами Кузи. И тот, конечно, не удержался — наступил на шланг каблуком. Веер съезжился и пропал, отверстие захрипело. Дядя Вася снял палец и по простоте душевной заглянул в отверстие. Тугая струя ударила ему в лицо. Кузя расхохотался и бросился удирать в проходной подъезд. Дворник, отбросив шланг, грузно побежал следом.

Шланг валялся на тротуаре. Сильная струя, шипя, стлалась по асфальту, пузырилась, собиралась в лужи. И короткий конец шланга, как живой, мотался из стороны в сторону. Интересно, странно, самостоятельно вел себя шланг... Коля подошел ближе.

— Я тебя, хулигана! — раздался крик.

Из подворотни вылетел разгневанный дворник. Пришлось и Васильцеву уносить ноги.

\* \* \*

У Васильцева был приятель — Гошка. Они жили в одном доме, сидели за одной партой и вместе поступили в техническое училище учиться на электромехаников. Гошке тоже немало пришлось претерпеть от Кузи. Обычным поводом для насмешек служили его рыжие волосы.

Гошка утверждал, что он яркий блондин. И страшно оскорблялся, когда ему приписывали чужую масть. А Кузе только того и нужно.

Сегодня приятели договорились встретиться в своей «секретной лаборатории» — на крыше.

Еще в детстве открыли они для себя эту запретную, таинственную страну — Крышу. Это и в самом деле была крыша трамвайного парка. Она манила башенками, чердачными окнами, вентиляционными трубами. Так хорошо ранней весной забраться в затишек на теплую толевую крышу. Друзья натаскали туда старых ящиков, покрыли их кусками фанеры, и получилось что-то вроде шалаша. И прочих ценных вещей, с которыми не пускают домой, немало собралось в их уголке. Многие теперь пригодилось. Велосипедный насос, аккумулятор, медная проволока...

Для эксперимента требовалось еще ведро воды и пачка соли. Соль Васильцев купил по пути. Через лазейку, известную только им с Гошей, он залез на крышу. В шалаше было пусто, Гошка еще не приходил. Васильцев снял рубашку, чтоб солнце не пропадало зря, и вытащил из ящика с «научной литературой» книжку про изобретение электричества.

«Вольта положил на язык монету из цинка, а другую, из серебра, под язык...» — прочел Васильцев и отвлекся от книги.

Молодчина Вольта, подумал Николай, другой бы не догадался, почему во рту появился кисловатый привкус. Так бывает, если лизнуть контакты батарейки для электрического фонарика. А Вольта лизнул монеты и открыл электричество!

Николай размечтался. Он тоже чего-нибудь откроет! И тогда... Заголовки во всю газету: «В Москве открыва-

ется международная выставка... Знаменитый изобретатель Васильцев прибыл в столицу...»

По небу плыли изменчивые текущие облака. Они принимали форму то птиц, то животных, но чаще всего Кольке виделось одно знакомое девичье лицо.

Издали со стороны лазейки раздался сигнальный свист. И через минуту появился Гошка с пластмассовой канистрой в руках. Гошка горел нетерпением.

— Аккумулятор зарядил? Соль принес?

Они всыпали пачку соли в горловину канистры и хорошенько перемешали. Гошка набрал этой соленой воды в насос и пустил струю. Оставалось присоединить металлический поршень насоса к аккумулятору.

Идея электрического пистолета принадлежала Васильцеву. Вода—хороший проводник электричества, рассуждал он, и если стрелять водой, то противника должно дернуть током.

Гошка сказал:

— Держись!

Гошка направил струю на Кольку. Тот вздрогнул и отскочил.

— Холодная вода, — объяснил он Гошке.

— А током бьет? Что ты чувствовал? — нетерпеливо спрашивал Гошка.

— Соленая. Как будто в море искупался. Кузя только спасибо скажет...

### **СОН В РУКУ**

Эксперименты с холодной водой закончились так, как и следовало ожидать: изобретатель простудился. Он лежал, закутанный в теплое одеяло, и перечитывал Жюль Верна. Больному такие поблажки разрешены.

Однажды вечером раздался звонок в дверь.

— Это к тебе, — сообщила мать и деликатно ушла на кухню.

— Можно? — услышал Коля ожидаемый и неожиданный голос.

Он нырнул под одеяло, выставив один глаз.

— Все тебе завидуют, — входя, пошутила Нина. — И поэтому прислали тебе задания и программу экзаменов.

Почему завидуют, Коля и сам догадался, но спросил: «Почему?» — и еще промямлил, что Гошка обещал принести программу.

Ради того, чтобы его навестила Нина, он готов был болеть хоть год. И вот она здесь, наяву, отщелкивает замки портфеля, улыбается... а он чушь какую-то мямлит.

— Ты не беспокойся, я зашла по пути. А Лена с поручением к твоему приятелю.

Николай повернул голову в другую сторону. Точно. У изголовья стояла Ленка.

— Здравствуй, — сказал он.

— Я с тобой сразу поздоровалась, — фыркнула Ленка. — Но тебе простительно, ты больной. Мне общественность поручила тебя мобилизовать. Ведь ты у нас отличник, а скоро экзамены... — тараторила Ленка.

Коля улыбнулся. С этой веселой толстушкой всегда легко.

— А Гошка тоже болеет?

— Как бы не так. Он из принципа третий день занятия пропускает.

— Конфликтная ситуация, — иронически вставила Нина.

— На заводе был зачет по специальности, — пояснила Ленка. — Гошка сдавал последним и должен был убрать стружку. «Я не обязан убирать за всеми! — оскорбился он. — Кому надо, тот пусть и убирает...» А мастер ему зачет не поставил...

Тут Николай понял, почему Гошка не заходит к нему. В этом весь Гошка. Ему нравится командовать, быть начальником. А тут — стружка... Начал объяснять девчонкам:

— Он из-за того, что... — и осекся.

Никто не знал, кем работает мать Гошки. Уборщицей. Ну и что! А у Гошки из-за этого развилось дурацкое самолюбие.

— Я сам поговорю с Гошкой, — сказал Коля. — Мне тоже надо сдавать зачет. Вместе сдадим.

— Ой, спасибо тебе! — обрадовалась Ленка. — Мы к нему не пойдем тогда, правда, Нина? А то еще вообразит...

Они поболтали о новых фильмах, о пластинках, о выставке в музее, о которой он понятия не имел, но теперь решил сходить для общей культуры и поддержания разговоров. Напоследок Нина спросила:

— Это правда, что ты не собираешься подавать документы в институт? Ты же отличник! — и удивленно взмахнула своими замечательными ресницами.

Николаю стало приятно, как будто она взяла его за руку.

— А у тебя веснушки выступили... — счастливым голосом сказал он.

И веснушки пропали, так она заалелась. Наступило неловкое молчание. Положение спасла Ленка. Хорошо все-таки, что она пришла.

— Поправляйся скорее, привет от всех...

Ночью ему снился всякий восхитительный вздор. Ему казалось, что он вместе с капитаном Немо гулял под водой в скафандре. Рядом плавала Нинка, переливаясь всеми цветами радуги в импортном акваланге. Потом появились акулы. Капитан Немо подал Васильцеву электрический пистолет. Вместо аккумулятора нужно было использовать катушку Румфорда, подсказал капитан Немо...

Утром заявился Гошка. С подарком. Стоя спиной к приятелю, развернул хрустящую пергаментную бумагу и повернулся с видом фокусника. В маленьком горшке торчал зеленый шарик кактуса, на котором распустились нежные, словно восковые, лепестки цветка.

— Эти кактусы очень редко цветут, — смущаясь пояснил Гошка. — У меня он первый.

«Вот ведь каким бывает иногда Гошка, — подумалось Коле. — Его мало кто знает таким».

— Я не сдал зачет по специальности, — сказал Васильцев. — Поможешь?

— Договорились, — быстро сказал приятель.

Теперь Гошка возьмет бразды правления в свои руки. Организует, договорится. И заодно сдаст сам. На что Николай и рассчитывал.

Тот вынул из кармана второй подарок: самодельный поршень для их оружия. Коля внимательно осмотрел и одобрил. Но он уже сомневался, что из их затеи что-то получится. Не существует таких мощных и компактных аккумуляторов, какие им требовались.

— Ведь надо еще... надо катушку Румфорда! — сказал он неожиданно для самого себя.

И сразу же вспомнил, что решил эту задачу еще во сне. От самой слабой батарейки эта катушка дает высокое напряжение.

— Хвастаешься, — усомнился Гошка, — человек во сне спит.

— А Менделеев! Читал про периодическую систему элементов? Тоже во сне открыл!

— Сравнил! Периодическая система и ерунда какая-то... — поставил Гошка на место своего друга.

И заторопился прощаться.

### АКАДЕМИК ИНКОГНИТО

В этом году в училище ввели правило: зачеты по специальности сдавать на базовом предприятии.

Они явились на завод с направлением к мастеру Кряхтунову. К тому самому, который не принял зачет у Гошки.

Битый час они искали по цехам мастера. Чуть не заблудились на лестницах и переходах. Наконец одна добрая душа отвела их в инструментальный цех. Длинный ряд столов, лампы на кронштейнах, какие-то приборы... Рабочие в зеленоватых халатах.

У одного из столов Гошка углядел своего зловередного старикана. Кряхтунов сидел рядом с другим рабочим. Тот был почему-то в рубашке с галстуком, на спинке стула висел пиджак. Гошка кивком указал на мастера и пропустил вперед друга.

Мастер оказался солидным дядькой лет шестидесяти. На вид довольно приветливым. Он задержался на Гошке взглядом и сказал:

— Идите в электроцех, я скоро освобожусь.

— А можно подождать здесь? — расхрабрился Васильцев. У него глаза разгорелись от тех непонятных изящных никелированных деталей, что лежали на столе.

Мастер посмотрел на соседа. Проворчал:

— Чего вы будете здесь сидеть без дела? Впрочем, и там без дела. Может, доверим юношам?

Рабочий покосился на подростков, но промолчал. Видимо, помощнички не вызвали у него доверия.

У Николая в пальцах появился привычный зуд: разобрать это изящное никелированное, раскрыть секрет его устройства и назначения. Мастер очистил им край стола и объяснил:

— Инструмент предназначен для хирургических операций.

Показал, как должен действовать инструмент.

— Но иногда заедает. Вам задание: разобрать, собрать, установить причину.

Коля забыл обо всем на свете. Он возился бы с этим хитроумным приспособлением до глубокой ночи: отвинчивал крохотные детали, постигал движение чужой



мысли... Кто-то вложил сюда воображение, выдумку, талант.

— В чем загвоздка? — вернул его к действительности голос мастера.

Коля не понял в точности, что именно заедает. В этом крохотном инструменте важна была точность, ювелирная сопряженность деталей.

— Вот и мы гадаем, — согласился Кряхтунов со вздохом. Придирчиво следил, как парнишка собирает инструмент. Гошка довольствовался ассистентской ролью. Подавал пинцетом детали, сопел под ухом. И конечно, поучал Кольку, как и что надо делать.

Сосед Кряхтунова поднялся, стал протирать фланелью рабочий стол. Гошка, в свою очередь, тоже взял тряпицу. Но мастер отобрал ее у него. Не думал не гадал в тот момент Васильцев, что с педагогическими приемами мастера ему предстоит познакомиться очень близко.

Молчаливый сосед Кряхтунова аккуратно вытер стол, надел пиджак и, попрощавшись, ушел.

Кряхтунов придирчиво оглядел рабочее место и пробормотал, вроде не для Гошки, а себе под нос:

— Чай, не профессор, уберет и сам. Хотя... что это я! Профессор. Лет пять уже как профессор. Вот бежит время!

Гошка насупился, чуя явный подвох. И не ошибся. Молчаливый сосед действительно был профессором.

— Когда-то работал в бригаде слесарем, — словно нехотя вспоминал мастер. — Золотые руки у парня были. Теперь известный хирург. А нас, заводских, не забывает, не кичится, что он профессор. Вот так, молодые люди. Ладно, давайте ваши зачетки.

— А можно нам приехать еще разок, — спросил Васильцев, протянув зачетку. — Поделать чего-нибудь?

Мастер неодобрительно глянул поверх очков.

— «Поделать...» — насмешливо повторил он. — Вы наделаете делов...

\* \* \*

— Злопамятный! — определил Кряхтунова Гошка, когда они вышли из проходной. — Я специально на другой завод распределение попрошу. Потом поступлю в институт на вечернее. Тогда пожалуйста! «Познакомьтесь, товарищ Кряхтунов, — скажут ему, — это ваш новый начальник...» Будет знать!

Коля улыбался, но не мешал приятелю фантазировать. Они быстро шли к трамвайной остановке. Ленка-общественница организовала культпоход на дефицитный фильм. Времени до начала сеанса оставалось в обрез.

На улицах уже зажглись рекламы и фонари. Хотя настоящей темноты не было. Пахло свежей зеленью и водой. По мокрому асфальту шипели шины машин. Из-за поворота сверкнули разноцветные огни их трамвая. Они бросились догонять.

Колю удивил и чем-то обрадовал рассказ мастера о судьбе знаменитого хирурга. «Да, руки — вещь замечательная!» — подумал он с удовольствием. Словно точку поставил в размышлениях о своей судьбе. Хотя в чем она, эта точка, было еще не ясно.

У входа в кинотеатр расхаживала Ленка. Они все-таки опоздали к началу журнала.

— Сегодня убрал за собой верстак? — съязвила она в Гошкин адрес.

— Очень надо! — оскорбился тот. — Если хочешь знать, то убрал сегодня верстак один академик. Вот свидетель. Колька не даст соврать.

— Точно. Убрал, — подтвердил правдивый Васильцев. — Сам лично, своей рукой вытер стол.

Ленка, конечно, расхохоталась.

Николаю билет был оторван заранее. К чему бы это — он не догадался.

В темноте протиснулся на свое место. После яркого света он не разглядел, кто сидит с ним рядом. А потом так обрадовался счастливому случаю, что иголки горячей крови ударили в кончики пальцев. Рядом сидела Нина. И смотрела внимательно на экран.

Он тоже повернулся к экрану и словно заоченел.

На экране что-то происходило.

Он ни слова не понимал, хотя слышал то же самое, от чего ахали или покатывались в зале. Он рискнул еще раз, вроде из любознательности, покоситься на нее.

— Тебе неинтересно? — услышал Коля.

Это не с экрана. Это она. Она спрашивает. Интересуется его мнением.

Он хотел сказать хоть что-нибудь. Но не смог. Ему показалось, что язык прицепился к зубам. Специально подвигал языком. Ничего подобного.

Это произошло само, он готов поклясться. Сама собой его ладонь коснулась ее ладони. Сами собой сошлись, столкнулись пальцы.

Нина сидела неестественно выпрямившись.

Рука лежала в руке.

Ударил в глаза яркий свет. Фильм окончился. Все задвигались, загалдели, выдавливаясь на улицу.

Нинка не смотрела на него, он тоже отводил глаза. Словно ничего не случилось. Какими вошли на этот замечательно прекрасный фильм, такими и вышли.

\* \* \*

В подъезде их дома вся дворовая шайка-лейка предавалась мирному вечернему развлечению: играли в «носы». Когда мимо проходили взрослые, то карты прятали и делали вид, что сидят просто так, скуки ради.

Правила игры отличались простотой и азартностью. Каждому сдавали на руки по три карты. Ставкой в игре был собственный нос. У кого было больше очков, тот выигрывал. Проигравших шлепали по носу теми же тремя картами.

Гошку с Колькой приветствовали насмешливо, но беззлобно. Хоть они изобретатели и зазнайки, но все-таки не чужие. И, как ни странно, это было приятно.

Коля мог ссориться с Кузей, драться, защищая самолюбие и достоинство, но сейчас пройти мимо — значило оскорбить всю честную компанию. Да и домой не хотелось. Был в подъезде какой-то даже уют и притягательность запретного.

Ближайший Кузин дружок подвинулся, уступая место на подоконнике. И душа Николая отозвалась радостью на этот пустячный дружелюбный жест.

В карты Кузя играл рискованно. Поэтому проигрывал чаще других. И тогда добросовестно подставлял большой треугольный нос.

— Бей под яблочко! — командовал он расстрелом собственного носа. — Бей, не жалея. Я гуманность проявлять не буду.

Были в этом, черт знает отчего, обаяние и широта души. В свою очередь он бил с оттяжкой, прилепляя удары так, что в глазах щипало от далекой слезы.

Под конец игры носы у всех распухали и краснели. Еще одно дурацкое ощущение братства. И странным казалось, что совсем недавно они с Гошкой изобретали против Кузи электрический пистолет.

После того, что случилось в кино, Колю переполняла доброта ко всему на свете. И желание ответной доброты, и радость от дружелюбия.

«Никаких электрических пистолетов, никаких катушек Румфорда, никаких «лучей икс», — окончательно утвердился Васильцев в своем решении. «Лучами икс» назвал Гошка их секретное оружие против Кузи. Они тогда ехали в электричке после какой-то экскурсии, и Гошке пришло в голову это таинственное название.

Ленка сидела поблизости и вмешалась в их разговор.

— Это вы о Кузе, то есть о Кузнецове, спорите?

— Спорили, — подчеркнуто в прошедшем времени сказал Гошка.

— Нашли о ком спорить! Этот — пороха не выдумает, ваш Кузя, — заявила Ленка и с вызовом уставилась на Гошку. Ленка считала Кузю их закадычным другом-приятелем.

— А может, и хорошо, что не выдумает, — сказал вдруг Васильцев. — Только этого от Кузи нам не хватало! Один выдумает порох, другой — атомную бомбу, третий — «лучи икс», четвертый еще осчастливит чем-нибудь благодарное человечество. Нет, хороший человек не станет изобретать порох. Пусть в характеристике мне напишут: «Этот пороха не выдумает» — я гордиться буду...

### **ПУТИ, КОТОРЫЕ НАС ВЫБИРАЮТ**

Николай и Гошка встречались теперь редко. Их дом пошел на капитальный ремонт, все разъехались. И оказалось, что дружили, враждовали и друг без друга часа не могли прожить просто потому, что были соседями.

Гошка поступал сначала в Политехнический, на заочное, потом в какой-то техникум. А по вечерам, когда он звал Васильцева кататься на велосипедах, то у Кольки вечно были «дела». После того культпохода на ковбойский фильм Гошка догадывался, что «дела» Васильцева звали Нинкой.

Выбирать дело жизни Николаю было легче, чем многим из его сверстников. И не только потому, что отличный аттестат открывал ему двери любого вуза. Ему было легче психологически. Если дверь открыта, то можно не торопиться. Может быть, есть и другие двери.

\* \* \*

Мастер Кряхтунов искренне удивился, когда увидел Николая у проходной.

— Здравствуйте, — сказал Васильцев. — Помните, вы обещали, то есть... мы хотели прийти...

— «...поделать чего-нибудь», — суховаато закончил мастер фразу Васильцева.

Коля вспыхнул и замолчал. Старый мастер глянул на часы.

— Ладно, — сказал он. — Подожди в бюро пропусков. Подумаем.

Минут через двадцать в бюро заглянул парень в спецовке. Берет его был лихо заломлен на ухо.

— Кто здесь Васильцев? — громко осведомился он. — Пошли, начальство ждет. Гляди орлом, шире шаг!

И быстро повел Васильцева сквозь цеха, коридоры, лестницы...

У двери с тремя ступенями провожатый оглянулся:

— Как зовут тебя? — И, услышав ответ, широким жестом протянул руку: — «Коля, Коля, Николай, сиди дома, не гуляй». Не обижайся. Мы с тобой тезки. Проси, чтоб назначили в одну смену с Николаем Капустиным.

В глубине электроцеха, за остекленной перегородкой, Колю ждали начальник цеха и Кряхтунов. Начальник цеха указал на свободный стул.

— Небольшое собеседование. Не возражаете?

Собеседование действительно оказалось кратким: кто, что, почему, зачем? И только впоследствии Коля понял, сколько для первого раза наговорил лишнего. Про свою любовь к технике, про положительное отношение к данному заводу и свое твердое решение не утаивать от коллектива ценные мысли. Еще хорошо, что умолчал о главной причине, которая привела его: на этот самый завод распределили Нинку.

— Возьмешь в свою бригаду, — сказал начальник цеха Кряхтунову.

Тот вздохнул и подвинул Васильцеву чистый лист бумаги.

— Пиши. «Заявление. Прошу принять меня в электроцех...»

\* \* \*

Так и свершился выбор. Просто, быстро, удачно.

Отец купил по этому поводу бутылку вина. Поздравил с первым рабочим днем. Мать подняла свою рюмку молча.

— Ты, мать, не огорчайся, — рассуждал отец. — Не хочет поступать в институт, не надо. Парень взрослый.

Хорошо, что собственной головой думает. Это важно. Что значит «отличный аттестат пропадает»? Вот он у тебя в серванте красуется...

\* \* \*

Запомнилось и поразило его в первые недели, в первые дни на заводе — доверие. Возьмет его напарником Капустин или даже сам Кряхтунов. Доверит часть работы выполнить и не проверяет. Сделал — значит, сделал. И все.

Но теперь об этих счастливых днях можно только мечтать. Бригадир перестал доверять Васильцеву. Если бы не эта ночная смена! Если бы Капустин не проболтался! Казалось — счастливый случай, а вышло как нельзя хуже. Отличился, называется...

### **„СЧАСТЛИВЫЙ“ СЛУЧАЙ**

Подошла их очередь дежурить на подстанции в ночную смену: Капустин — старшим дежурным, новичок — младшим. Васильцев сам напросился. Ему давно хотелось облазить все цеха завода. Но просто так не пойдешь копать в чужих станках. А для дежурных это обязанность.

Двое из вечерней смены находились в стартовом состоянии: умыты, причесаны, в пиджаках. Чисто прибран стол, аккуратно заполнен «вахтенный» журнал с последней строкой: «Дежурство сдано...» — и подписи.

Времени 23 часа 55 минут. Вот-вот должен явиться Капустин.

— Мы ушли, надо успеть на транспорт, — заторопились вечерники, хлопнули Васильцева по спине: — Счастливо!

Тихо, пусто, светло. В глубине подстанции — Главный распределительный щит. От него идет негромкий высоковольтный гул. По двусветным окнам стегают порывы ветра с дождем. И от этого на подстанции кажется уютнее и светлее.

Над головой электрические часы. «0 часов 0 минут. Дежурство приняли...» — записал Васильцев. Придет Капустин, сам подпишется, как старший смены.

«Все спят... все спокойно...» — вспомнился почему-то Коле голос ночного сторожа из кукольного спектакля, на котором недавно побывал с Нинкой.

Коля посмотрел на телефон. Снял трубку — гудит, исправен, набрал 08.

— Ноль часов четыре минуты! — доложил бессонный голос.

Николай откинулся на спинку стула и раз-меч-тал-ся... Он дежурит всю ночь один, спасает что-нибудь от аварии, а утром оркестры играют туш и его увенчивают таким лавровым.

Стрелка электрочасов шагнула. Десять минут первого. Чтоб не искушать судьбу, он выбросил все эти красивые мысли из головы. Насвистывая, достал из ящика инструменты, индикатор, запасные предохранители.

На часах — 15 минут. Он погулял по залу. Беззаботно, весело. Все еще чувствуя себя, как за каменной стеной. За спиной Капустина. Которого не было...

27 минут первого. С Капустиным что-то случилось...

Сбылось. Он теперь единственный электрик на весь огромный завод. Тысячи электромоторов, автоматика, подстанция... Совсем другими глазами, уже недоверчиво, оглядел он Главный распределительный щит. Припомнились разговоры, что щит работает на пределе мощности. И Николаю стало не по себе. Ему померещилось, что стрелки на приборах коварно зашевелились, заваливаясь на красный сектор. Он настороженно двинулся вдоль шеренги приборов и огромных рубильников на Главном щите. Толстая резиновая дорожка скрадывала шаги, вызывая ощущение нереальности.

Коля вздрогнул от резкого звонка телефона. Вот и началось. Первый вызов был пустяковый: над линией станков в одном из цехов погас свет.

Николай вооружился инструментами первой помощи, оглянулся от дверей. Вроде все взял.

У входа в цех его встретил начальник смены, признал по экипировке. Где-то в цехе скрывался щиток с пробками. Но крутить головой, таращиться по сторонам заправский электрик не имел права. И Коля напустил на себя солидность и уверенность. Только глазами быстро бегал по сторонам: где проклятый щиток?!

Повезло — увидел. Открыл специальным ключом железную дверцу, за которой белели десятки фарфоровых предохранителей. Какие перегорели? За плечом выжидал начальник смены. «По науке» следовало проверить всю шашечную шеренгу предохранителей. Индикатор даст знать, какие надо менять. Процедура простая, но...

Кряхтунов в таких случаях демонстрировал почти цирковой номер. Открывает, допустим, щит с автоматикой. Перед ним четыре квадратных метра сложной начинки. Отступит на шаг, облокотится на что-нибудь. И несколько минут созерцает внутренности. Индикатор торчит из кармана, как обыкновенная авторучка. Проверь, скажет, четвертое реле справа. И точно! Любил бригадир устраивать такие показательные выступления. Николай в таких случаях проявлял характер. Пытался сам разгадать секрет фокуса. Взял манеру опережать наставника. Повторял бессмысленные на первый взгляд движения бригадира. У подобной панели Кряхтунов скользящими движениями пальцев касался предохранителей. Что слышали пальцы мастера? Со временем Коля разгадал фокус. Сгоревший предохранитель теплее, чем остальные. Просто, когда поймешь.

И сейчас он легонько скользнул костяшками пальцев по белым цоколям, вывинтил два и вытащил из кармана новые. У начальника смены поднялись брови, но он смолчал.

Была опасность конфуза! Тогда идет в ход последнее средство мастера: глубокомысленно покачать головой, напустить таинственность — дело, мол, нечистая сила портит. И через пять минут найти индикатором, «по науке». Эффект, конечно, не тот.

Николай завинтил до упора первый предохранитель. На лице начальника смены готовилась выступить ироническая усмешка. Второй предохранитель ввинчен в гнездо. Последний круговой нажим пальцев... Сверкнул синий ободок искр... И цех осветился полностью.

— Спасибо, — сказал начальник смены и, улыбувшись, хмыкнул. «Номер» подействовал безотказно.

На подстанции Коля перевел дух, осмотрел весь Главный распределительный щит и слегка успокоился насчет грядущих ЧП.

Был еще один вызов. Даже ёкнуло сердце.

— Как полыхнет огнем из мотора! — докладывал панический голос.

Единым духом он сгреб инструменты и взлетел, мигая медленным лифтом, на четвертый этаж.

Мотор не полыхал синим пламенем, даже не дымился. Правда, пол осыпан песком. Тушили, значит. Или на всякий пожарный случай. Припомнился скептицизм Кряхтунова к таким паническим голосам. И Коля скопировал хладнокровие бригадира.



Здесь пришлось действовать «по науке». Столпились вокруг механики, ждут, смотрят с надеждой на его руки. А рукам уже делать нечего. Вроде все в порядке... Случай редкий. Двигатели сработаны на совесть. Он уже горит синим пламенем, а все равно крутится.

— Выключите сцепление, — попросил Васильцев.

— Оно выключено, — удивились механики. На всякий случай, для доказательства повернули шкив. Тот ни с места. Тут уж механики нервно засуетились.

— Сожгли мы вам двигатель? — спросили его виновато.

— Все в порядке, можно пускать, — великодушно простил он. И отбыл на подстанцию, прикидывая попутно сладкую тяжесть лаврового венка.

Время — четыре ночи. Самое сонное время. Собачья вахта, называют ее моряки.

Усыпляюще бархатисто гудит подстанция.

— Четыре часа четыре минуты, — подтвердил по телефону бодрый голос.

Николай стал привыкать к мысли, что пронесло. Расслабился. Тут ОНО и случилось. Так и бывает. Стоит только расслабиться.

За распределительным щитом раздался пистолетный хлопок. На черном оконном фоне всплыл белый завиток дыма. Николай привстал, надеясь... На что? Стрелки приборов красноречиво переступили красное.

Несколько раз, мысленно, он проделывал эту спасательную операцию. Но в первые секунды бестолково метался, хватаясь за инструменты. Наконец взял себя в руки. Первым делом — к щиту. Рванул рукоятъ рубильника. Тот откинулся, щелкнув медью зажимов. Стрелки трех вольтметров упали влево. На всех приборах — ноль, ноль, ноль. Остановился огромный цех. И тотчас зазвонил телефон. Он ответил деловито:

— Да, мы знаем. Выбило большие предохранители. Цех мы выключили. Конечно, знаем, сколько стоит минута простоя. Да, делаем... — И швырнул трубку.

Коля натянул резиновые перчатки с неуклюжими сосисочными пальцами, они сразу изнутри увлажнились. Прямо в ботинках сунул ноги в каучуковые литые «боты». Тяжелая резина тормозила шаг, притягивая к полу. Большие фарфоровые цилиндры предохранителей лежали в ящике стола, и лист наждачной бумаги, и аварийный, красного цвета, ключ.

Тяжело ступая, подошел к дверце с веселой пират-

ской картинкой: череп и кости накрест. Вставил красный ключ и отомкнул замок. Загудела сирена. Он вздрогнул. И так все внутри взведено, а тут еще сирены воют! Нашел кнопку. Сирена смолкла.

С внешней стороны главный щит выглядел замысловато, но терпимо. С внутренней — щетинился лабиринтом высоковольтного оголенного металла.

Щит был расположен параллельно стене. И между внутренней стороной щита и стеной, казалось, пространства нет. Коля крался боком, касаясь стены лопатками, весь взмокший от напряжения. Виделось против воли, как меж ним и высоковольтным металлом вспыхивает голубой трескучий разряд. И будет здесь до утра стоять черная обугленная головешка.

Немного бодрости прибавляли фиолетовые печати на «ботах», на резиновом фартуке, на перчатках: «Испытаны для напряжения три тысячи вольт».

Наконец он подошел к рубильнику цеха, но с внутренней стороны. Тут начиналось самое опасное.

Затаив дыхание, протянул руку за фарфоровым предохранителем. Его без всякой науки видно по закопченной оплавленности торцов. Взялся рукой за цилиндр, сомкнул резиновые пальцы. Потянул на себя. Цилиндр не поддавался. Медь на торцах приварилась к зажимам.

Николай дернул предохранитель всем телом. И с хрустящим звуком цилиндр выскочил из гнезда. Для него был предназначен карман на фартуке.

Вставить новый в зажимы и скорей отсюда смотаться — вот чего хочется в такую минуту. Но Васильцев плотно свернул лист наждака, зернами вверх, и зачистил зажимы. Если окалину не содрать, то место это быстро нагреется, раскалится докрасна... И выбьет новый предохранитель. Через сколько часов или минут? Неизвестно. Внешне все вроде благополучно, а на деле — как мина замедленного действия.

И он тер медные гнезда, пока они не озарились красно-желтым блеском. Поставить новый предохранитель было секундным делом. Щелкнув, он встал на место.

Череп на аварийной дверце, казалось, одобрительно подмигнул Васильцеву. Он размашисто катапультировал с ног резиновые «боты» и отбил посредине зала восторженную чечетку.

Невесомым пальцем, с трудом попадая в отверстия диска, набрал номер цеха.

— Можете включать станки. Все в порядке.

Подошел к щиту и врубил рубильник. Проставил в журнале время аварии. Собрал по залу «боты», фартук и прочее. Хотел было сунуть в шкаф, но раздумал. Пусть пока будут наготове. Пусть ОНО знает, что он в состоянии боевой готовности.

Местный телефон больше не докучал. К шести утра опять захотелось спать, Коля стал клевать носом. Вдруг подал голос городской телефон. Далекий голос допытывался, кто говорит. Николай уклонялся от прямого ответа: «Дежурный по смене». В конце концов они узнали друг друга по голосам. Это был растяпа Капустин. Радостно ужаснулся, что тезка всю ночь один.

— Ты это не разглашай. А то мне прогул залепят. Подробности доложу при встрече.

Без пяти семь стала собираться бригада. Первыми явились двое болельщиков и так сцепились, что всяк входящий тотчас втягивался в спор. В таком накале страстей исчезни Главный щит — никто не заметит.

А бригадир подумал, что Капустин только что ушел. И не от кого было ждать лавров.

— А ты чего не торопишься? — спросил Кряхтунов.

— Про футбол слушаю, — сказал Коля.

Бригадир понимающе покосился на телефон, но шутить не стал, когда Николай сорвал трубку. Звонила Нинка. Она уже готова, а он идет?

Николай торопился к проходной и улыбался: вот кому он «распишет» всю ночную смену!

И они пошли по проспекту. С утра подморозило. Лужи схватил прозрачный ледок — они стеклянно хрустели под ногами. Слегка кружилась голова после бессонной ночи. Небо бесшумно и плавно опускалось на землю первым осенним снегом. Запах у снега был свежий, яблочный...

— А ты знаешь, кто пустил ночью ваш цех? — спросил Коля и добавил: — Кстати.

Удобное слово «кстати», если другого предлога нет, а похвастаться очень хочется!

Нинка тащила его от лужи к луже, хрустя стеклянной пленкой.

— Да, вы молодцы. Быстро справились. Смотри, смотри: кошка на подоконнике.

Кошка была и впрямь смешной. Глазела на улицу из окна и важно чистила усы лапой. И Коля засмеялся и махнул на лавры.

Еще раз повторить «кстати»? Нинка смеяться будет. Оставалось малость досады, но скоро прошло. Так славно было идти рядом с Нинкой.

### **ЛЮБИМЧИК БРИГАДИРА**

И все-таки подвиг не канул в лету. Николай-младший не разгласил. Разгласил Николай-старший.

Он узнал из журнала, какую аварию ликвидировал его тезка. «Страна должна знать своего героя!»—провозгласил Капустин. И в один из обеденных перерывов рассказал о ночном дежурстве. Колю хлопали по плечу, приговаривая: «С боевым крещением!»

Бригадир отнесся к делу иначе. Капустину объявил выговор, а Васильцева отчитал черствым голосом:

— Повезло еще! А если бы что случилось? Кто виноват? Надо было доложить дежурному по заводу, вызывать меня...

Капустин не унывал, приговаривал почти по-французски: «Такова се-ля-ви». А бригадира Васильцев просто возненавидел. Что ни день, Васильцеву спецзадания: «круглое катать, плоское таскать». Или, как сегодня, дыры в потолке бить. А для чего? «Значит, надо!»—передразнил он бригадира.

Коля стоял на верхней ступени лестницы, пыль летела в лицо. «Звянг!» Зубило больно отыграло по пальцам. Вот они, лавры, чем оборачиваются! Еще Нинка увидит за таким занятием... И вдруг ему стало весело. Он даже удивился: с чего бы это? Ну вспомнился ему вчерашний станок... И что с того?

Вчера бригадир сменил было гнев на милость. Доверил сделать пустяковину для одного старого станка. Не бог весть что, но хоть не дыры долбить! Коля стал прилаживать пустяковину... и отвлекся. Напрочь забыл об официальном задании. Что-то такое показалось ему... что-то глупое в станке... Излишнее... Опустился на корточки.

Кряхтунов, должно быть, долго наблюдал за ним. Коля случайно его ноги заметил. Встал сконфуженный.

— Что мне с таким работничком делать? — размышлял вслух Колин наставник. — Станок плохой? Допустим. Старый станок. Но разве это причина работу бросить?! Сделал дело — гуляй смело!

И вот сегодня снова — зубило и молоток. С чего радоваться? Но радовался. И неожиданно понял отчего:

в голове проявилась, выплыла откуда-то мысль, идея... Он знал теперь, как возможно пришпорить давешний станок.

Разыскал Капустина. Поделился своей идеей. Капустин выслушал, вопреки своему обыкновению, — серьезно. Пошел с тезкой к втулочному станку.

— Говорят, что втулки всегда в дефиците, — нерешительно говорил Васильцев. — А здесь вот что можно сделать.

Капустин уставился на тезку, словно впервые его увидел. Стокнул берет на лоб.

— Во дает! Далеко пойдешь, если не остановят. Чертить умеешь? Изобрази на бумаге.

Васильцев изобразил. Капустин привел его на буксире в БРИЗ. В бюро рационализации завода чертеж обсудили доброжелательно, но скептически. Станок давал шестьдесят втулок за смену. По расчетам Васильцева мог давать шестьсот. В десять раз больше.

— Это как минимум! — горячился Коля.

— Мы не против, — улыбались в БРИЗе. — В сто раз больше еще лучше. Вы докажете, сделайте.

Не принимали там всерьез Васильцева.

Коля теперь оставался после работы, своими руками делал приспособление. Против такой самодеятельности бригадир не возражал, даже помогал советом, но посмеивался: грозилась, дескать, синица море зажечь.

Однажды в пересменок Капустин помог тезке установить готовое приспособление. Провозились долго, больше двух часов. Начальник цеха ходил вокруг нервными шагами. Срывался план.

— Скоро вы там? — торопил он.

Станок включили и засекали время. Через час все заготовки кончились. В ящике для готовых деталей сверкало восемьдесят втулок. ОТК поставило штамп «отлично».

В БРИЗе ахнули. И не только в БРИЗе. Главный механик завода целый час простоял у втулочного станка. Потом вызвал к себе Васильцева. Поздравил. Николай смущенно пробормотал:

— Ну что вы, пустяк...

Главный механик хохотнул, спросил: и много таких «пустяков» у юноши? Васильцев совсем смешался.

Через несколько дней Кряхтунов, скрывая неодобрение, освободил Колю от очередного воспитательного задания.

— По особому распоряжению, — пояснил он. — Ходи по заводу, вникай, придумывай. Может, что и выйдет... И начались у Васильцева странные, ни на что не похожие рабочие дни.

Он ходил — присматривался к машинам и аппаратам — присаживался рядом... И снова отправлялся в турпоходы по цехам. Ничего путного не приходило в голову. Как назло. Он похудел, осунулся. И почти уверился, что не сможет изобрести что-нибудь «нарочно».

\* \* \*

За приспособление для станка Васильцев получил премию. Хватило, чтоб отметить это событие с Нинкой в лучшем кафе.

Отец заставил рассказывать всю историю дважды. А мать беспокоилась: все работают, все при деле, а он на особом положении — ничего не делает. Она как будто сговорилась с Ниной. «Бродишь по заводу, как принц датский. Люди шутят...» Нинка переживала за него. А Коля думал: неужели и Нинка в меня не верит?

«Грозилась синица море зажечь!» — вспоминалось Коле.

Однажды утром он явился к семи на подстанцию и попросил у Кряхтунова задание.

— Блудный вундеркинд вернулся в свой родной коллектив, — зашумел Капустин.

Бригадир разглядывал вундеркинда поверх очков. На морщинистом лбу Кряхтунова проступили педагогические раздумья.

— Навести порядок в подсобке! — вынес он приговор. — Двух дней хватит?

Такого, честно говоря, Николай не ждал.

— Везучий ты, — подмигнул ему тезка. — Любимчик бригадира.

Подсобка ломилась от старья и хлама. Кабели, провода, рубильники, ящики... — все, что жаль выбрасывать сразу, тащили сюда. Коля еще в детский сад ходил, понятия не имел о законе Ома, а хлам уже здесь копился. Ждал его.

Он рассматривал подсобку с веселой злостью. Разок, примериваясь, схватил сгиб кабеля. Резиновый жгут, как живой, вывернулся из рук. Кажется, отвернись, и этот проклятый кабель скрутится, извернется и уползет в гущу других, еще хуже их запутав и завязав.

При очень нудных заданиях Коле помогала НОТ, научная организация труда в образе транзисторного приемника. Коля сходил за молотком, гвоздем и транзистором. Повесил на гвоздь приемничек, покрутил настройку. И ударила такая залихватская музыка, с которой сам черт не брат.

Обломки черных металлов — в ящики «вторчермета», цветных — к цветным, остальное — на свалку. Подумалось, как счастлив будет какой-нибудь мальчишка, обнаружив на свалке эти сокровища.

Постепенно подсобка стала довольно чистой и светлой. Приятно просто сесть на стеллаж и послушать музыку. Коля покрутил настройку и чуть не уронил транзистор. Гвоздь, когда он забивал его, согнулся и теперь повернулся вокруг оси. Квадратные гвозди лучше, они не крутятся в дырке, подумалось ему мельком.

Он внимательно разглядывал гвоздь. А если... делать желобки вдоль обычного, круглого? Проволоку для гвоздей протягивают сквозь круглое отверстие. А его можно сделать звездочкой. Крепость гвоздя останется, ведь появятся ребра жесткости... Зато экономия металла!

И пока все это в голове решалось, он вновь почувствовал радость, как тогда на стремянке. От того, что сию минуту «изобрел гвоздь» — радость появления новой мысли.

Он оглядел кладовку критически. Под мелким мусором угадывался кирпичный пол. Коля нашел омок и до блеска вычистил им подсобку. Пусть зловредный бригадир знает: Васильцев не белоручка!

Коля торопился не ради одобрения и похвал. Бригада новые станки налаживала. И как раз в том цехе, где работала Нинка.

\* \* \*

— А, любимчик бригадира явился! — приветствовал его тезка. — Он к тебе всей душой, выдал брезентовые рукавицы, новые. А ты сбежал. Это «дурной моветон», так тебе Кряхтунов и скажет.

В ловких руках приятеля инструменты так и мелькают. Васильцев невзначай, словно не очень хочется, принялся помогать Капустину. Тот усмехнулся и подмигнул.

И Коля засучил рукава. Пусть Нинка видит: он занят полезным трудовым процессом.

Как всегда неприметно, появился бригадир. Все ожидали, что будет. Сначала, из педагогических соображений, он Васильцева «не замечал». Ждал, что тот сам исчезнет. Потом «увидел».

— У вас другое задание. Вы сами просили себе работу. Назвался груздем, полезай в кузов.

И за что бригадир его так не любит?

— Там больше делать нечего. Чисто,— сказал Васильцев.

На это бригадир промолчал. Но посмотрел на Колю. Как он посмотрел! И ушел.

— Хочешь, помогу тебе в подсобке? — предложил тезка.

— Все убрано, кроме шуток,— сказал Васильцев.

— Представляю физиономию бригадира,— заржал Капустин.

Через несколько минут Кряхтунов вернулся. На него старались не смотреть. Всех разбирал смех.

— Для вас есть другая работа,— сказал он Васильцеву.— Здесь без вас справятся. Пойдемте.

— Опять любимчику спецзадание! — с притворной завистью прошептал Капустин.

Коля шел следом за бригадиром и гадал: рукавицы или зубило? Если налево по коридору, значит, во двор. А во дворе в лучшем случае лампы на столбах ввинчивать. Бригадир свернул вправо. Там у него кладовка. Точно, в кладовку.

Кроме брезентовых рукавиц здесь хранились приборы и электроника. Изящные шляпки транзисторов и ювелирные реле с серебряными контактами. Нет, эти новинки не для Васильцева. В лучшем случае бригадир вручит ему новое зубило...

Бригадир тем временем достает рулон ватмана. Протягивает молчком. Руки у Николая в смазке, зажал ватман локтем. Бригадир подает с верхних полок новенькие, в упаковке еще, реле, миниатюрные трансформаторы и прочее, только успевай подхватывать.

— Будешь работать сигнальный автомат. Давно хотел сделать, руки не доходят. Сигналы по цехам на обед, на чистку станков и прочее.

Пока Николай приходил в себя, бригадира и след простыл. Молчком, молчком — и нет его. А?! Вот это бригадир. Симпатичный дядька. Понимающий. Ну погоди, Капустин!

Бригада как раз собралась в мастерскую на пере-



кур. Васильцев остановился у двери, согнал с лица улыбку. И вошел мрачный.

— Живут же люди,— завелся сразу Капустин.— Переносят материальные ценности...

Коля высыпал на верстак коробки, молча распаковывал сверкающие сокровища. У Капустина глаза разгорелись.

— Смотри не запачкай,— без прежней уверенности говорит Капустин.— Или тебе для работы выдано?

— Сигнальный автомат, говорит, надо делать. А кому доверишь? Только тебе, говорит бригадир, моему любимчику! — отыгрался наконец Васильцев.

Мебели в мастерской — верстак да стол. Фанерная крышка местами пузырилась. Коля пристегнул ее парой гвоздей для аккуратности, повесил над столом схему, приготовил паяльник, олово, канифоль.

Дома он выстирал комбинезон. Приготовил на утро белую рубашку и лучший галстук.

Галстук Капустина доконал.

— Во! — сказал он.— Не какнибудь. Теперь зазнаешься?

— Зазнаюсь, само собой! — подтвердил Коля.

Основным его инструментом стал теперь паяльник. На выдавшем виды медном стержне заеклась наледь припоя. Несколько шелестящих движений напильником, фонтанчик опилок, и жало блестит красной медью. Коля прямо священнодействовал.

Большой кусок канифоли, светясь янтарно, прикидывался колдовским камнем. Канифоль, плавясь, испарялась голубой струйкой. И в мастерской пахло весело и терпко новогодней елкой.

Паяльник брал олова ровно каплю. Прикосновение — и серебристый шарик соединял проводник с контактом.

Николай читал схему и «переписывал» ее металлом. Тонкие линии с ватмана превращались в пучки разноцветных проводов, точки соединений — в шарики олова, условные обозначения — в реле...

Если его окликали, он не сразу соображал, о чем речь.

Даже встречаясь с Нинкой, все время помнил про автомат. А Нина подчеркнуто обижалась и уходила. «Всегда куда-то торопится, молчит, уходит...— думалось Николаю.— Пустяки, конечно... Может, и пустяки... А возможно, совсем наоборот! У нее кто-то есть...»

Наступил день рождения автомата. Бригадир подал знак. Николай нажал кнопку. Возник комариный зуд трансформаторов — электроника проснулась, пропиталась действием...

Кряхтунов помахал перед фотоэлементами растопыренной пятерней. Внутри откликнулось: щелк, щелк, щелк... Жила машина, работала! Через пять минут спина Васильцева заныла от дружеских хлопков.

На следующее утро бригадир выдал Коле совершенно новую пару брезентовых рукавиц и соответствующее задание. Капустин опять вернул про «любимчика». Но теперь это было не так обидно.

### ЗАКЛЯТЫЙ ДРУГ

— Она или я, в конце концов?! — возмущался по телефону Гошка. — Никогда я тебе об этом не говорил, но сколько можно? Я тебя завтра беру на танцы. Понял?

Гошка ревновал приятеля к Нинке. Она отнимала у него друга.

— На танцах бывают такие! — продолжал Гошка, изобразив голосом, какие бывают на танцах. — Не строй из себя...

Он презрительно изобразил и тех, «которые строят из себя»...

— Не знаю, — неуверенно сказал Васильцев. — Если дел не будет, тогда...

— Знаю я эти дела. Завтра вечером жду! — подвел черту Гошка.

Такой приказ был получен вчера от Гошки.

Сегодня у всех выходной, а у электриков — день рабочих. Сегодня — ППР. Что в переводе на человеческий язык означает планово-предупредительный ремонт.

Коля радовался этим дням, их неспешности, гулкой тишине в цехах, где обычно грохот, суета, свист и лязг.

Была у него и традиционная цель: в понедельник утром увидеть Нинку. А для этого мотор на ее станке следовало так исправить, чтоб без электрика его не включать. «Кто делал ППР на этом станке? — грозно спросит бригадир в понедельник утром. — Пусть сам свои огрехи исправит!» И пойдет Васильцев виновато и скромно исправлять свои недоделки. И вроде случайно-официально пять минут пообщается с Нинкой.

Еще ему нравились эти воскресные будни потому,

что здесь можно было побыть наедине с собой. В принудительном, так сказать, порядке.

На этот раз все серьезные мысли перемешало легкое веселое возбуждение. Вечером они с Гошкой идут на танцы! Проблема сама решилась, без его участия. То «быть или не быть», а тут сразу — «быть». Правда, еще, может, совесть заговорит и отменит танцы, но втайне он понимал, что совести тоже охота побывать на танцах. Не то Гошка позвонит и с жутким самодовольством заявит: «Поцеловал вчера одну блондинку...» И придется изображать, что ему плевать на Гошкины достижения, или врать что-нибудь в этом роде.

Гошка уже целуется, а он как дурак «ходит» с Нинкой. И даже попыток не делает — она для этого слишком умная. В театры с ней ходит, в музеи... Разговаривает на разные возвышенные темы...

Как-то они попали под сильный дождь. Он хлестал в лицо, слепил глаза, и они побежали, взявшись за руки. «Прищурь глаза, прищурь!» — прокричал Коля. Она воскликнула: «Ой, и правда лучше! Ресницы, значит, не только для красоты?» И они, конечно, расхохотались...

Гошка давно, молчаливо и гордо порицал их дружбу. А потом для Гошки открылись танцы.

Танцы — это возможность познакомиться с девушкой. Танцы — это возможность проводить ее и назначить свидание. Какие у него важные взрослые слова: «Я тут одну блондиночку поцеловал пару раз...»

Коля однажды «потерял лицо», спросил у друга: как он это проделывает практически? Гошка снизошел до детского, зеленого, даже хуже — детсадовского уровня! Он толковал покровительственно и важно, удерживаясь от презрения и насмешек только в память о школьной дружбе. Ничего, мол, нет проще. Он приглашает ее на танец, потом снова приглашает ее, потом она приглашает его на «дамское». Это очень важный момент, чтоб она тебя пригласила. Значит, ты ей понравился. Затем он спрашивает разрешения проводить ее. Если она согласна, то все в порядке. У парадной он говорит: «Можно поцеловать вас?» И все.

Так уж и все!.. Притворяться, что все понятно, не было никакого резона. Коля все равно обнаружил бы свое невежество. За такую цену стоило добиться инструкторской четкости. А если она промолчит? Или ответит «нет»? Что тогда? На эти жгучие практические вопросы Гошка так презрительно фыркнул, что Коля сту-

шевался и больше такую социологию не проводил, притворялся ловеласом не хуже Гошки. Да был ли сам-то Гошка таким прожженным гусаром?..

\* \* \*

Так бродили у Коли в воображении вперемешку глоса и мысли, лица и разговоры, приходило понимание чего-то сложного и недоумение от чего-то простого. Он хмурился, улыбался, хмыкал, но руки делали свое дело.

Если очередной мотор исправен и здоров, весь ППР сводился только к смазке. Появлялось азартное чувство везения. Есть резон пройтись гоголем, разыскать Капустина в другом конце цеха, вызвать его на соревнование... Капустин огрызался: «Я бы ту обезьяну, которая первая слезла с дерева и взяла в лапы гаечный ключ, убил на месте!». В свою очередь приходил к Васильцеву «в гости» и, словно случайно, запускал то один двигатель, то другой. И ухо остро! И не дай бог заметит какую-нибудь оплошку!

И вызов на соревнование, и прочие подначки вернет сторицей. В ближайшие дни рта не даст раскрыть, придумает и отмочит такое, что все от этих незамысловатых шуточек от смеха валятся под верстак.

Тут еще бригадира принесет нелегкая во время очередной экзекуции. Тот назначит Коле очередную работу, а Капустин вытарашится дурашливо: «Такая опрометчивость! Нашли кому поручать!» Все добросовестно ужаснутся, у бригадира брови, конечно, вверх, но коллеги уже расходятся, а Коля норовит улизнуть первым. Было, было в этих воскресных буднях что-то от спорта, театра и азартной игры «в носы».

\* \* \*

Ах, танцы, танцы! Нет на вас поэта! Кто идет на танцы, чтоб танцевать, то есть двигать руками и ногами? Нет, не-ет такого поэта! Они подали в кассу рубль за входной билет? Нет! За билет лотерейный. Так написано на билете для тех, кто умеет читать меж строк. Спешите, спешите! Цирк шапито! Последний день, последний вечер!

Фойе. Сколько девушек! Они никого не видят и ничего не слышат. Они даже молчат. Они истязают волосы, чтоб дыбом или волной, они что-то рисуют и подводят, накладывают и снимают, трут и мажут... Они вне вре-

мени и пространства, не мешайте им. Легкий косметический ремонт фасада. Потом они отпочковываются от зеркал, их уже не узнать. Они горды... нет, надменны! Прочь, смертные, с их пути!

Лица, лица, лица... Мельтешение, гомон, смех... Наряды, прически, глаза, зубы, галстуки, бусы... Взгляды всех сортов: наивные, лукавые, случайные, нарочитые и нечаянные... Шопот, ропот, говор, галдеж, треп и гвалт... У Гошки на лбу выступили бисерины пота.

— Пойдем на лестницу, перекурим, — сказал он.

Хоть Васильцев и не курил, но вздохнул с облегчением. Достойная мужчин причина ретироваться. Оркестр в стартовом состоянии продувал свои дудки, а певичка цапнула микрофон. Они убрались вовремя. За их спинами взвыли гнусаво трубы, застонала невразумительно в микрофон певичка... Танцы начались!

— Надо бы это самое, — сказал Гошка и щелкнул себя по горлу. Еще одна достойная мужчин причина для отступления. Они нашли «это самое». И минут пятнадцать их самолюбие не страдало. Потом Колю дернуло взглянуть на часы.

— Я там одну блондиночку присмотрел, — сказал гусар Гошка и принужденно поднялся из-за стола.

Коля тоже вроде бы спохватился: мол, пока они прохлаждаются, там самых лучших девушек разберут. «Если еще не разобрали», — добавил с надеждой этот гусар.

Они вошли, как назло, вовремя. Оркестр заканчивал звонкую и затейливую мелодию. К стенам и колоннам расходились пары. И тут Николай увидел душераздирающе прекрасную незнакомку. Она стояла одна или с подругами, он не понял, но отличалась от них и вообще от всех. Это была Она. Гошка-провокактор подталкивал друга локтем: давай, давай! Коля малодушно упирался... И вдруг обнаружил, что идет через весь зал к ней. И выговаривает косноязычную формулу: «Можно-ва-разрешить...» — что должно означать: «Можно вас пригласить, разрешите». И словно потерял сознание. Потому что не помнил, как ступила она вперед, подала руку в руку, а другую положила на плечо, почти обняв его, и оказалась совсем близко — рядом.

Оркестр смолк. Девушка кивнула головой — дескать, спасибо за удовольствие — и ушла. А Коля конфузливо повернул на лестницу искать дружка, замятого Гошку.

— Провожать пойдешь? — спросил друг.

Коля пожал плечами.

— Провожать... Я даже не знаю, как ее зовут.

— Ты пригласишь ее еще раз. Это значит, что она тебе нравится. Потом она пригласит тебя. Значит, ты ей тоже понравился. Потом идешь ее провожать...

Столь исчерпывающая инструкция не оставила Васильцеву никаких лазеек. Пришлось возвратиться в зал. Снова загудели, загомонили трубы, рокотнул ударник, гитарно рывкнули струны... Уши прямо зашевелились от напряжения: что играют? Если вальс, то Коля не умел вальс. И снова внутри была жуть, и снова он принуждал себя действовать, но уже хоть что-то соображал, так как вспомнил, что не умеет вальс.

Но все! Ее уже пригласил другой.

— Во дают! — сказал Гошка. — Прямо из рук девушку увели.

У стен и колонн стояли девицы более скромные, обойденные вниманием, жертвы «естественного отбора». Коля попятился в эту печальную компанию. Ему встречу подалась девушка с таким выражением лица, что, если он не пригласит ее... Гошкина уважительная гримаса выразила, как высоко поднялся гусар Васильцев в его мнении.

Коля отработал танец чинно-мирно, в слаломном темпе. Она под стать Нинке устала перед собой руку и пресекала все его попытки крепче обнять ее.

— Молодая слишком, — определил знаток Гошка. — Пусть школу сначала кончит. Промокашка.

Нечаянная мысль о Нинке опечалила Николаю и этот танец.

— «Дамское!» — объявил тип во фраке, распорядитель-затейник.

На подмостки выскользнула певичка, и мечтательный рыдающий шлягер полился в зал.

— Я тебя спиной прикрываю от той, промокашки. И чего ты в ней нашел? — шептал Гошка. — Жди свою. Ты со мной разговаривай вроде. Вроде нам наплевать. А не пригласят — наплевать, мы курить пойдём...

— Может, сейчас пойдём, Гошка, а?

— Погоди ты. Стой. Вон моя блондинка идет. Сюда идет...

И он расплылся в улыбке. И других парней развыбирали быстро и деловито. А Колиной пассии след про-

стыл. Он огляделся: куда бы сгинуть? Курить, курить! Вместе с другими, которым «наплевать».

И тут его тронули за локоть. Она! Она рядом. Она ждет.

Следуя «великим заветам» друга, Коля пошел провожать знакомую. Он не спрашивал, где она живет, успевает или нет на последний транспорт. Даже в голову не приходили эти взрослые мысли. Они долго ехали, долго шли по гулким пустынным улицам... Препятствий для первого пункта Гошкиных заветов не было. Коля должен положить ей на плечо руку. Так наказывал Гошка. Но Коля отчаянно трусил и мысленно казнил себя. Вон показался угловой дом. Там. Он положит ей на плечо руку. Или он самый последний трус.

Дом уже рядом. Возвышается многоэтажной темнею. В одном окне свет и тень на шторах. Кто-то ходит по комнате. Коля оглядывается — свет погас. Значит, они миновали и этот дом. И выходит, он самый последний трус!

Это он мысленно клял себя, а еще приходилось говорить. Вслух. Беседовать.

Она. Я случайно попала на танцы.

Он. Я тоже по случаю...

«У того поворота! — решил Васильцев. — Там. Клянись. Обниму, и все. Да что тут такого?!»

Она. Подруги уговорили, сказали, оркестр хороший...

Он. Я тоже поддался на уговоры, а то делать нечего.

А поворот все ближе. Почти рядом.

Она. Но я не жалею, и музыка была хорошая.

Он. А чего жалеть? Я тоже рад, что вы не жалуете.

Поворот. Вот он!

Она. Я... вы... Как вам певица понравилась?

А рука уже на ее плече!

Он. Да... ага... Певица. Ничего особенного, не очень красивая.

Она. Я говорю про песни. Про голос ее...

Он. Ах, поет?! Ну конечно! Поет она хорошо. Голосом поет...

Так они шли, беседовали, а рука стала как чужая. Коля ею шевельнуть боялся. А то она заметит, обратит внимание на чужую руку: скинь, скажет, руку и прощай отсюда. И рука вроде не очень чтоб тяжелая, хотя ста-

ла как деревянная. «Быстрее бы ее дом,— думал Коля.— Вот наказание!»

В конце концов он исполнил великий Гошкин завет. Проямлил: «Можно поцеловать вас?» Она смешалась (от удивления) и сказала, как недотепа: «Ну кто же об этом спрашивает?!»

Колю бросило в жар. А?! Каков друг?! Спроси, говорит. Не спрашивают об этом! Откуда он взял, что спрашивают? Из богатого личного опыта? Или вычитал в энциклопедии?

Коля ляпнул губами куда-то мимо... Она в последний момент отвернула мордочку. Но юридически можно было считать, что он первый раз поцеловал девушку. Правда, не так... И не ту...

\* \* \*

Пришел он домой поздно ночью. «Жив и здоров»,— сухо констатировала мать. Переживала, ждала его, не ложилась. И дала понять, что в наказание «не разговаривает» с сыном. Перед работой он успел немного поспать.

Начинался тяжелый день — понедельник.

### **ПОНЕДЕЛЬНИК — ДЕНЬ ТЯЖЕЛЫЙ**

Как и было задумано, один станок не включался. Из цеха просили прислать электрика.

— Не пойду,— сказал Васильцев.— Мне не делать...

На вызов пошел лично сам Кряхтунов. Он помедлил, собирая инструменты. Рассуждал, будто сам с собой:

— Не сделать... Странно. Почему не сделать? Очень странно. Почему «не пойду»? Не хочет... Так, так...

Он вернулся быстро, минут через пять. Словно невзначай кинул на верстак щепку. Коля густо покраснел. Обозвал себя мысленно: не мог, дурак, умнее придумать, чем щепку между контактами!

Кряхтунов снова взял щепку, задумчиво подкидывал на ладони.

— Просто не знаю, что с тобой делать? Самое подходящее — это выдать тебе новую пару брезентовых рукавиц... С другой стороны, есть одно задание срочное. И фамилию я твою назвал...

В это время конструкторское бюро завода закончило разработку очень нужного аппарата под названием



«разделитель моментных пружин». Во многих приборах есть такие пружины. Каждый носит такую пружину на руке — она в часах. Стальной тонкий волос, часовая пружина.

Длина такой спирали должна быть отмерена с ювелирной точностью. Работницы с лупами и микрометрами на прозрачном столе, подсвеченном изнутри, режут спирали по эталонам. Работа точная и тонкая, очень медленная, на пределе возможностей человека. Чуть дрогнет рука или моргнет глаз, и драгоценная спираль идет в брак.

Дали задание конструкторскому бюро — автоматизировать операцию. Четыре месяца трудилась группа конструкторского бюро.

Пришла пора изготовить приспособление. Но сначала испытать на опытном образце, как двинется «пальцы рук», как зорек «глаз» аппарата, сколь он чуток и точен. И естественно желание конструктора, чтоб чертежи попали к внимательному и умелому исполнителю, который и детали сумеет выточить, и в автоматике разбирается.

— Есть у вас такой? Подберете? — выспрашивал конструктор у Кряхтунова.

Тот подумал и назвал Васильцева. Конструктор, оказывается, уже слышал про Николая.

— Это не тот Васильцев, который чего-то там со старым станком придумал?

— Он самый,— подтвердил мастер.— И голова есть у парня, и руки хорошие... Только бестолковщины пока много в нем...

— Пусть ваш парень в данном случае не мудрит,— предупредил конструктор.— Это ему не втулки на допотопном станке!

Кряхтунов, досадуя, что сорвалось очередное педагогическое задание, протянул Васильцеву чертежи.

— Это тебе действительно проверочная работа. Тонкая, сложная, не каждому по зубам. Старайся.

Николай, не ждавший подобной милости со стороны бригадира, пообещал стараться, приложить все силы, чтоб досрочно... и тому подобное.

«Не жизнь, а сплошная физика,— думал он, забравшись в тихий закуток на подстанции.— С Нинкой у меня плохо, зато работу интересную получил. Прямо тебе закон сохранения... нет, закон равновесия добра и зла...»

Да... Не прост чертеж. Ох, не прост! Даже излишне сложен, показалось Васильцеву. Но на этот случай есть присказка у его тезки Капустина: глаза боятся, а руки делают.

Набрал заготовок: медь, алюминий, сталь... Все, как указано в чертеже. В механическом цехе нашел свободный станок, закрепил заготовку. Шаркнул обдирочный резец. Летела, крошилась стружка. Эту деталь он мысленно «видел», а все вместе, в готовом виде — нет. Как они будут действовать? Ему мешало, что будущая машинка «молчит» у него в душе.

Коля выключил станок. Болванка так и осталась: половина чистая, гладкая, а половина, как и была отродясь, болванкой.

Обедал он без всякого вкуса и удовольствия. Думал... Воображал... И виделась ему машинка для резки пружин. Гораздо проще и оригинальнее, чем в чертеже. Васильцев даже заулыбался. Еще бы — такой сюрприз конструкторскому бюро!

После обеда он вынул из станка заготовку и швырнул в жестяной ящик с надписью «Брак». С удивлением взвесил на ладони пухлый альбом чертежей конструкторского бюро. Нарочно они, что ли? И стал вытачивать нечто мало напоминающее чертеж КБ...

### **ЯБЛОКИ ЗА НАРУШЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ**

Гошка пытался сманить приятеля то на танцы, то на свидание к «вот таким!» двум знакомым. Но Васильцев не поддавался. Знакомые — это одно, а Нинка — это совсем другое. А Гошка непременно станет выпытывать, что да как. Чтоб не оскорблять друга, Николай говорил — «дела». И обиженный Гошка опять исчез с горизонта.

Что касается машинки для спиралек, то дела обстояли скверно... или блестяще... кому как казалось.

Несколько дней Кряхтунов не догадывался о новой выходке своего рабочего. Но потом ему показалось странным, что Васильцев притих. Помалкивает, не советуется ни с кем. Бригадир стал присматриваться к его работе, сравнивать с чертежами. И ахнул. Сравнить с чертежом, сразу видно — бред! Кто бы мог подумать?! На таком ответственном деле! Неспроста таким тихим стал. Кряхтунов прямо задохнулся от возмущения:

— Чтоб... Чтоб сейчас же!.. Ему такое доверие, а он!..

Николай стерпел всю грозу и принялся объяснять, какой сюрприз они сделают конструкторскому бюро.

— Люди четыре месяца изобретали, думали... Инженеры, с высшим образованием. А Васильцев, что — умнее всех?

— Почему умнее? — оторопел Коля. — Я такого не говорил. Но эта машинка будет лучше, проще, быстрее...

Собрав всю волю, бригадир стал спокоен внешне. Казалось, что от этого усилия у него внутри что-то скрипнуло.

— Не надо самодеятельности. Вот и весь сказ.

С этого дня Васильцев придумал маскироваться. Для вида держал на верстаке детали легальные, а под верстаком — свои. Работал их втихомолку, собирал тайком, после смены. Вот сделает он машинку, еще спасибо скажут!

Дней через десять машинка была готова. Смена уже кончалась, и Николай заторопился на участок, где пружинки резали вручную. Попросил у одной из работниц ее заготовки на весь следующий день, объяснил зачем.

— Дорогие они, пружинки, — улыбаясь, сказала молодая женщина. — Еще затеряются по дороге. Придется с тобой идти, подбирать следом.

Ей, конечно, любопытно было глянуть на новое чудо техники. Как откажешься от такой помощи! Не станешь же объяснять... И как нарочно: только они вышли на лестницу — навстречу Нинка. Кивнула и прошла мимо.

Пружинки они насыпали в бункер-приемничек. Николай включил свое детище. «Треньк, треньк, треньк...» На лотке показались готовые крохотные спирали. Работница их измерила. Получились точно по эталону. Еще раз зарядили машинку. Она тренькала и выдавала продукцию первый сорт.

Стало на душе Васильцева озорно и весело, как бывает в предчувствии награды и благодарности. Получилось. Вот увидят машинку — в пляс пустятся.

Николай и сам не знал, что в своей машинке использовал совершенно новый принцип. И впоследствии за это изобретение он получил патент. И еще. Сравнить две цифры хотя бы: четыре месяца и десять дней. Десять дней «разрабатывал» Николай новинку и сделал собственными руками.

Он еще раз насыпал пружинки в бункер.

За этим занятием его и застал Кряхтунов.

— Все ясно! — сказал он резко. Оправданий слушать не стал. — Хватит!

На следующий день на стенде вывесили приказ. Капустин сочувственно подсказал:

— Про тебя написано.

Коля подошел к стенду. Глаза выхватили фамилию. «Объявить Васильцеву...» Он отвернулся и пошел молча прочь. По лестницам, переходам, где холодные и теплые струи воздуха чередовались, как полосы на зебре. Во дворе прислонился к холодной бетонной стене и замер. В приказе ему объявили выговор «за нарушение дисциплины и самовольство».

Через полчаса Капустин разыскал тезку. Положил на плечо руку, вздохнул:

— Рассказывай. Чего натворил? Бригадир сыпет искрами, будто в нем короткое замыкание. За что тебе выговор в приказе?

— Уйду я с этого завода, — горько сказал Васильцев.

— Мы тебя не отпустим, — сказал Капустин. — А пока рассказывай.

Коля откашлялся, слезы стояли в горле комком. Пока он рассказывал, берет Капустина передвигался несколько раз: от бровей на затылок и обратно. Под конец он усомнился:

— И эта штука работает? В самом деле? Точно по эталону? Сходи к главному механику, он тебя знает, покажи машинку.

Коля отрицательно мотнул головой. С него хватит. Никуда он не двинется. А машинку, если им не нужна, пусть выкинут. Капустин захохотал.

— Договорились. Я выкину. Ты где ее спрятал? Не спрятал? А все-таки? Под верстаком? Надо же! Пойду выкидывать. — И ушел.

Так горько Коле никогда не было. Надумал было подняться к Нинке, да вспомнил, что встретил ее недавно, она его видела с той работницей. Улыбайся, скажет, кому-нибудь другому...

Мимо деловито сновали электрокары. Тягач, надрытаясь ревом, тащил прицеп. Сновали из корпуса в корпус занятые люди... И казалось, никому никакого дела, чего тут парнишка стынет.

Он продрог. Припомнились обидные замечания бри-

гадира. Зубила и рукавицы... Подсобка. Смена давно закончилась, когда Коля вышел из проходной.

Вечером температура подскочила до тридцати восьми. Мать думала, что простуда. Как всегда в таких случаях, заварила чаю с малиной и поставила банки. Коля не сопротивлялся. Лучше уж болеть.

Он косился на ловкие движения матери. Она поднимала стеклянную колбочку, на секунду вводила в отверстие горящую ватку; мгновенная вспышка спирта, и банка присасывалась к спине.

Он попросил у матери карандаш и бумагу.

— После чая и банок нужно тепло закутаться и нос спрятать под одеяло,— сказала мать.

Карандаш и листок бумаги тем не менее принесла. Такая уж у него мать. Коля рисовал банки. Не обычные — с отверстием в доньшке. Резиновый шланг к отверстию... Вот так... В древности не знали, как получить вакуум, кроме вспышки спирта. А мы знаем. Вот и весь фокус. Любой пылесос годится...

К вечеру следующего дня температура упала. Как всегда в таких случаях, пришла слабость. Даже читать не хотелось. То решал уходить с завода, то передумывал... Когда раздался поздний звонок в квартиру, остановился на окончательном: уходить.

Тем временем голос матери произнес: «Да, Коля здесь живет...» Шорохи в прихожей. И в комнату вошел — Николай не верил — злодей Кряхтунов, собственной персоной. Неуклюже держал в руках кулек ярких осенних яблок. Смущенно топтался у изголовья, пока мать придвигала стул.

Сел, расспрашивал о здоровье. Будто ничего не случилось. Словно зашел мимоходом навестить дорогого товарища.

После обязательных слов наступило неловкое молчание. Бригадир долго искал платок, вытирал зачем-то очки, откашливался. Непривычно было видеть его в мешковатом выходном костюме.

— Ты не обижайся,— наконец сказал он.— И того... поправляйся скорей. А насчет сюрприза... Машинка у тебя получилась. Хорошая машинка. Вот они взвились там, в конструкторском бюро! А для тебя тоже готовится сюрприз.

На прощание неловкой рукой взъерошил больному волосы.

— Кто старое помянет, тому глаз вон...

На следующий день забежал Капустин. Обозвал тезку нервной барышней. Удобно расселся в кресле, вкусно хрустел бригадирскими яблоками. И, помучив тезку рассуждениями о погоде и переменах климата, поведал историю о том, как он пошел выкидывать злополучную машинку Васильцева. И как — ну совершенно случайно! — попался на пути главный механик. И будто бы главный механик сразу смекнул, в чем дело, и умолял: «Не выкидывайте машинку, товарищ Капустин, такой машинки во всем мире нет». Но он, Капустин, был тверд, помня свой уговор с Васильцевым. Главный механик почти насильно отобрал машинку при помощи других ведущих специалистов завода и уже у себя в кабинете личными своими руками разобрал и собрал ее. Тут Капустин не виноват. А кто еще присутствовал в кабинете и что главный механик высказывал по этому случаю, пусть Васильцев сам догадается.

— Дальше молчу из бескорыстной любви к сюрпризам,— заявил он.— Слово дал молчать. Капустин — хозяин своему слову. Но удержаться трудно. Поэтому я пошел.

И как ни пытался младший тезка выведать, что за сюрприз готовится — рукавицы или зубило? — Капустин остался нем как рыба.

Не успела за тезкой закрыться дверь, явилась возмущенная Нинка. Он болеет, а она ничего не знает! Если он «ходит с кем-то», то они все равно друзья. Указала строго, сколько раз надо измерять температуру, вызвалась помогать на кухне, осталась обедать. Смущало Колю одно: что значит «они друзья»?

Он пошел ее провожать, настоял на этом.

Они отчужденно стояли у ее дома. Он держал ее за руку, но боялся: вот-вот она легким движением освободит ладонь. И порвется ниточка между ними. Быстро темнело. Моросил дождь.

— Я пойду,— неуверенно сказала Нина.— Ты совсем простудишься, дождь идет...

Ее рука вяло, безвольно лежала в его ладони.

— Что значит: «мы все равно друзья»? — услышал Коля свой голос и понял, что говорит вслух.

— Тебе стало скучно со мной. Нет, подожди, не перебивай. Я слышала, что мужчине бывает скучно... с одной девушкой. Ты мне скажи, я не обижусь. Мы с тобой друзья.

Он расхохотался. Звонко и облегченно.

— Еще какие друзья!

Она сердито вырвала руку. Резко повернулась и пошла к парадной.

— Какая ты дура, Нинка! — счастливо заорал он.

За «дуру», конечно, пришлось просить прощения. Но это уже пустяки.

### **ЛАБОРАТОРИЯ ИЗОБРЕТАТЕЛЯ ВАСИЛЬЦЕВА**

На работу после болезни Николай явился без пяти семь. Остановился у дверей подстанции. Собрался с духом и шагнул через порог. Бригада была вся в сборе. По заведенному порядку Кряхтунов распределял задания на день. Выдал наряды всем. Настала очередь Николая. Кряхтунов, улыбаясь, развел руками.

— Исключен из бригады за нарушение дисциплины, — заржал Капустин.

Бригадир так глянул, что он осекся.

— Я что, я ничего... Пошутить нельзя... — пробормотал Капустин.

Кряхтунов достал из папки листок.

— «Выписка из приказа, — прочитал он. — Включить в штатное расписание завода новую единицу — «изобретатель». Назначить на эту должность... Васильцева Н. Н.»

Бригадир аккуратно сложил листок и протянул Коле.

— На память. Пусть у тебя хранится. Как сувенир.

Яркое утреннее солнце ударило в окна над Главным распределительным щитом, и они засверкали, словно кто-то по ошибке сделал их хрустальными.

Под комбинезоном, там, где лопатки, Коля чувствовал легкое щекотание. Кожа в этом месте всегда зудит, когда прорезываются крылья.

Все на него смотрели и улыбались.

Капустин подошел к тезке, крепко тряхнул за руку.

— Официальная часть закончена. Теперь позвольте вас отвести на новое место службы. — И увлек за собою тезку. Загадочно втолковывал по пути: — Лучшие силы бригады бросил Кряхтунов на это мероприятие. Меня и прочих. Лучшие материалы и оборудование. Снабжение электричеством и водой...

Заморочил младшему тезке голову. А привел к той самой несчастной подсобке. И остановился с видом фокусника.

— Прошу!

Васильцев не узнал дверь. Блестит коричневым лаком... Но не в этом дело! Перед глазами — солидная, под стеклом, табличка: «Лаборатория изобретателя Васильцева». Ни больше ни меньше.

Целую минуту Капустин наслаждался эффектом. Табличка была его личной выдумкой. Он потом рассказывал всем и каждому: «Я отчудил табличку из бескорыстной любви к сюрпризам. А когда пошли письма на наш завод с пометкой: «Лаборатория изобретателя Васильцева», это вам не фунт изюма!»

Коля распахнул дверь. И даже глаза зажмурил. Вот это да! Подсобка-Золушка превратилась в принцессу-лабораторию. Все блестит лаком, сияет никелем, сверкает стеклом и сталью. Вместо фанеры в рамках — чистые стекла. Верстак, стол, кресло, телефон, инструменты, приборы, чертежная доска...

Коля оглянулся, но Капустина след простыл. Деликатно, без стука, затворил дверь.

Коле стало страшно. В него поверили. До конца, всерьез. Он присел осторожно, неудобно на край стеллажа. И долго сидел так, с невидящими глазами.

Зазвонил телефон. Коля вздрогнул. Звонок настойчиво требовал изобретателя к телефону.

— Николай Николаевич? — услышал он в трубке. — Как вам нравится помещение? Если есть замечания, то учем...

Звонил главный механик. В голосе проскальзывало лукавство.

— Вы теперь в нашем штате. Выручайте нас. Видели, как фигурный алюминий режут? Много брака, обычные ножницы дают срез. А срез желательно иметь идеально ровным, без заусениц...

После звонка Васильцев воспрянул духом. Он на заводе нужен. Не зря будет есть свой хлеб.

Ему и в голову не пришло, что главный механик специально придумал ему занятие. Представил, как чувствует себя его новая штатная единица. И решил поднять настроение. По совести говоря, что здесь можно придумать? Ножницы — самая простая вещь: «два кольца, два конца, посередине гвоздик». Простую вещь выдумать всего труднее.

Капустин развил бурную деятельность. Везде спрашивал: что у вас заедает, что мешает жить? Есть,



мол, теперь на заводе «лаборатория изобретателя Васильцева». Там помогут.

Первого, весьма недоверчивого клиента он раздобыл в упаковочном. Упаковщик пожаловался:

— Разве это кисти? Синтетика. Нечем маркировать ящики. Волосины прилипают на краску. Раньше кисти были из натуральных конских хвостов,— брызжал старикан-упаковщик.— Какие кисти были! Не то что теперь.

— Это в два счета! — обнадежил Капустин.— Шагайте прямо в лабораторию. Не знаете где? А еще ветеран!

— Лаборатория нам без надобности,— гнул свою линию старожил.— Конюшня — другое дело.

Но перед энергичным натиском Капустина не устоял. Пообещал сходить.

— Сейчас и ходим! — взял его за бока Капустин. И препроводил к Васильцеву.

Васильцев долго не мог понять: откуда такая популярность? Что ни день — ходоки со своими нуждами.

Чем заменить конский хвост, он сообразил сразу:

— Пульверизатор будет удобнее?

— И точно! — удивился старик.— Простое дело. Тем более трафарет у нас постоянный.

Гораздо дольше пришлось ломать голову над задачей главного механика.

Васильцев понимал, что в простоте — сложность. Что может быть проще ножниц? Разве что гвоздь. Или колесо...

Где-то он вычитал занятную историю с колесом. Сотни лет оно не менялось: просто диск или обод на спицах. Гремели колесницы, кареты, телеги — по ухабам сражений, грязи дорог и булыжникам. Потом один английский садовник сообразил для сына велосипед. И додумался обтянуть обод резиновым шлангом. Наверно, его раздражал гром и скрежет сыновней машины. Профессия у него тихая все-таки...

С тех пор человечество бросилось добывать резину. И колеса обувать шинами.

Садовник подарил сыну велосипед на резиновом ходу.

Васильцев подарил любимой девушке — ножницы. На Восьмое марта (главному механику, родному заводу и остальному человечеству — само собой!).

Идея пришла ему в голову, когда он искал подарок. В отделе тканей. Продавец резал ткань мастерски. Он просто раскрывал ножницы, подводил к ткани и — р-раз — распластывал кусок надвое.

Но алюминий не ткань. Режущие кромки должны двигаться — и не должны двигаться. Элементарное противоречие.

Николай это противоречие решил. И подарил Нине. В изящной коробке лежали ножницы. И к ним документ на толстой гербовой бумаге с водяными знаками и символической сургучной печатью. Так выглядит авторское свидетельство, патент.

Нина полюбовалась документом, прочитала: «Авторское свидетельство. Выдано Н. Н. Васильцеву. На изобретение: ручные дисковые ножницы».

Не всякая девушка может похвастать таким подарком к Восьмому марта.

Нина открыла коробку. Там лежала изящная никелированная вещица. Драгоценная. Не потому, что дорого стоила. Какое-нибудь серебряное колечко или янтарные бусы стоят дороже. Но эта вещица была единственной в мире. Нина порозовела от удовольствия и гордости.

— Это ножницы? — с притворным возмущением сказала она. — А где же то, чем режут?!

Нина имела в виду «два конца». Они отсутствовали. На их месте вращались два стальных диска с остро отточенными краями. Диска соприкасались друг с другом. Если к точке касания подвести бумагу или материю, диски легко, с двух сторон, накатывали на лист или ткань. Разрез оказывался идеально ровным и чистым.

Дисковые ножницы с удовольствием резали жечь, алюминий и даже марлю, в которой застревают обыкновенные.

Однажды главный механик продемонстрировал «ножницы Васильцева» даже в главке, на совещании. И не рад был тому, что сделал. Посыпались письма с просьбами выслать техническую документацию. Дисковые ножницы вдруг понадобились всем.

Коллектив «лаборатории Васильцева» состоял из одного человека. Он — изобретатель, чертежник, слесарь и он же — конструкторское бюро. Есть такая присказка: и чтец, и жнец, и на дуде игрец. И поначалу «коллектив» справлялся с делами. Но после ножниц Коля увлекся модернизацией целой серии инструментов: от-

вертки, гаечного ключа, молотка... Понятно, что инструменты Васильцева отличались от известных всем инструментов.

Во-первых, формой. Они напоминали детское увлечение Коля — электрический пистолет. У всех — прикладистые револьверные рукоятки. И абсолютно мирное назначение. А принцип действия для всех — сжатый воздух.

«Пистолеты» сами откручивали и закручивали гайки, забивали скобы... Главный механик распорядился обеспечить «лабораторию» линией сжатого воздуха.

«Пистолет» для изготовления и забивки скоб запросили из Болгарии. Оказалось, что при помощи этого инструмента можно легко и быстро сколачивать ящики для фруктов. «Я теперь с первого взгляда определяю, откуда помидоры, — говаривал Капустин, — мне стоит только взглянуть на тару...»

Отовсюду шли письма, уже с пометкой: «Лаборатория Васильцева». А рук в лаборатории было только две.

Как говорится, в один прекрасный день в лабораторию постучал Капустин. Заглянул.

— Можно?

Коля удивился: с каких это пор Капустин стучится в дверь? Да еще с таким официальным выражением на лице! Капустин посторонился и в лабораторию вошел... Гошка.

— Гошка! — удивился и обрадовался Васильцев. — Как ты сюда попал?

— Распределили на наш завод, — доложил Капустин. — Товарищ закончил техникум.

— Я сам попросился на ваш завод, — поправил Гошка важно. — Колька здесь работает, Нинка, другие знакомые. В отделе кадров сказали, что в одной лаборатории чертежник-конструктор нужен. Оказалось — и ты здесь. Здорово! Я чертить буду, а ты по моим чертежам работать.

Капустин хмыкнул и сказал строго:

— Есть одна поправка. Тут распоряжается начальник лаборатории. Ему решать, кто делает чертежи, кто по ним работает.

Гошка пожал плечами.

— Конечно. Я прочел на табличке: Васильцев. Однофамилец Кольки. Где он?

Васильцеву тоже невдомек было: о каком таком начальнике идет речь? Кого разыгрывает Капустин? Тот

просто жмурился от удовольствия. Впрочем, он тотчас вернул лицу официальное выражение.

— Позвольте вас познакомить. Это — начальник лаборатории Николай Николаевич Васильцев. Я с нынешнего дня назначен его заместителем по... гм... электротехнике и слесарной части. А это наш новый чертежник. Парень, видно, хороший... Но для его же пользы нуждается в воспитательных приемах одного знаменитого педагога по фамилии Кряхтунов.

При упоминании бригадира Гошка помрачнел. Коля не сдержал улыбку. Капустин отступил на шаг. Не часто выпадало на его долю произвести такой эффект. Грех ему было хоть что-нибудь упустить.

Молчание длилось долго. Слишком многое сразу изменилось. И для Васильцева, и для его друга Гошки. На лице «гусара» отражалась внутренняя борьба. Его сюда направили серьезные люди из отдела кадров. Очень перспективная лаборатория, сказали там. Он уже предвкушал, как будет хвастаться перед Колькой. И вот... Какой-то Колька Васильцев — его начальник. Нет, это, конечно, здорово, что его школьный друг стал начальником и все такое...

Коля обнял приятеля за плечи.

— Посмотри на меня. Я похож на начальника? Капустин все это, наверно, выдумал. Ты его узнаешь.

— Приказ висит,— оскорбился Капустин.

— Все равно. Какой я вам начальник! Вместе будем изобретать, думать, делать... Ты решай сам, конечно. Но я буду рад, если ты останешься. Помнишь электрический пистолет? Держи другой. Этот стреляет по-настоящему. Заклепками.

И подтолкнул приятеля к стеллажу.

Гошка остался в лаборатории. Он оказался совсем неплохим чертежником.

С его приходом на подоконниках появились горшки с цветами, в большой кадке росло лимонное дерево. С этим деревом происходили разные казусы. То на нем апельсин висит, то помидор, то перцы. И Капустин удивлялся этому больше всех.

### **СЕКРЕТЫ ДЛЯ ДРЕВНИХ ИНКОВ**

С тех пор как человечество себя помнит, всегда были изобретатели. Одни люди изобретают, а другие пытаются понять: как же это им удается?

Вот этот таинственный изобретатель собрал морщины на лбу... прищурил глаз — и готово изобретение?

Гошка часто приставал к другу с таким вопросом. Требовал инструктажной точности. В свое время он открывал другу и не такие секреты!

— Думаешь... мечтаешь... воображаешь... Нет, не то! Не совсем так... Я не знаю, как объяснить,— сокрушаясь, признавался он.

— А ты старайся запомнить! Запоминай, как думал. И расскажешь в следующий раз! — строго наставлял Гошка.

Скоро представился такой случай. На ВДНХ, в Москве.

«Инструменты Васильцева» заслужили такую честь. Им отвели специальный стенд в одном из павильонов Выставки достижений народного хозяйства. Все, как мечталось когда-то: «Знаменитый изобретатель Васильцев прибыл в столицу...» Толпы зрителей рассматривали стенд, который напоминал демонстрацию диковинного оружия. Так выглядели его инструменты, которые сами завинчивают, ставят скобы, клепают... Стоит только приложить их к цели.

И еще случилось то, о чем даже и мечтать не смел. Его наградили Золотой медалью ВДНХ.

Он жил в гостинице. И теперь, когда ложился спать, вешал пиджак на стул, а стул подвигал к изголовью таким образом, чтоб видеть эту награду — золотой кружок на алой муаровой ленточке.

Здесь, в гостинице, Коля познакомился с другим изобретателем. Тот оказался завзятым аквалангистом. Давно носился с мыслью: дать аквалангисту скорость, механический движок. Оригинально сообразил про баллоны со сжатым воздухом. Сжатый воздух — это аккумулярованная энергия.

— Слышал, что у тебя есть собственного изобретения микродвигатель. Мне бы для этой цели он очень пригодился.

— Точно, есть,— подтвердил Васильцев, не торопясь с подарком: бери, мол, я себе другой сделаю.

Скупость здесь ни при чем. Просто уже включился какой-то особенный механизм мозга.

И вот он представляет себе море в теплый солнечный штиль, фигуру аквалангиста в прозрачной глубине. На нем моторчик с лопастями, вроде настольного вентилятора. Винт работает...

Уже вроде сам Васильцев и есть этот аквалангист. И ему неудобно, неловко плыть с таким вентилятором. На спине — неудобно, на поясе — елозит... Не в руках же его держать! Руки должны быть свободны.

Прокрутил Николай такую широкоформатную, цветную и даже осязаемую киноленту, где он увидел и моторчик, и винт... И все это за секунды. Спрашивает коллегу:

— К ногам, что ли, винт крепить?

И друг-изобретатель легко узнает интонационный знак: товарищ включился думать. Под этим разумеется, что моторчик он, конечно, даст. Но и просителю не мешает прокрутить в воображении эту самую киноленту.

У коллеги на лице сожаление.

— Может, на ласты движение? — хватается он за последнюю возможность. — Пусть моторчик ластами двигает.

Васильцев кивает. Снова картина в воображении: соединил ласты с двигателем при помощи рычагов. Нет... Тоже плохо.

— Тогда не знаю, — сдается новый его знакомый. — А жаль.

И была в его тоне просьба: подумай, мол, дело стоящее.

Они поговорили о том о сем и расстались.

Следующий «сеанс мысли» — если Гошке так интересно — произошел на одной из аллей выставки. Коля проголодался и решил перекусить. Но тут же забыл об этом. И почти не замечал, где идет. Все внимание сосредоточилось на задачке.

Мысли, образы бегут раскованно: море, плеск волн, аквалангист режет воду... Ласты стремительными взмахами несут тело. Это образ незавершенный, еще без решения: как они движутся, ласты, чем?

Дорожка привела его к дальней стене. На той стороне угадывался большой тихий парк. Оглянувшись — никого нет, — Коля ухватился за выщербину и перемахнул через ограду. Представил себя со стороны: изобретатель! серьезный человек! в чинном костюме! с Золотой медалью на пиджаке! — через забор... Расхотался... И снова — ласты, море, воспоминания раннего детства...

Огромный корабль сходит со стапеля... Нет! Не то. Здесь — «холодно»: корабль, винты.

«Горячо — холодно», как в детской игре. «Горячо —

холодно» — вроде компаса в голове: куда думать, в какую сторону.

...Дворник в брезентовом фартуке бежит за мальчишкой. Даже бросил шланг, которым поливал асфальт. Нет, совсем странно, при чем здесь Кузя? Нашкодил тогда и бежать в подворотню. Это — «холодно». Но где-то близко — «тепло»! Николай это чувствует. Чего Кузя тогда отмочил? А! Наступил на шланг. Дело давнее... Зря вспомнилось. Но интуиция подсказывает: «Тепло, очень тепло!» С какой стати «тепло»? Человек поливает улицу, а пацан наступил на шланг.

На тротуаре — брошенный шланг. Образ этот зрим и отчетлив. Всего остального нет. Погасло все остальное. Шланг! Из шланга — струя воды. И на конец шланга... Вот! Горячо! Конец шланга, как маятник, сам собой мотается вправо-влево. Это и есть решение!

Можно замкнуть воду на сжатый воздух. Шланг будет продолжать мотаться. Можно расплющить конец шланга, и это уже ласт!

Снова море в воображении, голубая глубина. Аквалангист, ласты... Из их кромки вырывается кипень газа. Пусть ласты машут во славу дворника дяди Васи. Даже имя вспомнилось. Жил в их доме, любил поливать асфальт.

Все подробности изобретения ласта Коля доложил Гошке.

— И через стену надо прыгать? — поддел заклятый друг детства.

— А я откуда знаю?! Когда я об землю треснулся, у меня даже зубы лязгнули.

— Наконец я понял! — глубокомысленно изрек Гошка.— Но лучше обойдусь. Слишком вредно для здоровья — изобретать.

Капустин изготовил ласт. Он напоминал величиной и формой хвост русалки. Ласт подключили к шлангу со сжатым воздухом. И он принялся носиться и прыгать, как живой.

Весь коллектив лаборатории, уже в количестве пяти человек, с удовольствием созерцал бесчинства русалочьего хвоста. Капустин дал всем полюбоваться и закрыл вентиль. Положил ласт в картонную коробку и написал адрес аквалангиста.

— Знай наших! А что, если... к моторной лодке приделать ласт? Вместо мотора. Вдруг у лодки скорость прибавится?

Коллектив одобрительно загалдел:

— А что? Идея!

— Купим катер, хвост приделаем и вместе в отпуск.

— Или массажный аппарат,— сказал невпопад Васильцев.

Его обступили с расспросами.

— Где-то я слышал... Кто-то жаловался, что в поликлинике очередь к массажисту... Я еще плохо представляю себе. Но можно искусственные пальцы... Сжатый воздух и вакуум...

После работы зашел в поликлинику. К массажисту действительно рекордная очередь. Не пропустили без номерка.

— Зачем мне брать номерок, если я здоров? — убеждал Коля граждан.

Пришлось идти к участковому врачу.

— На что жалуетесь? — спросил тот.

— Я по поводу массажа,— начал объяснять Николай.— Посоветоваться, узнать о целебных свойствах, какие движения рук?..

Врач тем временем заполнил формуляр на Васильцева.

— Раздевайтесь.

Коля послушно подставил спину и вздрогнул от холодного прикосновения стетоскопа.

— Зачем вы меня прослушиваете?

— Легкие у вас чистые...

— Конечно. И ничего не болит. Я здоров.

Постепенно Васильцев выяснил все тонкости массажа, секреты забытого мастерства, начитался специальной литературы.

Потом «собрал морщины на лбу, прищурился...» И — авторское свидетельство...

Аппарат работал с таким эффектом, что ему бы позавидовал классный массажист-мастер. Не случайно зачастил в лабораторию Кряхтунов со своим ревматизмом и отложением солей. Он ложился на клеенчатый медицинский диванчик, притворно ворчал:

— Давай экспериментировать на живой душе, изобретатель!

Началось паломничество на завод медиков, а кончилось тем, что массажные аппараты поставили в план заводу.

Снова пришлось увеличить штат и раздвинуть границы «лаборатории изобретателя Васильцева». В от-



дельной комнате помещалось собственное конструкторское бюро. Куда и перекочевал Гошка со своим кульманом.

Николаю было жаль расставаться с бывшей подсобкой. Ему отгородили стеклянной перегородкой угол. Рядом весь день шумели и стрекотали станки, но этот шум не мешал, даже был приятен. И сам «начальник», кавалер уже трех Золотых медалей ВДНХ, любил постоять за станком.

— Руки зудят? — ворчал тогда на начальство Капустин. — Доложу твоей жене, что ты ерундой занимаешься. Тебе думать, думать надо, изобретатель!

Коля улыбался на эти шуточные угрозы: Нинка Васильцева все понимает правильно.

Но иногда... Он «прищурится, соберет морщинки на лбу...» — и целыми днями возится с какой-нибудь занимательной штукой, вроде «инерционника». Сам выточил, сам собрал. Два пустых диска, два стальных шарика, струйка сжатого воздуха...

«Инерционник» бестолково мечется по столу. Но таится в нем — никому не дается в руки — движение осмысленное. Таится в нем, как мечтает Васильцев, двигатель для машин, судов, самолетов. Без бензиновых выхлопов и реактивного рева.

И до Васильцева ломали над этим голову, и сейчас ломают. Чувствуют тайну «инерционника». Как подозревали когда-то тайну пара и электричества, телефона и радио. Чувствуют тайну многие. Кому удастся ее открыть?

\* \* \*

Как известно, у древних инков не было колеса. Таскали они волоком каменные глыбы, пыхтели, надрывались. Но строили из этих глыб астрономические обсерватории, сложности и точности которых поражаются до сих пор.

Однако так и не придумали колеса. Этому удивляются еще больше. Почему? Почему такая развитая цивилизация не сообразила совсем простую вещь — колесо?

Да очень просто! Не случилось жить в то время Коле Васильцеву. Он придумал бы, конечно, колесо этим инкам. «Собрал морщины на лбу, прищурил бы глаз...» И готово!

**ЛАДОГА,  
РОДНАЯ  
ЛАДОГА...**



**Вячеслав  
Всеволодов**

**рассказ**

Воду Ладоги из шелома  
Не испить ему, не испить,  
Совершенного не избыть,—  
Ах, отстал он от эшелона.

*Александр Межиров*

Неуютно и сиротливо Прохору в собственном доме. Вечерами неведомая ранее тревога сгоняет с дивана, заставляет кружить по комнатам, отпихивает от сумеречного окна... Прохор то и дело растирает лопатистой ладонью широченную грудь, но тревога не утихает. Она властвует неотвратимо, превращаясь в страх, в неосознанное ожидание беды.

Прохор жадно глотает коричневую микстуру, роняет пузырек и забывает о нем, потом стоит, дышит с крыльца вечерней пустотой, глушит душевный неуют едким дымом самосада, который слюнявит губами, пока не ущипнет их огонь, и в конце концов одним махом глотает полстакана водки. Но не легчает... Хмель не берет, как бывало, беспричинным весельем, а лишь затуманивает, тяжелит голову и тело.

Прохорова маета расшатывала весь дом. Назойливо скрипели половицы, квакала в ответ им в серванте посуда, чертыхалась жена и противно потрескивал телевизор, словно все помехи разом оседлали одинокую крышу на краю поселка, притиснутого шоссеиной трассой к самому лесу. Чуждыми и бесцветными казались Прохору теперь и дорога, и лес, и застенчивая благодать северной осени.

— Угомонись ты! — зыкнула Катерина, когда Прохор вновь побрел на кухню, волоча ногой пеструю дорожку половика.

— Тошно мне,— выдохнул он всем нутром, да так и застыл: вот она, угаданная еще месяца три назад, сердечная хворь.

Обеими ладонями Прохор жал на грудь, желал вы-

давить, как чирий, и боль, и страх, созревшие в нелепую беду. Он тужился позвать жену, но голос, едва родившись в горле, ледяной болью занозил сердце.

После Прохор слышал приглушенный разговор на крыльце. Их молоденький терапевт-практикант Витька по-профессорски деловито говорил Катерине:

— Инфаркт... Надо бы в больницу.

— Ага,— округло «агакала» Катерина.

— Но сейчас транспортировать его опасно. Пусть пока дома полежит.

— Ага,— согласилась жена облегченно.

— Только полный покой и строгий постельный режим.

— Ага,— заверила Катерина.

— Курить не разрешается. Почаще проветривайте...

— Ага,— теперь она испугалась.

— А завтра я обязательно найду. Сейчас пусть спит, больше спит.

Но не спал Прохор на высокой кровати. Со всех сторон подоткнутый и подложенный подушками, смог-рел он в доски потолка, на которых желтый круг придорожного фонаря обозначил окно с призрачными яблоневыми ветками. Хотелось курить, но Прохор боялся. Чудилось, что любое шевеление убьет его. А смерть могла украсть его — слишком уж тихо в доме. Ночь. Только Катерина чутко похрапывает на диване, и ее размеренное дыхание стало Прохоровой надеждой — дожить до рассвета.

И кой черт дернул меня за теми цветами?! Толку с них? Ни достатка, ни убыли. Нет же — хапнул. Дурь натуральная: всё в дом, в дом! Вот и инфаркт хапнул, а на что мне?! Что, своих цветов мало?! Сколько хочешь! И уж куда лучше магазинных! А все из-за погреба. Пропади он пропадом! Чего надо, чего надо-то? Все исправно: хозяйство свое, пенсия, да и рынок не без дохода. Живи — не хочу! Так нет, в какой кювет угодил! Хорошо, что еще не отлупили.

Прохор, размышляя, непременно бубнил слова, и сейчас, хотя лежал окаменело, все же пузырил звуками, проклиная прожитые в суете и страхе три месяца и свою редковолосую голову-бестолковку.

Опасливо он вздохнул поглубже: тяжесть отпускала. Настороженно упираясь рукой в кровать, Прохор перекатился на бок. Теперь видно окно, за ним сад в сиротливом свете ноябрьской луны. А там, за теньями яб-

лонь, в углу, где прорван штакетниковый частокол, земляной опухолью казался погреб...

Блиндаж у дороги был надежным настолько, что, решив устроить в нем погреб, Прохор даже не затевал больших дел, а лишь залатал провалы в стенах кубиками дерна, набросал досок псверх прорехи в накате и засыпал землей. Год-два простоит, и хорошо, а там видно будет. Пока он проделывал нехитрый ремонт, Катерина выгребла разный мусор, нанесенный временем и поселковыми мальчишками, и сама, не дожидаясь мужа, сколотила грубую, но надежную дверь. Вместе они навесили ее на петли и удивились, что все дело не заняло и дня.

Что было раньше в блиндаже, Прохор не знал, но сразу понял, что тот с последней войны: стены и пол бетонированы и даже когда-то побелены известкой или мелом. Присматривался к блиндажу Прохор давно, но все как-то руки не доходили, а тут год выдался урожайным, вот и решил приспособить бесхозные стены под погреб. Поначалу радовался сделанному. Хотя и неказистый погреб (двери бы двойные поставить!), а все же для яблок сойдет, которые обычно зимовали на веранде в ящиках и мешали самому любимому Прохорову увлечению — цветам.

Еще в полузабытом детстве любил Прохор цветы, но не полевые, а те, что заботливо растила бабушка в шатких самодельных парниках, коричневых горшочках и даже в старых кастрюлях. Называла она их сокращенно и ласково: «хризы» — хризантемы, «тюли» — тюльпаны, «гера» — герань, но больше всего лелеяла свои «глади» — гладиолусы. Осенью выкапывала желтенькие луковицы, по одной осторожно укладывала их в коробочки, засыпала песком и зимой часто посматривала, что-то шептала, словно колдовала над будущим чудом, которое весной вырывалось на бабушкиных клумбах зелеными ножичками листьев, а затем — крепкими мощными стеблями и цвело... Как прекрасно цвели бабушкины «глади». Порою они были выше Прохора, и он любил губами собирать с них утреннюю росу, хотя частенько получал за это бабушкины подзатыльники и целую россыпь незлобивых проклятий. Но жизнь Прохора сложилась так, что лишь к закату судьба выделила время для этой затаенной страсти.

Долгими часами мог он перебирать семена, луковицы, нежные стебельки рассады. Как и бабушка, Прохор

раскладывал их по пакетикам и мешочкам, рассаживал в коробочки, чашки, стаканы и ухаживал за своим чудом пристрастно и ревниво, не допуская к ним даже Катерину. А когда ранней весной на веранде зацвели первенцы, Прохор без усталы готов был передвигать ящики с яблоками, переставляя их из угла в угол, лишь бы больше солнца и тепла досталось его питомцам. Он даже не смел курить на веранде, а лишь наслаждался еле ощутимым ароматом своих ранних февральских весен. В эти минуты он чувствовал себя богом, а не кражистым и скупым пенсионером.

Здесь же, на веранде, подолгу задумывался Прохор о прожитом. Родной его дом был раньше в соседней деревне, но в войну сгорел в первый же месяц. Пришлось, собрав остатки хозяйства, перебраться с Катериной в город. Но первая же ночь остановила их в окраинном пустом доме этого поселка. Как-никак, а в деревне все сытнее, чем в блокированном городе. На эту войну Прохора не призвали. Еще с финской кампании вернулся он полузрячим. С тех пор тяжелые очки с толстыми выпуклыми стеклами словно приросли к его лицу. До ранения Прохор был шофером, после работал, как мог и где придется, но без дела не сидел ни дня. Руки его знали много разного труда. А здесь по дороге еще и после блокады катились старенькие полуторки. Они часто ломались, застывая у обочин,— Прохор чинил их. Так постепенно и наладилась жизнь.

Кончилось время полуторок, потом пошли ГАЗы, ЗИЛы, наконец, зашуршали по дороге заказные и экскурсионные автобусы. Лишь изредка застывал у обочины какой-нибудь «частник» в «Запорожце», но новые машины Прохор знал хуже, да и накопленные за войну от разбитых машин запчасти к ним не подходили. Пропала выгода хранить их в сарае, пропал и этот придорожный заработок. К счастью, пенсии все же хватало на хлеб и мясо. Закончила с почетом и Катерина свою доярскую биографию. Две пенсии и хозяйство внушали спокойствие и умиротворенность.

Порастал новой травой блиндаж, новыми заботами полнилась жизнь в доме у обочины. Прохор давно свыкся с тем, что блиндаж на его земле, в его хозяйстве, и однажды придвинул к нему забор, оставив за пределом сада лишь половину травяного бугра, под которым хранились пузатые бочки с капустой и огурцами, мешки с картошкой и душистые ящики с яблоками. По-

греб получился сухой, теплый и полный разной снеди, как и весь дом Прохора. Кроме горластой ватаги мальчишек, на это никто не обиделся, но и те мальчишки выросли, перестали играть в войну и постепенно забыли о былом пристанище послевоенного детства.

Первое призрачное предчувствие беды кольнуло в последние дни недавнего августа. Как обычно, поднялся Прохор с рассветом и, покуривая, бродил в предутреннем тумане. Придирчивым взглядом осматривал сад, примечая дела на полный день. А дел этих всегда хватало! Хоть и немного земли вокруг Прохорова дома — соток двенадцать, но вся вскопана и, как плитка шоколада, разделена аккуратными тропинками на прямоугольные грядки и клумбы; каждая сотка рожала что-нибудь для хозяина. Когда Прохор заканчивал традиционный обход, то в первых лучах солнца заметил у погребка каких-то людей. Среди них выделялся один в военной шинели.

— Эй, чего надо? — неласково крикнул Прохор и направился к погребу, словно поплыл на розовых волнах картофельных цветов, широко размахивая руками.

— Вы хозяин? Здравствуйте! — Человек в голубоватой шинели поднялся навстречу по накату погреба и оказался выше забора и выше Прохора, словно взлетел над горизонтом.

— Здорово! — Теперь Прохор видел, что перед ним полковник. — Зачем пожаловали с утра пораньше?

Военный уверенно сошел в сад, ловко перемахнули через погреб остальные — молодые парни, но по одежде явно не сельские. В селе-то осенью в будний день большинство в ватниках, а эти в куртках и спортивных шапочках на манер петушиных гребней.

— Я из исторического музея, — представился полковник. — Мы хотим восстановить этот блиндаж. Здесь будет мемориал.

— А чего восстанавливать — он в порядке... — буркнул Прохор.

Дальше он слушал рассеянно, осознав лишь главное — они хотят отобрать погреб. Мысли путались в его старческой голове. Слова «мемориал», «музей» и три звезды на погонах полковника были убедительнее всяких документов. Прохор знал, что дорога через поселок — это мемориал, а в десятке километров от дома, на берегу озера, — музей. Но какое ему до этого дело?! Он не желает, чтобы из его обжитого, теплого в любые

морозы, уютного ковчега делали музей, куда начнут приезжать туристы, экскурсии, а значит — многолюдье, суета. И Прохор решил бороться за свое кровное хозяйство, за каждый метр любовно вскопанной земли и, конечно, за погреб, поднятый собственными силами из развалин и ставший неотъемлемой частью его дома.

Дальше Прохор не слушал. Он повернулся и зло зашагал к дому, не замечая, как хрустят под сапогами картофельные стебли, которых тревожно ожидал в нынешнее сырое лето.

Нигде не хотели слушать старика. Директор совхоза попросту отмахнулся — не мое дело, в музее Прохору долго и путанно объясняли историческое значение создания мемориала, но в итоге посоветовали ехать в Ленинград, в Музей истории города, а в поселковом Совете даже рассмеялись, но, правда, обещали, что с другой стороны сада добавят земли вместо отторгнутого для мемориала куска.

И вот теперь в углу сада постоянно копошились люди, приезжали машины, вырос штабель новенькой «вагонки» и дымился паром бетон. А оголенные молодые парни голосисто перекрикивались на весь поселок, но дело двигали споро. Новые хозяева вынесли пузатые бочки, сняли тяжеленные двери, разобрали накат и неутомимо вытаптывали вокруг блиндажа картофельные ряды. Прохор смолчал, но все гуще мрачнел, как сентябрьский лист. Частенько кололи его спину усмешки незваных гостей. Неумолимо приближалась к сердцу беда.

Но однажды затеплилась надежда в душе. Родилась она в конце октября, когда Прохор аккуратно собирал яблоки в отяжелевшем саду. В это звонкое румяное утро и приехал полковник, чтобы посмотреть на работы, да и зашел к нему. О делах Прохор любил говорить обстоятельно. Пригласил полковника в дом.

— Вы ведь фронтовик, Прохор Карпович? — спросил гость, присаживаясь на гнутый «венский» стул, какие сейчас не в каждом комиссионном магазине встретишь.

Прохору польстило, что полковник заранее узнал и запомнил его отчество. Значит, дело важное.

— Да, воевал я в финскую... — ответил Прохор, наливая гостю рюмку домашней настойки.

— А после?

— А после?.. А потом — ранение. Жил, как умел. Всю блокаду здесь вот... — медленно проговорил Прохор, пытаясь угадать, к чему это клонит полковник. Не любил Прохор, когда спрашивали о военном времени. Не жуть артралетов, не бомбежки, к которым все же привык, возвращались из глубин памяти, а взгляды — бессловесные вопросы ленинградских детей, эвакуированных по ледовой трассе. Те немые вопросы ощущал он, как собственную вину — вину непричастности к шоферам полуторок, пробивавшим снежные заряды на дороге, где у обочины жил Прохор. — Я часто думаю, полковник, что там хорошего-то было?! Мороз, грязь, кровь и смерть?.. О бомбежках да голоде уж и не говорю, а как вспомню — сердечко ноет, вроде как тянет туда... Ты ведь, поди, и сам воевал?

— Воевал... И в финскую, и в Отечественную — на Украинском, а потом здесь — под Ленинградом.

— Так давай выпьем за наших ребят, за вечных друзей.

Они молча выпили, разом закурили, думая каждый о своем, но все же об одном — о пережитом.

— Ну а сейчас как живете? — спросил полковник.

— Сейчас хозяйствую. Пенсии хватает, и земля многое дает.

— Прохор Карпович, а не согласились бы смотрителем музея поработать?

— Смотрителем? — удивился Прохор. Он плохо понимал, что значит смотритель музея. — Сторожем, что ли?

— Ну вроде этого. Будете с женой за блиндажом присматривать. Когда кто придет, откроете, ну и вообще... Ведь мы такое дело задумали! Комсомольцы уже двери красят. Установим мемориальную доску, аппаратуру, макеты кое-какие привезем...

— А что за музей-то? Мне толком никто не рассказывал.

— А здесь, Прохор Карпович, пункт связи был. Но в первые же дни войны его разбомбили. Геройские девчата тут погибли, а ведь, если строго говорить, с таких вот блиндажей наша Дорога жизни началась. Вот так... Ну а вам за смотрительство музей платить будет. Ведь и это не лишнее? — пошутил полковник.

— Платить — это, конечно, надо. Это хорошо... — размышлял Прохор вслух, но думал о другом — как же он всю жизнь, считай, здесь прожил, а о связистах и не



слыхал даже?.. — Да и не слишком ли суетно? Надо прикинуть...

— Я думаю, что согласитесь,— сказал полковник, пружинисто поднимаясь.— Вы подумайте, с женой посоветуйтесь, я еще заеду или прямо к директору музея загляните — он в курсе дела.

— В город ехать?

— В город не надо. На Ладоге музей, конечно, знаете? Любая попутка за пять минут довезет.— И, аккуратно замаяв в пепельнице папироску, полковник ушел.

Наверняка согласился бы старик и не только из-за почудившейся выгоды... Но случай опять распорядился неожиданно и жестоко.

Проводив полковника, остановился Прохор у окна в сад поразмыслить, прикинуть, что и как. И вдруг увидел, как парни, собравшиеся уже было уезжать, безжалостно трясут яблони. Ладно, если бы хапнули десяток яблок, не жаль — это Прохор еще и простить мог, а тут эти здоровенные телки нагло хохотали под яблочным дождем. Ничего страшнее, казалось, не слышал Прохор. Он выскочил в сад, захватив в сенях самодельные широкие грабли. Но проучить похитителей Прохор не успел. Они заметили его раньше.

Браниться Прохор не умел — пользы в том не видел. Он молча вернулся к дому, схватил корзину и отправился собирать с земли недоспелые плоды своих трудов. Прохор близоруко шарил в жухлой траве, отыскивая каждое яблочко, ползал на коленях — жалкий, оскорбленный, униженный. Парни видели его с высоты восстановленного блиндажа. Один из них стыдливо сказал:

— Зря старика обидели. Спросили бы... Что? Не угостил бы?

— Этот угостит, жди! Граблями по спине — это он может. Слыхал — за землю свою как торговался? Куркуль! А ну его! — ответил второй, но и в его голосе чувствовалась какая-то стыдливость.

Замер Прохор на коленях. Кровь в висках застыла свинцом, голова отяжелела. Закоченели растопыренные пальцы, впилась в рыжую траву, но руки не удержали, и старик медленно опустился на грудь. Как на булыжниках, лежал Прохор на яблоках и бессильно рыдал.

— Вот она — вина моя, вот... Яблоками вызрела... Куркуль! А? Я — куркуль?!

Так и лежал бы он неизвестно сколько, но вышла на крыльцо Катерина, сначала напугалась, увидев мужа на земле, а потом ласково отвела в дом.

К вечеру обида поутихла. А вскоре и вовсе забываться стала. Дом обогрел накопленным теплом, приветил чистотой и уютом, а тут еще Катерина не поскупилась — поднесла к завтраку рюмочку. Так привычный быт взял верх над всеми обидами. Но, когда через несколько дней вновь пришел полковник, не впустил его Прохор, даже дверь не отворил, а махнул рукой в окне: мол, уходи...

Так прошел сентябрь, за ним прошумел красным листопадом октябрь. Много разных дум перебрал за эти месяцы Прохор. Возвращались к нему и детство, и юность, но ярче всего помнилась Карелия, где вопреки природе зародился в его душе топкий мох страха. Пожалуй, не чувствовал он его только в первом бою. А потом застывшие взгляды убитых, красный с белыми пятнами снег завладели сознанием и не отступали ни на минуту, не давали выкарабкаться из трясины ужаса безжалостной войны. Каждый взрыв казался неотвратимой смертью, а ведь совсем недалеко — в нескольких часах езды — жил мир и покой, трезвонили по рельсам трамвай, работали телефоны, суетились такси, а среди них кто-то водил и его машину. Нет, погибнуть здесь, в топком снегу, казалось нелепостью... И судьба помиловала его, отметив на память четыремя ранами, не будь которых, кто знает, может, суждено ему было погибнуть, не испив до дна тыловую чашу последней войны.

...К Ноябрьским праздникам блиндаж восстановили полностью. Забетонировали стены и пол, заменили тройной накат, закрепили мраморную доску над входом.

И когда Прохор увидел все это — понял окончательно, что нет у него больше этого клочка земли, нет ни погребя, ни бывшего покоя. А часов в десять утра у обочины дороги выстроились машины: автобусы с широчеными стеклами, «Волги», «Жигули» и даже пара военных «газиков». Послушный взвод молодых солдат-связистов с натренированной ловкостью преобразовал бортовую машину в красную трибуну, натянул провода, повесил репродукторы: один — над блиндажом, а второй — на фонарном столбе, над самым окном дома. За всей этой праздничной суетой Прохор наблюдал настроенно и заинтересованно.

Катерина возилась на кухне и изредка восклицала, обращаясь то ли к мужу, то ли к самой себе:

— Гляди-ка, генералы прикатили! А из трубы-то, из землянки-то — дым пошел! Видать, печурку какую поставили! И детей навезли, детей-то к чему? На дворе-то мороз уже!

Прохор не отвечал. Страшное прояснение шло к нему из прежних догадок и мыслей, которые он обычно заглушал заботами по дому, по хозяйству. Он страшился этих раздумий, как фронтового воющего плача минометов или предсмертного кашля канонады. Но теперь какой-то иной страх тяготил его. Не Прохор, а этот страх глядел из окна на веселую группу мужчин, на то, как они разом умолкли, как медленно подошли к блиндажу и оставили на накате алые огоньки гвоздик. И потянуло Прохора туда, к ним. Но жаркое дыхание его застыло молочной пеленой на оконном стекле, скрыло желанное видение.

Потом сразу все затихли. Десяток военных, среди которых Катерина насчитала трех генералов, поднялись на распахнутый кузов машины. Говорили много. То и дело Прохор слышал: «Здесь, на Дороге жизни, мы...», «У этого блиндажа мы...», «Под этим накатом мы...»

— А я? — беззвучно прошептал Прохор, хотя никто из ораторов ни разу не сказал этого «я».

Прохор не видел лица, но даже со спины узнал одного из парней, воровавших у него яблоки.

— От лица сегодняшней молодежи, от имени тех, кто восстанавливал этот мемориал, я хотел бы заверить всех собравшихся, что мы будем свято хранить память о подвигах защитников нашего города, мы будем охранять и чтить завоевания наших отцов.

— А я, значит, не гожусь в отцы? Меня не надо чтить? Или я свою кровь не проливал? — выкрикнул вдруг Прохор пересохшим, сдавленным горлом.

Но кто мог его слышать? Невозмутимо продолжали тикать ходики над пузатым комодом, так же естественно серьезно глядели со стены крашенные фотокарточки невозвратных дней, непонятно кого ждала гитара, притаившись на шкафу между чемоданами, даже абажур не шевельнул рыжими кистями, мирно и грустно дожидаясь своего вечернего часа. Лишь из зеркала на Прохора глянули злые бесцветные глаза. Они, как и немые вещи, всматривались беспощадно, словно знали о хозяине всё, и уже готовы спросить...

— Чего кричишь-то, Проша? — Катерина высунулась из кухни.

Проход дико глянул на жену и неожиданно спросил:

— А почему у нас детей нет? Всё есть, а детей?..

— Да ты в уме ли? Помирать уж пора! А ты не пьян ли?

— То и оно, что трезвый, как стеклышко, трезвый... А ты права — пора и помирать...

Митинг заканчивался. Отзвучал оркестр, пионеры, выстроив горшочки с белыми хризантемами, ушли ровным строем. Шумно исчезали в автобусе музыканты, укатили «Волги», «Жигули» и оба воинских «газика».

— Проход, ты сходил бы до погреба. Там детишки цветы оставили. Может, забрать, а то — все одно померзнут.

— Пожалуй,— ответил Проход и медленно стал натягивать валенки.

Зачем идти туда — ему было безразлично. Его весь день тянуло туда, и нужен был лишь предлог, чтобы в душе оправдать это неясное желание. Проход обошел блиндаж вокруг, дотронулся до железной двери, зачем-то провел рукой и по мраморной доске, словно хотел удостовериться в ее реальности. Затем, изловчившись, прижал к ватнику четыре горшка с цветами. Но не успел и шага сделать, как остановила его песня: «Бьется в тесной печурке огонь, на поленьях смола, как слеза...»

Голоса тихо просачивались в щель приоткрытой двери, за которой лишь женский дискант казался странным и ненужным в мужской фронтальной мелодии. Проход, часто соскальзывая с протоптанной дорожки, убежал к дому, свалил свою нежную ношу в сених и заторопился обратно. Но песня уже кончилась, в блиндаже и около него было тихо.

Проход воровато, не доверяя тишине, приоткрыл дверь блиндажа и ступил в маленький полуметровый тамбур. Дверь, навешенная с косиной, плавно затворилась, подтолкнув Прохода легонько в спину.

Блиндаж уже отогрелся людским дыханием, и воздух висел розовато-белесый от табачного дыма и отблесков печурки в дальнем углу. Там же приютились на красных стопках кирпичей несколько человек: четверо мужчин и одна женщина. Проход внимательно рассмотрел каждую спину, глотнул слюну, уловив с легким сквозняком привкус водки, и замер, не зная, зачем вошел, что делать дальше.

— Давай-ка и за нас! Наливай, Настя, по сто фронтовых грамм!

Женщина чуть выпрямилась, подалась вперед, и на стене выросла угловатая тень, излом руки, держащей другую округлую тень.

«Из фляги пьют»,— догадался Прохор и вновь ощутил во рту кисловатый привкус.

Все содержимое фляги разлили по стаканам, видимо позаимствованных у шоферов, а вместо тоста женский голос тихонько затянул:

— «От Москвы до Бреста нет такого места, где бы не бродили мы с тобой...»

Прохор слушал ее заворуженно. Он знал эту простую песню, слышал ее как-то по радио, но слов не мог запомнить, хотя были они немудреные — простые русские слова о войне. Вот только почему в песне говорилось о какой-то «лейке»? Прохор понять этого не мог и сейчас вновь ждал этого куплета. Но, как и по радио, женщина отчетливо пропела: «С лейкой» и блокнотом, а то и с пулеметом...» Но здесь она сорвалась, всхлипнула и, чтобы скрыть эту слабость, бодро спросила:

— Слушай, а «лейка» твоя жива?

— Жива. Специально прихватил! — ответила мощная широкая спина.

— Что же ты молчал? Пошли наверх, увековечимся!

Компания дружно поднялась, и тут только все заметили у дверей Прохора. Он виновато отшатнулся. Вновь зимней сухой грозой резанула страшная мысль... Не успели они его остановить, как он исчез.

— Нет. Я честно жил. Что же, что почти не воевал? Я свою войну прошел. Всю блокаду около этой дороги инвалидом маялся. У этой...— повторил он, входя в тепло и уют своего стариковского гнезда.

Вышла настороженная Катерина, видевшая в окно, как пошатнуло Прохора у крыльца.

— Что с тобой сегодня? Заболел?

— Ничего! Пробуксовал я... всю жизнь буксую у обочины.

И вдруг в спину ему тупо ударил окрик:

— Да вон, вон он — хозяин! Кто же еще?! Сволота!

От блиндажа бежали четверо. У одного пальто распахнуто, и видна гимнастерка первых лет войны. Он легко перепрыгивал заснеженные гряды и был похож на атакующую птицу. Прохор, как под гипнозом, смотрел на его гимнастерку и не мог оторвать взгляда от

этого человека-птицы, столь безжалостно схожего с солдатиком из Прохоровой юности.

Все четверо влетели на крыльцо, но не остановились, а неудержимо рванулись в сени. Прохор не мешал им, он не понимал происходящего и потому не противился гневу этих людей.

— Ну, дед, был бы ты помоложе! Я бы тебе цветное фото сделал! — процедил, как сплюнул, самый молодой из них, унося горшочки с хризантемами.

Весь вечер Прохор молчал. Хотел было отругать жену, но не посмел — она-то при чем? Послала, цветочки пожалела. Сам хорош!.. Ругаться не стал, но в себе замкнулся наглухо. Когда ветераны уехали, Прохор вновь прошел к блиндажу, аккуратно вымел пол, плотно прикрыл железную дверь, повесил свой замок, решив, что так оно надежнее и спокойнее. А привезут макеты — открою.

А вот к ночи ему стало неуютно и сиротливо в собственном доме.

...За окном дрожал рассвет. На дворе уже хозяйничал январь. Прохора жена все же вылежала: вставать не позволяла больше месяца, курить не давала, хотя он и умудрялся раз-другой затянуться в ее отсутствие. Сегодня утром он по привычке подумал, что надо бы оглядеть двор. Но Катерина, опередив его, уже спрятала валенки. Скучно. Прохор протянул руку, включил радио:

«Сегодня, в честь 40-летия со дня прорыва блокады, мы передаем концерт по заявкам ветеранов войны. Группа бывших военных связистов, обеспечивавших надежную связь на легендарной Дороге жизни, просила исполнить для ветеранов фронтового узла связи «Тройка-1» эту песню».

Прохор снял со стены репродуктор, поставил его рядом с кроватью на стул. Прибавил звук:

Эх, Ладога, родная Ладога...

Прохор резко выключил приемник. Сел, вздохнул несколько раз, прислушиваясь к сердцу, и медленно, но аккуратно стал одеваться. Катерина возилась на кухне и ничего не подозревала, когда он беззвучно вошел к ней и потребовал:

— Валенки отдай.

Она оглянулась, охнула, но говорить Прохор ей не дал.

— Отдай, а то и так пойду.

Катерина молча выдвинула ногой из-под стола черные валенки и отошла.

Прохор сел на стул.

— Помоги.

Она оцепенело помогла натянуть ему носки, затем и валенки. Прохор осторожно прошел в сени, надел полушубок. Постоял в нерешительности и вновь приказал жене:

— Дай-ка наши паспорта и эти — пенсионные книжки.

Катерина быстро принесла ему старый конверт с документами.

— Не беспокойся. Я скоро... К обеду ворочусь.

Свежий воздух был густ утренними запахами села. Удивило лишь, что вокруг блиндажа аккуратно был разбросан снег, протоптаны дорожки, а главная даже песком посыпана. Кто бы это?! Вроде не слышал, чтобы приезжали. Прохор медленно прошел через сад, плотно прикрыл за собой калитку и попытался подняться на насыпь дороги, но сразу не смог. В висках предостерегающе застучала кровь. Тогда он решил идти вдоль дороги до перекрестка — там склон пологий. Катерина видела в окно, как Прохор осторожно поднялся к перекрестку и теперь одиноко стоял у обочины, не зная — скоро ли пройдет по Дороге жизни его попутная машина до Ладogi.

## **ВО ПОЛЕ БЕРЕЗОНЬКА...**

*рассказ*

И старик, сидящий у порога,  
Мне заметил: «Хочешь, объясню.  
Был пожар... как раз через дорогу...  
Слишком близко подошла к огню...»

*Леонид Хаустов. «Береза»*

Земля отдыхала от войны... Откуда только силы брались, чтобы терпеливо, с неистовой настойчивостью из года в год рожать: сначала островки перистой осоки, а затем и молодняки трепетного осинника, гибкой ольхи

и даже пушистых елочек, робко вылезавших на желтоватых песчаных буграх. Сквозь фронтную ржавчину везде упрямо рвалась жизнь, залечивая обгоревшее и искореженное войной, превратившей некогда праздничный могучий лес в черно-рыжую графику обугленного сухостоя, заболоченных воронок и раскисших в мертвой воде траншей. Земля, получившая мир, выздоравливала мучительно медленно, но все же заново цвела, обязанная бескорыстным заботам весны. Как израненный солдат первой улыбкой и проясненным взглядом благодарен сестре медсанбата и так же, как поправляющийся солдат начинает стесняться повязок и больничного халата, так и оживающая земля стремилась скрыть свою выжженную, истерзанную наготу и скорбь.

И вновь льнет и ластится к ее ранам уже в который раз вдовья послевоенная весна: просочились подснежники в жухлой траве, выглянули боязливо первые листочки из буро-зеленых колыбелей.

Михаил Иванович ступает медленно, успевая заметить первую зелень в лозняке и перешагнуть клочки колючей проволоки, которая то там, то здесь прет на поверхность ржавыми ростками прошлого. Но не о ней, а о будущем этих мест думает отставной полковник, не иначе. Все мы, идущие за ним вслед, думаем об этом, хотя и не все верим, что все же превратим это болотце в настоящее поле будущего подсобного хозяйства, а там, в уцелевшем довоенном лесу, построим дачные домики и хранилища, сферические ангары теплиц и даже свою животноводческую ферму... Но это потом, а пока мы делим горелое мелколесье на участки: нам их корчевать, осушать, готовить под пашню. Мы — это первая бригада на строительстве подсобного хозяйства, мы — это тридцать молодых инженеров, неспособных пока еще отличить рожь от пшеницы, но мы с радостью приехали сюда и сразу же натянули меж двух сосен свой лозунг: «Даешь жизнь Нечерноземью!» А Михаил Иванович нарек нас первым взводом заводского «зеленого десанта», он же разделил нас на отделения корчевателей, мелиораторов и трактористов. Трактористов искали долго, но все же у конструкторов нашлись трое бывших танкистов, а еще троих пришлось все же брать из транспортного цеха — во всем КБ больше не нашлось ни бывших трактористов, ни танкистов.

Михаил Иванович задумчиво что-то напевает, ядре-



ной голубизной льется высокое северное небо, звенит и ослепляет весна, пьянит она «взводного» полковника.

Какая же жуть и красота! Он не был домоседом, пока служил в кадрах, исколесил всю страну, а осенью, приезжая в отпуск, обязательно бродил по пригородным лесам с грибниками, но такого контраста, такой резкой природной грани жизни и смерти в послевоенную пору он не встречал. Обычно в лесу его подмывало аукнуть протяжно, словить свое эхо, как отзвук невозвратного «ау!» из деревенского грибного детства. Но здесь он не мог, боялся, зная наверное — не достигнет той поры память, увязнет в каюнадах прошедшей войны.

А весенний хмель будоражит душу, терпкая прелость коричневой листвы дурманит, и в мыслях все одно плывет родная деревенька Березовка. Она живет среди таких же лесов. Только тогда он и не знал, что родные земли, где отец приучил к суровому крестьянскому труду, — Нечерноземье. Так их позже стали называть, а для Михаила Ивановича — это просто родные поля, где пахал или косил, где босым пацаном бегал по весенней пашне взлохмаченным грачонком, подражая отцу, любившему шагать за плугом по парной борозде широчеными босыми ступнями; не терпел отец кирзового сапога на обнаженной земле еще со своей первой войны с немцами. А на второй, уже с сыном, пришлось утоптать еще не одну сотню километров солдатским сапогом. И вот теперь судьба вновь свела их — седого горожанина и любимую им с детства, ждущую плуга землю.

— Здесь забивайте два колышка — это половина, дальше сектор третьего отделения, а трактористы завтра начнут. Значит, запоминайте: вон от той сосенки всем фронтом и пойдете...

Так кратко и по-военному точно проводил рекогносцировку наш «взводный», а мы запоминали границы секторов и безрадостно сознавали — работенки здесь с лихвой! Пожалуй, за два дня и не управимся!

Но уже через полчаса наши топоры весело перекликались, как весенние дятлы: вот обозначились просеки, обрыты канавками площадки для костров, выросли огромные кучи сухих веток, трухлявых старых и молодых стволов — все под огонь и лишь старые мощные пни ждут наступления бульдозеров и грейдеров.

— Го-го-го-о-о! — кричит с края делянки Сережка Антонов. Он наш комсомольский секретарь и, конечно,

беспокоится и суетится больше других: бегают, подбадривают, поторапливают и щелкают своим «Зенитом» — это для будущей фотогазеты «Наше Нечерноземье».

— Агитируешь? — смеясь, спрашивает Михаил Иванович.

— А что? Не надо?..

— И это надо. Только лучше бы своему отделению лопатой помог, а если что, так я и сам поагитирую.— И Михаил Иванович кричит, подражая Сергею: — Ого-го-го-о-о! Ну как?

— У меня звонче, доходчивее! — смеется Сергей.

— Давай кто кого?

— Го-го-го! Ого-ого-о-о! — звучит, разносится над лесом.

Ребята, выпрямившись, издали весело поглядывают друг на друга и ошалело начинают гоготать, как годовалые жеребята на выгоне.

Никто не откликается на наше гоготанье.

К вечеру отделения сближаются, работают рядом, все быстрее подходя к центру вырубки, где место возвышенное и сухое, а молодняк кустарников и гибких осинок плотной стеной все настойчивее сопротивляется нашему наступлению. Прорубаться в эту живую изгородь труднее и труднее. Теперь уже не кричим, не переговариваемся. Устали. Но оставлять последний островок на завтра не хочется.

И вдруг, как чудо, в оранжевых лучах вечернего солнца перед нами открылась стройная и огромная, в два обхвата, высоченная береза. Как ее раньше не заметили? То ли мешал частый рослый осинник, то ли к вечеру мы уже не разгибали спин?

Она, волею случая уцелевшая красавица, таинственной гостьей высилась над очищенным пепелищем. Ее стройное тело хранило под бинтами коры старые раны и ожоги и, видимо поэтому, было метров на шесть совершенно без ветвей, отчего казалось еще стремительнее. И лишь на самой верхушке послевоенные ростки сплелись в шаровидную шапку, словно выстриженную заботливым чудаком-садовником.

Несколько мгновений мы стояли зачарованные. Кто решится тронуть топором такую красоту, пережившую огни и воды? Но, глянув на часы, Сергей Антонов бодро выкрикнул:

— Последняя!!! Вперед, орлы!

Он решительно шагнул к березе и неожиданно, не-

лепо и беспомощно взмахнув руками, соскользнул по пояс в канаву. Хорошо еще без топора был! Мы, увидев растерянное лицо энтузиаста, разноголосо захохотали, а Михаил Иванович, протягивая Сереге руку, вдруг резко приказал:

— Отставить! На сегодня — хватит! Ставь палатки и ужинать...

Мы удивленно переглянулись, но, довольные концом изнурительного дня, принялись расчищать место для лагеря. Сумерки наступили быстро, и, хотя прозрачный вечер ласкал теплом, у общего костра после ужина остались пять-шесть человек. Сидели молча. Наслаждались открытым пламенем, ароматом лесного вечера, настоящей природной тишиной, от которой отвыкли в городских квартирах. Михаил Иванович недвижимо смотрел на огонь, жадно, но неторопливо курил глубокими затяжками.

— А лихо Антоныч в яму угодил! — раздалось из темноты. — Еще бы немного — и по самое горло!..

— Это не яма, ребята, — тихо отозвался Михаил Иванович. — Это старый подход к пулеметному гнезду.

— А вы как узнали?

— Я так думаю... А может, и показалось! Нам, фронтовикам, любая морщинка на земле окопы да траншеи напоминает. А в этих местах я воевал. Вот и почудилась знакомой эта высотка. Я у такой же первое ранение получил, а боевая рана, тем более первая, как любовь, — всю жизнь помнится. Хоть и изменилось все вокруг — узнаётся трудно, но сердце чувствует, напоминает... Завтра как следует пригляжусь, а тогда и расскажу, если захотите.

— Чего же завтра? Давайте сейчас, все одно не спим!

— Можно, конечно, и сейчас... — охотно согласился Михаил Иванович и подбросил в костер сушину, полыхнувшую как порох. — На войне мне посчастливилось... Во-первых, как видите, жив остался, а во-вторых, редко кто воевал плечом к плечу в одном строю с родными, а я до сорок четвертого года командовал собственным отцом. Помню, новенькие погоны выдали. Мне с тремя лейтенантскими звездочками, а батя — старшинские: он в роте, которую я только принял, пулеметчиком был. До этого я взводом командовал. А батя-то еще с первой мировой свой «максим» как пять пальцев знал. Так вот...

Михаил Иванович задумался. Мы ждали, а он, роясь в костре палкой, словно отыскивал в памяти тот не самый трудный, но роковой бой, когда, захлебнись их атака, остался бы он навечно старшим лейтенантом, не вернувшись с войны...

— Еще с вечера, как только выдвинулись сюда, я заметил посреди болотца этот холмик для пулеметного расчета. Пожалуй, самое высокое место на всем участке, и окопаться можно почти в полный профиль без воды. Хотя и не блеск, а лучшей позиции не было. Почти всю ночь зарывалась рота в торфяник. К утру ждали атаку. Фашисты должны были попытаться выбить измученную роту с этого рубежа, где и укрыться невозможно: все крупные деревья километра на два от берега реки либо немцы вырубили, либо сожгли наши «катюши», еще днем пробивавшие коридор наступления.

Коротка северная летняя ночь. Не угасли зарницы, а уже заря, и фашисты в ее первых лучах. Две легкие танкетки беспомощно догорали, когда наступил пик боя. Я ждал его, но до сих пор не могу объяснить, по каким признакам узнавал эту минуту, но знал: контратаковать сейчас — значит победить наверняка.

Рвануть себя из окопа легко и уже привычно, но, устремленный вперед, я не ожидал, что «Ура! За мной!» сникнет, как парус на безветрии, утонет в бешеном минометном лае. Несколько бойцов догнали меня, но нас тут же разделили короткие и частые взрывы. Я — комроты, атаковал один, а навстречу уже поднялась цепь черных теней. Я успел дважды выстрелить из пистолета, но тут же споткнулся о встречную автоматную очередь, рухнул вперед лицом и лишь теперь понял, что рота не пошла... Нет, я не испугался, лежа в коричневой жиже на ничейной полосе. Обида и отчаяние жгли куда сильнее, чем первое ранение в ногах. Знаете, вдруг захотелось стать маленьким и заплакать, как в детстве, когда отец учил пахоте, а лошадь дергала, плуг вырывался из рук, и я оказывался лицом в рыхлой борозде и рыдал в нее от отчаяния и бессилия. Тогда батя не ругал, не бранил, но говорил сурово:

— Мишка! Мишка, вставай!

И тогда, лежа в этом болоте, вдруг услышал я за спиной тревожный окрик отца. Оглянулся, увидел, как вытянулся мой старик из окопа и, держась за пронзительно белый ствол березы, кричит:

— Сынок, сынка! Вставай!!

Во всем мире, в любой войне не нашлось бы такой всемогущей силы, кроме этой — отцовской любви, способной поднять на простреленные ноги, уберечь хотя бы на миг от «шмайсеров», подтолкнуть вперед и этой дерзкой неуязвимостью оторвать ошеломленную роту от горестной черты, и закружить бойцов в хороводе под жуткую музыку отцовского «максима», где и смерть красна...

В госпитале я вновь встретил отца. Он уже в который раз смачно рассказывал всем, как услышали его «кайзеровы дети» и забросали минами. А вот березка та якобы спасла от гибельной раны — приняла в свое девичье тело осколок в самый раз на уровне его сердца. Так это или нет, не берусь утверждать. Всякое было! Да разве теперь узнаешь? Сколько лет прошло! А только рассказывал батя красиво, душевно, как умеют поведать о самом страшном лишь в русских деревнях такие вот мужики.

— А отец ваш жив?

— Жив. Он старик у меня крепкий. Я его все в город к себе звал, так отнекивается... Жаль... Пишет, что теперь ему и на селе дела хватает, даром что на пенсии. Я в прошлое лето у него погостил, посмотрел и перестал его сманивать. Действительно, большие дела сегодня в нашей Березовке, и дед мой среди этих дел не лишний. А знаете, он меня все вопросом донимал, зачем, мол, и их земли Нечерноземьем прозвали? Почему, мол, им такая вроде как немилость? Чудной он бывает, а в этом, пожалуй, прав. Там, у Березовки, такие пашни, такие раздолья, а земля! Правда, как и здесь не черная, но щедрая, и потому коробит моего старика эта отрицательная частичка «не»...

Умолкли. Долизывая огнем последние головешки, угасал костер. На широкой груди Михаила Ивановича прыгали красные блики, ярко вспыхивая на орденских планках. Наш отставной полковник невольно напоминал богатыря — сына ратного поколения последней войны.

— Вот такая история с биографией,— произнес Михаил Иванович, словно поставил последнюю точку.— Ну, а теперь спать! Только поутру березку ту без меня не рубите. Слышишь, Антонов, а то еще придавит кого! Тут опыт и смекалка нужны.

Утром никто не торопился на работу, но поднялись по городской привычке в семь. На вчерашнем кострище развели веселый, почти не видимый на солнце огонь, ва-

рили традиционные макароны с консервами. Кто-то шуточно стонал, жаловался на боль в руках, ногах и пояснице. В общем, всё было, как обычно: горел костер, шипели дрова, противно визжали напильники у палаток мелиораторов, которые каждый на свой лад точили лопаты, топоры, пилы.

— А может, не рубить ее? — спросил вдруг Серега Антонов. — Пусть стоит... Ну как живая память...

И тут мы разом заспорили, словно все только и думали о березе, ждали этого разговора.

— Как же ее оставить? Она, поди, сотки три-четыре земли сосет корнями. Не по-хозяйски, не-е... Да и агроном не позволит! — возразил кто-то из трактористов: видно, парень вырос в деревне и хлеборобское дело ценит выше всего.

— Да что там твои сотки! Ты посмотри, красота-то какая, столько выстояла, а мы ее под корень?..

— Ты не из общества ли охраны природы? Мы здесь зачем?.. Поднимать Нечерноземье. Понимаешь — поднимать! Значит — осваивать, а не сохранять какие-то горелые болота. А война — так она везде была! Если на каждом поле всякие березы оставлять, то где пахать-то будем? Я еще понимаю, если бы под ней могила была?! Газеты читать надо, голова! Красота — это пашня в Нечерноземье, это — кормовая база, а не во поле березонька...

Михаил Иванович не вмешивался в спор, слушал внимательно, с интересом поглядывая на лица. Какие же они разные, эти сегодняшние парни! Вон этот с виду прост, а ведь в душе красоту носит. А Серега Антонов? Еще вчера, когда все уже разошлись, пошел к березе и долго ее осматривал, словно искал ту старую осколочную рану. Интересно, нашел или нет?

— Ребята, но ведь если строго, то это наше дело, а не агронома, — опять заговорил Антонов. — Хозяйство мы для себя строим, да и не только его, ведь здесь же и база отдыха будет, и дом отдыха... И я так думаю, что в нашем доме не может быть только «сегодня», должны быть и «вчера» и «завтра». Ты вот говоришь, что всех берез таких не сохранить. Всех? Да. Но по одной на каждом пахотном поле я бы оставил. Чтобы вечно помнили, из какой земли наш хлеб растет...

Михаил Иванович молчал. В конце концов, решать все равно придется ему, а как — он еще и сам не знал. Да, многое забывается с годами, тем более за сорок-то

лет! Но в том-то и смысл всего прошлого, пережитого — оно не умирает. Неисправимое и вечное, оно часть судьбы, а иногда и самой сути человека. Бывает, временно утихнет память, заслоненная сиюминутными заботами, но даже случайное прикосновение к ней, мимолетное касание снова разбередит рану, обожжет, а то и взорвет всю душу.

— А если это не та береза? Ведь Михаил Иванович и сам твердо не знает, какая?!

Мы разом посмотрели на Михаила Ивановича. А он заговорил неторопливо, отсекая каждое слово:

— Резонно спросил. А вдруг и вправду не та? Тогда и говорить, выходит, не о чем? Так? А может быть, иначе? А что, если я не тот солдат, который под этой березой... А есть другой где-то? Если так?

Все молчали.

— Молчите? — продолжал Михаил Иванович. — В этих краях что ни высотка, то березка, что ни березка — то защитница... А леса эти на доски не распилишь — пилы на осколках да пулях быстро сядут... А что под нашей березой пулеметное гнездо было, не сомневайтесь. Для него здесь лучшее место. Любой командир это сразу увидел бы. Так что та или не та — не в этом суть...

Михаил Иванович поднялся, бросил в костер недокуренную папироску... Он и вправду не уверен, тот ли это лесок, болото и березка. Не сомневался лишь в одном — опять судьба поставила его на линию огня. Конечно, вроде бы правильно все сказал Антонов...

— Михаил Иванович, Михаил Иванович! Куда же вы? — Антонов догнал его у самой палатки. — Как с березой-то решим?

— Как решим? Я свое еще сорок лет назад решил... Теперь ваш черед судьбу этой земли определять. Решайте. Ищите свое мнение. А для меня, Сергей, одну просьбу выполни — сфотографируй эту высотку, как она сейчас есть, и березу. Только ее во весь рост. Ладно?

— Ладно, — растерянно ответил Сергей. — А...

Но спросить не успел. Михаил Иванович скрылся в палатке. Он почувствовал вдруг необычную усталость и слабость, а когда прилег, услышал рокот бульдозеров и назойливый стук топора. Захотел выйти, поглядеть, но резкая боль в колене приковала его к раскладушке, а топор стучал все чаще и чаще, звенел все выше и выше, пока все звуки не слились в единый треск пулеметной

очереди... Где-то впереди зарычали дизели, и Михаилу Ивановичу почудилось, что вновь дрожит под ним болотце, по которому ползут фашистские танкетки, вдавливая в землю молодой осинник, осоковые кочки и солдат боевого охранения его роты. Прошлое приблизилось к нему, дотянулось через десятилетие и жестоко сжало в кулак усталое сердце фронтовика.

\* \* \*

Лето он провел в госпитале ветеранов войны на скрипучей койке под цветной фотографией болотистого буро-зеленого северного леса с огромным пятном вырубки, в центре которой тянулась к весеннему солнцу с обгоревшего подножия могучая береза. И ему в забывании больничной тишины частенько казалось, что лежит он под ней вверх лицом и любуется ее зеленым полыханьем.

Лишь в сентябре опять приехал Михаил Иванович в эти края и вновь узнаёт и не узнаёт их. Осторожно идет по гусеничной колее, сильной кистью руки опирается на витую трость из причудливого корня, однако эта опора не делает его вид старым или немощным, а лишь резче оттеняет природную силу и величавость его офицерской осанки.

В центре раскорчеванного поля, как белый обелиск, плывет зеленоголовая стройная береза, идут к ней друг за другом гусеничные богатыри с прицепными плугами — бережно обходят небольшую высотку, изгибая вокруг нее траковые следы, не танковые — нет, тракторные. Свершилось то, что должно было свершиться на этой прекрасной земле.



**ЖИЛ  
ДА БЫЛ  
„ДЕД”**



**Павел  
Кренив**

**повесть**

**Глава первая  
ДОРОГА ДОМОЙ**

Гребной винт изогнул вал у самого основания и начал вращать «Моряка Севера» по кругу. Льсанмакарыч в рубке зверски ругается, крутит штурвал во все стороны, но ничего не может сделать. Судно неуправляемо.

— Вячеслав Михайлович,— кричит он по радио,— машинное отделение подводит команду! Мы на грани срыва плана по перевозкам.

— Сейчас, сейчас, всё сделаем,— нервничает Славка. Он хватает плоскогубцы, бегом поднимается по трапу и мчится на корму.

— Сейчас,— заверяет он коллектив, который весь собрался уже там,— не подведем,— и прыгает в воду.

Славка зажимает плоскогубцы в зубах, плывет по собачьей к винту, а тот выбрасывает одну за другой огромные лопасти, пенит буруны, отшвыривает ими Славку и убегает от него, убегает. Славка не сдаётся, он гонится за винтом, захлебывается, но гонится, и в глаза ему бьют красные брызги...

Сараев открыл глаза и рывком поднялся. Что за чертовщина! Который уже раз один и тот же дурацкий сон. Винт, плоскогубцы, брызги! Свихнуться можно. Взглянул на часы: ничего себе закимарил! Половина одиннадцатого. Ребята там гребутся, а я храпачка даю... Сполоснул лицо, глотнул из термоса чаю и выбежал из каюты. Булку дожевывал, уже спускаясь по трапу в машинное отделение. Так и есть. В сборе уже честная компания: второй и четвертый механики — Николай Абрамов и Борис Юшин, а с ними и моторист Витя Железнов уже сидят у главного двигателя, тычут куда-то отвертками, спорят. Физиономии у всех одухотворенные, озабоченные, чумазые. На Славку они посмот-

рели, как на часового, покинувшего пост. А Железнов выразил озабоченность:

— Ты чево, «дед», не спишь? — и предупредил: — Загнешься!

Ребята его поддержали:

— Поспал бы, «дед», двое суток на ногах. Сами как-нибудь.

Славка для острастки добродушно проворчал что-то вроде: «Надейся на вас» — и присел на корточки к своим помощникам.

До сих пор не может привыкнуть он к прозвищу «дед», заветной мечте каждого судового механика, хотя в «старших» ходит уже год — с прошлого рейса на Кубу. Не может, потому что с детства знает по своему отцу-моряку, по постоянному обитанию среди судов и причалов, по мальчишечьей еще зависти, сколь высоко и почетно это прозвище-звание. Славке тридцать с небольшим. Когда назначили стармехом, вначале, понятно, обрадовался: вот и дождался «деда», а потом страх взял — признает ли команда? Это ведь самое главное. Вроде признала. Даже боцман Стумбин, сорокапятилетний вьедливый мужик из соломбальцев, иногда занудно кричит на Витю Железнова:

— Вот я тебе устрою! Вот я скажу деду, как ты окурки на палубу бросаешь. Вот он тебе устроит!

Славка свято верит в то, что машины, как и люди, устают, так же изматываются и страдают от непрерывной изнуряющей работы. Этот рейс был для судовых установок именно такой работой. Сначала путь через океан с заходами в несколько портов, разгрузками, погрузками, потом фрахт — опять болтанка туда-сюда. Так целых три месяца. И почти все время штормы, грузы по полной, как говорят, выкладке, напряжение на «всю катушку». Теперь по дороге домой машины стали сдавать. Особенно часто случается что-нибудь с дизель-генераторами — «динамками». Хорошо еще, что их четыре, можно переключаться с одной на другую. Больше всего страху нагонял, конечно, главный двигатель. Остановись он, весь «Моряк Севера» — огромный кусок плавающего железа, беспомощный и бесполезный. А бояться было чего! В этом рейсе «главный» принял на себя такую нагрузку, что сомневались, выдержит ли. Даже судовой токарь дядя Федя Честноков все ходил и поглаживал бока машины, дескать, давай уж, голубушка, потерпи! Ох и гонял тогда Славка своих подопеч-

ных, от механика до электрика — все были в машинном. Профилактика! Профилактика! Профилактика! Спать некогда было. Самое основное, что не зря. Вытянул же «главный», справился. Теперь уже немного осталось.

Вообще, если рассматривать этот рейс с точки зрения приобретения опыта, то он дал Славке очень много. Он и сам к этому стремился: влезал во все мелочи, просил ребят: «Если какая поломка, зовите меня». Иначе и нельзя, спрашивать-то все равно с него будут, случись что.

Поначалу, как принял всю эту техническую службу — так ее теперь называют, — ходил как в тумане, ничего не соображал, во всем путался. Смешно вспомнить.

Убедившись, что механики действительно и без него «доковыряют» небольшой этот ремонт, Славка поднимается на палубу. «Водички испить, на ясно солнышко взглянуть», — называет эту процедуру Витя Железнов. Палубу действительно осветило выглянувшее из-за туч солнце. Впервые за неделю. От яркого, брызнувшего неожиданно в глаза света Славка некоторое время ничего не видит и, зажмурив глаза, прислоняется к кнехту. «Ну что, — думается ему, — кажется, пришло затишье, можно пойти на бак». Сидеть на баке, в самом носу, в такие вот тихие, солнечные, довольно редкие свободные минуты и глядеть на воду для него форменное наслаждение. Сам над собой иногда посмеивался: «Первобытная привычка», но что-то есть неотразимо притягательное в бесконечном тускловатом мерцании отлогих гладких волн, по которым несет судно...

— Подымись, Михалыч, — слышится вдруг сверху мегафонный скрип.

Славку зовет к себе Александр Макарович Бронников, капитан «Моряка Севера», он же Льсанмакарыч, он же «мастер», он же «кэп», он же «желтый туфель» (последнее добродушное прозвище он имеет у моряков за таинственное пристрастие к обуви желтого цвета). Бронников выглядывает из штурманской рубки и машет приглашающе рукой.

— Новость есть!

Славке лезть на мостик неохота. «Поспать не дает спокойно», — бурчит он про себя, но желание «мастера» — закон. И Славка поднимается по трапу. Сейчас Льсанмакарыч сощурит хитрые свои глазки и... выдаст чего-нибудь такое. Хороший он мужик, «мастер», умница, работающий, но таинственный, как северное сияние.

Откуда он все узнаёт? Встретит, бывало, Славку с утра:

— Михалыч, у тебя все в порядке? Что-то беспокойно мне сегодня.

И точно, через час портится какой-нибудь насос. Мистика.

Льсанмакарыч стоит на мостике, улыбается поднимающемуся сюда Славке и пытливо интересуется:

— Машины целы?

— Пока целы,— отвечает осторожно Славка, не зная еще, к чему клонит «мастер».

— Тогда вот тебе подарок. Гляди.— И он указывает рукой куда-то вперед.

Славка смотрит туда, и сердце его радостно сжимается. Даже без бинокля видна узенькая пока, но до мелочей знакомая полоска белых кубиков — домов и тоненьких спичек — заводских труб, словно вырастающих из моря. Это Северодвинск — город на самом побережье. Там берег! И там же Двина, а на ней Архангельск, там дом!

## *Глава вторая* *СКОРО ОСЕНЬ...*

— Сережа, ты же знаешь, я совсем темная женщина.

— Гм,— говорит полусонно подполковник. Глаза его закрыты.

— Газет не читаю, радио не слушаю, в сплетни не вникаю.

— Удивительная откровенность. Да еще от красивой женщины.— Сергей Григорьевич целует Инну в лоб и устало кладет голову на подушку. Наверно, ему очень хочется спать.

— Я это делаю принципиально. Минимум информации консервирует драгоценные нервные клетки.

— Умница.

— И потом, ты знаешь, что ни программа «Время» — то сплошные международные столкновения, что ни полоса в газете — то нейтронные бомбы, ракеты крылатые... Ужас!

— Угу-м-м.

— Сережа, а войны не будет?

Сергей Григорьевич слабо мотнул отрицательно головой. И опять с закрытыми глазами. «Ну нет, уж ты у меня глазоньки-то откроешь, милай, устал, видите ли, в штабе своем. Откроешь!»

— Сerezенька, а тебя тоже воевать пошлют, да?

Один глаз подполковника открылся и осмысленно, совсем не сонно, уставился на Инну.

— Понимаешь, Сerezенька, мы совсем не думаем об этом. Привыкли к миру, ходим в кино, зарабатываем деньги, ругаемся. А в любую минуту может случиться то большое и страшное, и с тобой что-нибудь...

Инна села, обхватила руками коленки. Сергей Григорьевич рывком тоже сел, обнял ее и, целуя, заприговаривал:

— Ну что ты, милая! Ну что ты!

Потом, когда оба лежали и глядели на потолок, по которому пробегали отраженные из окна робкие, какие-то затравленные ночные тени, подполковник спросил:

— Интересно, а Ксения станет меня папой величать или нет?

— Она к тебе привыкла,— неопределенно ответила Инна.

Через некоторое время подполковник ровно заприговаривал, подрагивая во сне усиками, отпущенными месяца два назад по настоянию Инны: «Будешь походить на француза». Инна лежала на боку, разглядывала давно уже знакомое ей правильное, ухоженное лицо Сергея Григорьевича и думала о том, как все осложнилось в последнее время, если дошло уже до того, что стоит вопрос, назовет ли Ксения своим отцом чужого ей человека? Тревожно как-то сегодняшней ночью. Не спится. Инна поднялась, накинула на плечи любимый халат и прошла в комнату дочери. Ксения, как и всегда, лежала раскидавшись, обняв старого своего мишку, уткнувшись носиком в его помятую мордочку. «Ну вот опять,— подумала Инна,— моська к моське»,— улыбнулась. Спать не хотелось, и она вышла на балкон.

Балкон окружала августовская ночь, вполне еще теплая, темная, занавешенная облаками. Все дома вокруг уже спали, света на улице было мало, и это раздвигало границы темноты. Только внизу, повизгивая расхлябанной крышкой, уличный фонарь лениво, рассеянно и тускло лил под себя вздрагивающее желтое свечение. Унылую сонную работу фонаря перечеркивали яркие штрихи редких капель, падающих с неба. Инна достала из кармана начатую пачку сигарет, щелкнула миниатюрной сенсорной зажигалкой, закурила. Села и стала глядеть в ночь.

Кто мог ожидать, что так получится? Ведь намечался обычный флирт, какие были уже... А этот, такой красивый, перспективный, умница, а ведет себя, как мальчишка. Что он, не флиртовал никогда? Поженемся!.. Поженемся... Мальчишка. А карьеру себе разводом загубит. Нужен он мне тогда... Да и Славка... Сложно все.

История знакомства с Сергеем Григорьевичем началась до того романтично и как-то воздушно-весело, что Инна пережила в тот период нечто подобное восторженной влюбленности, какие бывали в юные годы. Когда она два года назад перешла на работу в городской Дворец культуры и в первый раз переступила порог своего уютного музыкального класса, в глаза бросились офорты, висевшие на стенах. Инна с детства любила гравюры, считала, что разбиралась в них, сама когда-то ковыряла линолеум скальпелем, а тут ей предстали вполне завершённые мастерские работы, выполненные одним из самых сложных, виртуозных способов. Офорты были многотемны. Там была и природа, и молодость, и любовь, и корабли, уходящие в море, и плачущая женщина... Поразила еще безусловная способность художника выделить наиболее характерные особенности изображаемого предмета ненавязчивыми, но точными штрихами. На всех офортах стояла подпись: «С. Семенов». Инна тогда порадовалась, что открыла для себя нового интересного художника, что об этом можно будет кому-нибудь рассказать... Потом, в промежутках между занятиями, она часто подходила то к одному, то к другому рисунку и всегда открывала в них для себя что-то новое. Это было удивительно. А однажды один из способных ее воспитанников — Юра Семенов — сразу напоявал сообщением, что это работы его отца... Еще больше удивилась Инна, когда узнала, что Юрий папа — офицер Советской Армии, подполковник. «Человек с такими способностями пропадает в войсках, — думала Инна, — вот уж зря». И ей почему-то ужасно, жгуче захотелось познакомиться с тем необычным и, наверно, очень интересным офицером.

Конечно, это ей удалось. Как, впрочем, и все, за что она бралась по-серьезному, с напором. Худрук Дворца культуры, конечно, сразу согласилась с предложением молодой инициативной преподавательницы музыки о том, что «маленьким музыкантам в целях идейно-патриотического, художественно-эстетического воспитания

просто необходимо встретиться с представителем Вооруженных Сил», тем более что этот представитель сам «причастен к искусству». Юра Семенов отнес своему родителю официальное, отпечатанное на машинке приглашение на встречу, подписанное директором Дворца культуры (Инна тут ни при чем), и его молодой, красивый папа — подполковник, при всех, как говорится, регалиях, явился в назначенный час. Он оказался чудесным рассказчиком, обаятельным, милым человеком и, что самое приятное, — умным. Он ее очаровал. Под конец встречи с юными музыкантами подполковник сел за рояль и сыграл шопеновскую сонату, не без помарок, конечно, но сыграл! Даже спел что-то на итальянском, продемонстрировав приятный баритон.

Инна в тот вечер старалась как могла. Само собой разумеется, что бравому офицеру пришлось провожать преподавателя музыки домой. К сожалению, рядом шел тогда и Юра, но он был страшно доволен отцовским триумфом и ничего не понял. А Инна сделала все, чтобы встреча с Сергеем была не последней. Ее начитанность, умение владеть словом, знание самых разных сторон искусства сразили подполковника. Уже следующая их встреча завершилась чаепитием у Инны на квартире. Она была радушной хозяйкой... Потом были еще встречи и еще... А Славка был тогда в море.

Славка очень обрадовался, когда, вернувшись, увидел на стене в спальне гравюру, на которой была изображена тонкая, с распущенными волосами Прекрасная Дама, опустившая изящные руки на клавиатуру фортепьяно. В той даме Славка узнал вдруг свою жену.

— И правда похожа? — изумилась жена. — А купила по случаю. Рада, что тебе понравилась, милый.

«Как далеко все зашло», — думала теперь Инна, глядя на желтый фонарь внизу, крышка которого все качалась и вот-вот готова была сорваться, чтобы улететь куда-нибудь от этой желтой тоски...

Самое смешное, по-дурацки смешное то, что Сергей для себя все уже решил. Похоже, любит по-настоящему, верит в ее искренность. Жене обо всем рассказал уже. «Так будет честнее», — сообщил об этом Инне. Подвиг совершил! Инна поморщилась, глубоко затянулась ароматным сигаретным дымом и посмотрела на небо. Там, в вышине, сквозь ночной сумрак проступали быстро бегущие тучи — черные, рваные и холодные.

Скоро осень, за окнами август...

А может, и вправду решиться? Ведь такой умный и импозантный муж — мечта всякой женщины. А что? Ксёнию он любит, меня боготворит. Да и отношения сами собой сложились какие-то семейные. Ха-ха.

Славка скоро возвращается. Все сразу узнает. Конечно, узнает. Теперь этого уже не скрыть. Надо что-то решать. Решать безошибочно...

Инна «стрельнула» окурком сквозь балконную решетку. Он полетел туда, к фонарю... Потом постояла еще на балконе, глядя в темноту и кутаясь в теплый халат. Стало зябко, капельные стрелы гуще зачиркали по желтому свету. Она решила... ничего пока не решать. Ей всегда везло, и жизнь сама должна подсказать выход. Пусть все остается так, как есть. Она уже не девчонка! И торопиться ломать дрова — это неумно. Потому что жизнь летит и годы летят с немыслимой скоростью. Поэтому, что скоро осень...

### *Глава третья* **МОРЯК СЕВЕРА**

Славкин отец, Сараев Михаил Николаевич, долго жалел, что слишком рано показал сыну море. Еще дошкольником поставил его рядом с собой в рубку буксира, на котором капитанствовал и вместе с «будущим капитаном» вывел в море из Двины зарубежный торговый лайнер с грузом. Славка впервые в жизни обозрел широко раскрытыми глазенками открывшийся синий простор и, как говорится, «заболел». Потом постоянно клянчил у отца еще раз «прокатить до моря», но как прокатишь, — буксир ведь не собственный катер. Но Славка все же вырвался однажды туда на моторной лодке вместе со старшим соседским парнишкой. Конечно, получил потом от отца за самовольство. Михаил Николаевич оценил про себя: знал ведь Славка, что достанется ему от батьки, а все же решился. Значит, моряк в семье растет.

А однажды Славка дознался, что одна из его теток — двоюродная сестра матери — живет в рыбацком поселке на самом морском берегу. Это было форменной находкой! Вполне легальной основой для осуществления заветной мечты — попасть на море — на правах родственника. Родители, конечно, сдались, тетка, естественно, сразу согласилась, и все лето после второго класса Славка провел в большом деревянном доме, на



стенах которого жили зайчики, отраженные от волн. Он увидел море разным: и нежным, и баюкающим, и ревушим под шквалистым ветром.

После восьмого класса, само собой разумеется, пошел в «мореходку» — среднее мореходное училище. Избрал факультет судовых механиков, потому что к тому времени кроме моря полюбил еще и двигатели. Больше всего этому поспособствовали поездки к тетушке. Там у рыбаков было много моторных лодок, а с рыбаками Славка дружил...

Теперь, грихоя домой по выходным, Славка отдавал честь и рапортовал: «Моряк Севера в родные стены прибыл!» Отец, довольный, тоже отдавал честь и с тех пор при виде сына говорил: «А, моряк Севера к дому швартуется».

На третьем курсе Славка пристрастился бегать на танцы, которые устраивались каждую субботу в клубе училища. Нравилась ему там шумная, возбужденная атмосфера: громкая музыка, новые, незнакомые доньше, волнующие отношения с девчонками. Бегал туда, пока не опростоволосился. Получилось все до обидного глупо. Обида долго потом сидела в сердце незаживающей маленькой ранкой.

Он давно уже хотел познакомиться с той девушкой. Высоконькая, черноволосая, с огромными темными глазами, она была на танцах, как говорится, нарасхват. Причем приглашали ее все почему-то пятикурсники, как на подбор. «Белые» танцы она пропускала, просто стояла у стены. Независимо и спокойно. Лишь когда появлялся на площадке Борька Соколов — длиннющий отличник с выпускного курса — и крутился где-нибудь поблизости, девушка приглашала его. Борька радостно дергал белобрысой головой и важно шел вальсировать. Однажды Слава решил. Курсантский ансамбль заиграл его любимое танго про цветочницу Анюту, и он направился к той девушке, словно прыгнул в воду, зная наперед, что она ледяная. Он подошел браво, как и подобает моряку-курсанту, чуть поклонился:

— Разрешите.

Девушка как-то рассеянно, небрежно посмотрела сначала на Славкин рукав, потом на него и вяло сказала:

— Я не танцую.

Славка оторопел и смутился — такого с ним еще не случалось.

— Но вы ведь только что танцевали?

— Я устала,— ответила черноволосая.

Все! Ну их к черту, этих девчонок! Славка долго страдал, но на танцы больше ни ногой. «Вспомнит еще обо мне,— думал он по ночам, злорадно усмехаясь,— вспомнит, да поздно будет!» Хотя понимал, что, конечно, не вспомнит его черноволосая. Нечего вспоминать ей. От этого он еще больше злился, а под сердцем сидел ежик и покалывал, покалывал. Потом все забылось.

Ту стройную темненькую незнакомку он встретил в городе, когда был на четвертом. Она размахивала рукой, в которой держала папку, и топала каблучками в такт весенней капели. В Славке опять проснулся и зашевелился ежик.

— Приветик,— сказал ей Славка спокойно и немного весело, хотя ежик устроил в груди настоящую пляску.

Девушка приостановилась, перестала махать рукой с папкой, глянула опять на него снизу вверх (с рукава на лицо) и... улыбнулась. Узнала!

— Здравствуйте,— ответила она с еле заметным, но все же осязаемым вызовом.

— А я вот вас проводить решил,— совсем обнаглев, заявил Славка. (Не ожидал от себя такой прыти. Откуда что берется!)

Что он ей говорил по дороге? Боже! О чем он тараторил, идя рядом с ней? Потом Славка никак не мог этого вспомнить. Но говорил, не закрывая рта. Это точно. Так, в восторженном полусне, он дошел с девушкой до серого здания, на белом порталчике которого висела табличка: «Музыкальное училище». Темноглазая остановилась и протянула тонкую ладошку с длинными пальцами, сказала: «Спасибо за приятную прогулку», улыбнулась, и за ней захлопнулась дверь. Все. Не имени ее, ни адреса он спросить за болтовней не успел. «Идиот, вот ведь идиот»,— ругал себя вслух Славка. Потом сообразил, что место ее учебы выяснено, а это — половина успеха!

И действительно, эта случайная встреча произошла в субботу, а уже в среду Славка подкараулил ее на выходе из училища и опять обнаглев.

— Здравствуйте,— сказал он победно, — я знаю, вы меня заждались. И вот я пришел!

Девушка улыбнулась и... протянула руку: «Здравствуйте». Славка руку сразу не выпустил и продолжал наступление:

— Вячеслав Сараев, моряк Севера, в недалеком будущем — стармех торгового флота. И если не секрет, — он томно вздохнул, — ваше имя. А то человек руку и сердце предлагать собирается, а...

— Ну-ну, придержите гневных, — умерила его пыл девушка и опять улыбнулась. — Меня зовут Инна, Инна Злотникова.

Потом был их первый вечер. А за ним еще много-много минут, часов и дней, проведенных вместе. Славка от привалившего счастья совсем ошалел и едва не завалил летнюю сессию.

Инна оказалась удивительным человеком. Она жила в незнакомом пока Славке, да и недоступном мире книг и искусства. Отец ее, капитан первого ранга в отставке, жил почти все время в деревне, где родился, и Инна могла целые вечера проводить в его кабинете, уставленном высокими стеллажами с книгами. Когда она восторженно пересказывала что-нибудь новое прочитанное или говорила о божественном предназначении музыки, Славка боялся раскрыть рот, чтобы не ляпнуть чего-нибудь...

Ну а что он мог ей рассказать? Не о двигателях же. Инна умела задавать вопросы, простые на первый взгляд, но Славка от них терялся. Например: «А ты смог бы пристрелить раненую лошадь?» Или: «Ты идешь по парку с девушкой, которую любишь, навстречу — мужчина, которого она любит, и ты об этом знаешь. Он тебя ударяет. Но она тебе кричит: «Не смей его трогать!» Дал бы ты ему сдачи?» Инна называла это тестированием. Когда Славка затруднялся с ответами, она его мило укоряла:

— Ну вот видишь, не цельный ты человек!

Однажды шли по вечернему городу. Славка в одной руке нес тяжелый портфель с Инниными дневными покупками, другой придерживал ее локоть. На улице почти не было прохожих. Лишь навстречу шли двое...

— Сейчас будет тест, — сказала Инна.

Когда поравнялись с теми двумя, правая рука ее, в которой была неизменная папка с нотами, вдруг дернулась, послышался шлепок. Один из мужчин (под хмельком, видно) расвирепел:

— Ты чего, дура, руки распускаешь!

— Это кто дура? — побелел Славка и двинулся вперед.

Но рука его была занята, и он тут же получил две

оплеухи, справа и слева. Пока осторожно ставил на землю портфель (там были ЕЕ вещи, Славка это помнил), пока скидывал и наматывал на руку ремень, его соперники, несмотря на алкогольную отягощенность, уверенно мчались прочь. Славка уже бросился вслед, но:

— Стоп! — крикнула Инна. — Тест выдержан!

Она смеялась и прикладывала бляху ремня к его наливающимся «фонарям», а он подумал вначале: «Зачем ей это нужно было?» — но на другой же день забыл об этом. А после того, как Инна объявила матери, что «Слава спас ее от пьяных хулиганов», именно в таком свете об этом и вспоминал. Было даже приятно.

Когда Славка закончил училище, Инна уже преподавала в школе музыку и пение. В разговорах с ней он млеет от очарования терминами, которыми были пересыпаны ее рассказы о работе. «Сольфеджио», «анданте», «ля-минор» — божественно! Его направили третьим механиком на «фантомас» — так не совсем любовно называли моряки небольшой торговый лесовоз зарубежной постройки. Тогда же сыграли свадьбу. Славка хотел устроить ее в ресторане «Двинские зори», который совсем рядом с домом, и пригласить туда однокашников, но Инна запротестовала!

— Мы, Славик, не так богаты пока, чтобы устраивать кутежи.

Он, конечно, согласился с будущей женой, и все прошло прекрасно и даже романтично. С согласия капитана кают-компания «фантомаса» временно превратилась в ресторан. Славка по перекидному трапу внес Инну на руках на палубу своего первого судна. Матросы стреляли шампанским...

В общем, все было великолепно. Только мать всю свадьбу проутирала слезы украдкой. Славка ее успокаивал:

— Ну подумаешь, фамилию не захотела менять. Это же ее дело, мамуля! Она ведь не виновата, что ее фамилия более благозвучна. Может, она знаменитой пианисткой станет, и на тебе — Инна Сараева! Смех ведь! Ну улыбнись, мама!

А мать всхлипывала:

— Вон Людка Малярова за тобой с детского садика бегают. Как узнала, что ты женишься, — в рев. Ко мне приходила... Красавица ведь. А к этой даже подруги на свадьбу не пришли. Может, нет их, подруг-то! Все у тебя не как у людей.

И так далее. Ну мать есть мать. Просто ревнует, вот и плачет. Славка на мать не обижался.

Потом пошла настоящая морская жизнь: долгие плавания, короткие побывки дома, тяжелая работа, волны, качки, телеграммы, радость встреч с женой, ручонки маленькой Ксенюшки. В общем, все было как у людей.

#### *Глава четвертая* *Я ПРИДУ...*

Контейнеровоз «Моряк Севера» зашел в город по главному рукаву Двины и пришвартовался на временный прикол к Соломбольскому пирсу. К месту разгрузки диспетчер порта обещал отбуксировать «в ближайшее время».

— Знаем мы ваше ближайшее время,— ругался с ним по рации Льсанмакарыч,— заведете тянучку, а у меня команда волками воет после трехмесячной болтанки.

— Повыл бы с вами, да работы много,— парировал прошедший большую практику подобных «бесед» с капитанами диспетчер, тоже «волк» своего дела.— Не могу туда. Там два «шведа» стоят.

— Волынщики! — пробовал-таки уложить портовика на лопатки «мастер». Бесполезно. Диспетчер уже ругался с кем-то другим.

А на причале стояли уже и махали цветами вездесущие и всезнающие родственники. Малышня без передыха кричала «Улла-а!» Инны и Ксении там не было. Слава об этом знал. Они давно уже договорились, что жена будет ждать его дома, в квартире. Раньше и она, конечно, всегда была в толпе встречающих, но Славкина работа с машинным маслом и дизелями при встречах то и дело оставляла на ее светлых платьях коричневые пятна. Ну и потом эта вечная путаница с пирсами... А у Инны работа, ребенок. Разве тут до поисков причалов! В общем, все это часто портило ей настроение, и впечатление от встреч падало.

Перед тем как уходить, Славка еще раз сверил график дежурств механиков, проинструктировал остающегося вместо него «второго» и заскочил «доложиться» к «мастеру». Макарыч «удружил» — попросил заглянуть в пароходство, занести туда какие-то документы. «Срочные», — сказал.

В «орденоносном» — так моряки несколько фамильярно именуют свое СМП (Северное морское пароходство) он пробыл, впрочем, недолго. Обошлось без тянучки, рассовал документы по кабинетам — и вниз. Уже на выходе столкнулся с однокурсником по мореходке Колей Полуниным. «Привет». — «Привет». Коля встрече обрадовался.

— Я тут твою мать случайно встретил, — сказал он и посерьезнел. — Говорит, что ждет тебя с моря, чтобы серьезно потолковать. — Сразу заторопился куда-то. — Звони, Славик.

«Та-а-а-ак, — думал Слава по дороге к автобусной остановке. — Чего там у матери стряслось такое? Что она не могла в письме написать? Узнаю, понимаешь, через кого-то. Надо будет обязательно зайти к родителям в ближайшее время... После Инны и Ксении, конечно». Однако, когда автобус подошел к его остановке, Славка вдруг неожиданно для себя раздумал выходить. Мимо проплыл голубой кооперативный домище, его шестой этаж, балкон... С тоской подумалось, что жена и дочка уже узнали, наверное, что судно пришло, и Инна сейчас суетится на кухне, а маленькая помощница ей мешают, залезает в муку пальцем и пудрит себе нос...

— Кто там?

— Моряк Севера из дальних странствий прибыл!

— Ух, здоровый стал! Наел на дармовщинке-то шею, — обнимает сына Михаил Николаевич. — Ну вот, мать, а ты боялась, что коньяк в холодильнике скиснет.

Прибегает из комнаты мать, и Славка не успевает сунуть ей букет традиционных гвоздик, как она обвиняет его плечи руками. Долго держит так.

— Наконец-то, сыночек, заехал к родителям.

Потом прикладывает платок к глазам и, смущенно опустив голову, уходит на кухню.

Уже садясь за стол, Славка обреченно понимает, что попал как кур в ошип. «Дернуло меня сюда...»

— Да я на минутку ведь! Жену еще не видел.

— Ну ты эт-т! В гостях воля не своя, — добродушно басит отец и деловито крутит горло бутылке.

Потом идут медлительные отцовские расспросы про то да се. Славка изъерзался, словно в стуле острием вверх сидит гвоздь, а мать с отцом все ахают, смеются. Никакого серьезного разговора вроде и не предвидится. Но Николаю ведь не приснилось. Когда начали пить чай, Славка не выдержал:

— Мама, я тут Колю Полунина сегодня встретил...

Родители сразу как-то поникли. Отец обхватил ладонями локти, замолчал.

Мать посмотрела на сына и как-то робко сказала:

— Непорядок у тебя дома, как нам кажется...

— Какой еще беспорядок? — вытаращил глаза Славка.

— В общем,— матери было трудно это говорить,— Инна к тебе нечестно относится.

— Мама, ты представляешь, что ты говоришь?

— Да, Славик. Видели ее с одним офицером. Не один раз уж.

— Вы сами видели?

— Да нет, не мы. Говорят все разные люди. Роднито и знакомых — полгорода. Катает того офицера на твоём «Жигулёнке»... А нам стыдно, Славик, слышать такое.

«...Вот брехня! — думал Славка, по дороге к дому.— «Нам кажется!» «Люди говорят!» Мало ли что кому показаться может! Да ну что там говорить, Инна прямо бы написала. Она всегда все говорит прямо. Кажется им! Мать, в общем-то, можно понять. Как невзлюбила Инну с самого начала, так теперь ей и кажется...»

Заскочил на рынок, купил цветы... «Ерунда, конечно, но праздник подпорчен. Ну, «дед», сбрось печаль, влети в ворота семейные соколом!»

Лифт, как и до рейса, испорчен, стоит внизу с разинутой пастью-дверьми и умоляет о ремонте. «А мы этот факт проигнорируем. Что нам, молодым, шестой этаж! Тьфу!»

У своей двери — фуражку на предплечье левой, букет в правой, на кнопке звонка отстукал «SOS», затынул «парольную», традиционную:

Да ты, любимая, да ты дождись меня,  
И я приду-у...

— Кто там? — Голос Инны.

«Как это кто? Что это ты, жена? Ведь все признаки налицо...»

Я приду и тебя обйму...

Дверь открылась. На пороге стояла Инна и улыбалась.

А в глазах растерянность и... страх.

— Ой, Славик пришел! — А сама не к нему, а назад куда-то пятится.

Только теперь Слава увидел, что за ее спиной стоит высокий красивый мужчина в пижаме с серьезным и даже торжественным лицом.

— Ну, я на кухню. Сейчас чай пить будем,— говорит Инна таким тоном, каким всегда принимает гостей, и убегает.

Славка стоит в дурацкой позе с фуражкой и букетом в руках и бледнеет.

— Проходите, Вячеслав, пожалуйста, проходите,— вежливо и спокойно приглашает красивый мужчина, так, как будто профессор зовет к сдаче экзамена студента. Славка входит, ничего не видя, топчется в прихожей, вешает куда-то фуражку, снимает туфли... Тапок не найти. Ему мешает букет, Славка не знает, куда его сунуть... Тапок нет... Ага, тапки, его тапки на ногах мужчины. Это Славку бесит, и он снова напяливает туфли.

В этот момент из детской выскакивает Ксения:

— Папка приехал! Ура, папка приехал!

Подросла как! Скоро в школу уже...

Ксения прижимается к его животу, и у Славки начинает кружиться голова. Он сует букет дочери. Та обхватывает его ручонками и утыкается в цветы лицом. Все смеется и чего-то рассказывает. Славка машинально, будто во сне, проходит в гостиную, плюхается в кресло, зачем-то перед телевизором. «Красавчик» как тень идет следом.

— Давно хотел с вами познакомиться и поговорить.

— Я тоже давно,— говорит Славка сдавленно,— всю жизнь мечтал. С босоногого детства.

— Вот вы шутите, а у нас с Инной все серьезно. Надо что-то решать. Сообща.

— Тапки заведите свои сначала! — кричит он, сам понимая, что кричит глупость. Смятенный, взъерошенный, плохо соображающий, Славка вскакивает и кидается к выходу. Хлопает дверью.

На улице бежит куда-то... Потом, когда выскочил на набережную, оперся на парапет и огляделся.

Вечер опускал на реку серые сумерки. Буксир, пыхтя трубой, тянул вниз по течению тяжелый плот и, наверно, торопился успеть засветло к своему лесозаводу.

Куда теперь идти? Вот как это бывает...

У трапа «Моряка Севера» стояли два матроса и над



чем-то дружно ржали. Один из них — вахтенный Володя Володин — спросил:

— Ты чего это, «дед», ты же дома сегодня?

— Вы мне не «тыкайте»! — заорал на него Славка и прошел в свою каюту.

— Чего это с ним? — изумился Володин.

— Недопив,— заключил напарник.

## *Глава пятая* *ПРОВОДНИК ПО ЖИЗНИ*

Инна всегда считала свою мать человеком без предвзятых суждений. Давно уже завидовала ей в этом и стремилась стать такой же. Главное ее преимущество перед всеми заключалось в том, что она всегда знала, чего хочет от жизни, и неизменно добивалась своего. У Инны долго это не получалось, только в последние годы дает плоды материнское воспитание.

Вначале она училась во «французской» школе, и дела, в общем, шли неплохо, но в восьмом классе мать как-то раз усадила дочь против себя и серьезно с ней поговорила.

— Пора подумать о будущем, доченька. Иностранный язык, конечно, очень пригодится для женщины, и знать тебе его не помешает, но для этого есть курсы, с твоей базой ты легко его освоишь. Если потребуется. Но где можно применить язык в нашем городе?

— Ну, например, в таможне, в порту.

— Это не женская работа.

— Тогда преподавателем в школе.

— Ты, Инночка, рассуждаешь так потому, что еще наивна. Преподавать в школе еще тяжелее. Нет, французский — это только на черный день. Музыка — вот занятие и женское и женственное, которое не оставит без куска хлеба. А слухом бог тебя не обидел. Ну там большого и не требуется...

После восьмилетки Инна поступила в музыкальное училище и никогда потом об этом не пожалела. Школы, детсады, Дома и Дворцы культуры, Дома офицеров — всюду нужны специалисты. А сколько чадолюбивых мам и бабушек жаждет обучить умению фортепианной игры своих балбесов в домашних условиях? Много. И все это весьма неплохо оплачивается.

Мать всегда восхищалась способностями дочери, выявившимися у нее довольно рано. Инна задолго до шко-

лы научилась читать, уже в первом классе по вечерам самостоятельно осилила «Робинзона Крузо», сама перечитала сказки Перро, Гофмана, братьев Гримм... У нее была прекрасная память, неплохой музыкальный слух, тяга к рисованию. В начальных классах она была круглой отличницей и откровенно скучала на уроках.

Настоящих друзей и подруг у нее никогда не было. Сверстники ей тоже были скучны и смешны своим непониманием некоторых жизненных тонкостей, которые она узнала для себя страшно давно. По крайней мере, ей так казалось. Одноклассники и сами ее почему-то избегали, хотя Инна никогда не позволяла себе открыто посмеяться или позлословить над товарищем, проявить подлинное к нему отношение. Мать знала об этом, тревожилась и советовала:

— Вся беда в том, Инночка, что ты слишком умна. Но я полагаю, ты не права, демонстрируя это направо и налево. Кроме ума должна быть и хитрость, и надо уметь пользоваться и тем и другим.

Когда дочь подросла и пошли первые мальчики, мать забеспокоилась еще больше:

— Как будущая женщина ты должна знать, что мужчины — большие эгоисты и не терпят чересчур разумных женщин. Тут должна быть четкая дозировка. Когда он открывает рот, ты должна превращаться в беспросветную дуру, тогда счастье семьи обеспечено, твое спокойствие и свобода тоже...

Приходил из моря отец Инны — капитан первого ранга Злотников — и иногда пытался внести свои поправки в процесс воспитания дочери, кричал на мать, скандалил даже:

— Я командую крейсером и знаю, что такое коллектив! Ты же растишь эгоистку!

— Я воспитываю будущую женщину, — уточняла жена.

Отец пытался найти порой поддержку у самой Инны, но не находил и от этого злился еще больше. Перед отставкой он начал опускаться (так решила про себя Инна): чаще и чаще ругался с матерью, путался с какими-то женщинами... Потом, уже на пенсии, уехал в деревню и почти не показывался в городе. Мать сказала по этому поводу:

— Ну и хорошо. Зачем он нам теперь?..

Действительно хорошо. Отца Инна в последнее время не любила за его мрачность и постоянные поиски ка-

кой-то житейской правды. Смешно. Это в пятьдесят-то с лишним лет. Даже она знала, что такой правды вовсе не существует.

Настоящее беспокойство матери Инна доставила, когда влюбилась в студента-выпускника Лесотехнического института Сережу Назарова. Теперь без улыбки этого не вспомнишь, но тогда Инна худела и не спала по ночам, были излияния, вздохи до утра в белые ночи, стихи, поцелуи... В тот период мать, очень взволнованная, нервничая, прочитала дочери несколько неплохо подготовленных нравоучений, которые Инна усвоила и отложила кирпичиками в фундамент своего характера. Мать говорила, что женщин губит их чувствительность, которая превалирует над разумом, что только та женщина может в подлинном смысле стать счастливой, которая победит и сломает это в себе.

— Кто он сейчас? — устало спрашивала мать Инну и сама отвечала: — Студент. Кто он в недалеком будущем? Выпускник Лесотехнического института — работник леса. Куда тебе придется поехать с ним? В лес! Перспектива нечего сказать! — Мать только качала головой и куталась в плед. — Моя дочь, блестящий талант, и будет жить в лесу!

Как кстати повстречался тогда Славка! Смешной, напористый, наивный... Инна помнила его неловкие приступы к ней на танцах. Такой невзрачный, а тоже... Но в эту весну он просто покорила ее своей неуклюжей, но милой привязанностью, открытой влюбленностью, явной слепотой и неотесанностью в понимании женской психологии. И никакой игры, все откровенно, всерьез. Ради любопытства погуляла с ним, поговорила. Впрочем, с ним и говорить-то особо было не о чем. Все у него сводилось к учебе в мореходке, к рассказам об однокурсниках (вот уж интересная тема!), даже к разговорам о каких-то маховиках, поршнях, прокладках... Умора! Хотела уже послать своего кавалера подальше, чтобы знал свое место, но опять вмешалась мать. Ах, умница мать! Ах, провидица!

— Инночка! Доченька! — охала она, блистая восхищенными глазами. — Это ведь то, что нужно! Это наш с тобой идеал, как ты не понимаешь! И неприхотлив, и незамысловат, и работающ, мне кажется. Такие мужчины в чувствах постоянны, таких упускать нельзя. А смотри-то, ой, батюшки, смотрит-то на тебя как! Скажи в окно прыгнуть, ведь прыгнет!

Она обманывала Славку безбожно, конечно, ставя тем самым мать в неловкое положение. Часто приходил Славка к ним по вечерам, и мать, всплескивая руками, охала:

— Как же ты, Славик, с Инночкой-то разминулся? Только что ушла. Ждала тебя, ждала! Но девочки зато-ропили — день рождения у кого-то опять. Ах, у нее столько подруг!...

Потом она разогревала чай и, умиленно восклицая, слушала Славкины серьезные разговоры о море, о друзьях, о прокладках и маховиках... И Славка приходил к ним еще и еще раз... Молодчина мать! Все тогда правильно поняла и взвесила, не дала уйти Славке...

Со студентом все получилось как-то само собой. Закончил он институт и уехал в свой лес, а у Инны вдруг отпала охота ему писать. Остался Славка и постоянные материнские увещевания: «Это тот самый!» Да Инна и сама уже понимала, что Славка — ее будущий муж, надежный и безотказный, как главный судовой двигатель...

Потом была свадьба.

Со Славкиными родителями у Инны отношения не сложились с самого начала. В чем причина — она не вникала. Да и наплевать! Теперь он принадлежит ей, со всеми его заграничными походами, зарплатой, даже двигателями или там моторами... Славка этому и не противился. Он всей душой рвался из моря к любимой жене, появившейся вскоре дочурке.

А потом появилось все, что можно именовать достатком: и квартира, и машина, и пианино, на котором тренькает Ксения. И все это благодаря материнской прозорливости. Как бы путалась и спотыкалась Инна в житейских джунглях, если бы мать в детстве не стала ее проводником.

## *Глава шестая* *ХРОНИКА ТОСКИ*

Над Двиной, как всегда, крики паровых гудков, лязг портовых кранов, гомон чаек. С того берега, с Кег-острова, доносится надрывный гул маленького местного аэродромика.

Ветер, прохладный и ершистый, порывами шерстит и лохматит воду реки, образуя на ее немного тусклой сини темные шершавые заплаты, словно пытается по-своему перекроить и направить плавное, ровное водное тече-

ние. Не получается ничего у ветра, и он от этого свирепеет, набрасывает порывы на берег, раскачивает деревья, гоняет и крутит по закоулку первые опавшие листья. Среди листьев попадаются совсем зеленые, и Славка думает: «А как же эти-то оторвались от деревьев?» А потом понимает, что эти, упавшие, оказались самыми слабыми из всех, не выдержали ветра и вот теперь на земле, среди старых погибших листьев и уличного мусора.

Над Славкиной скамейкой стоит на невысоком постаменте Петр Великий и смотрит пристально на чаек и на Двину. Ветер дует прямо ему в лицо, но Петр привык к ветрам еще во время своей жизни и сейчас глядит открыто, не мигая, не отворачивая взор. Ноги его царственно расставлены, рука со шпагой чуть откинута назад. Фотографию именно этого Петра Славка видал во многих портах мира.

Фотографии, фотографии... Событий последних дней он не помнит. В памяти остались какие-то обрывки, лица, вспышки, фотографии. Они выплывают в сознании тяжело, громоздко, неохотно, как киты на поверхность, где их ждут китобои.

...Друзья. После той «встречи» с семьей он пошел к друзьям детства. Собралась почти вся неразлучная в прошлом компания, надежная, верная. Приятели радовались за Славкины успехи и ругали на чем свет стоит, что «оторвался от коллектива» и их «на бабу променял». Славка с этим соглашался, кивал и клялся страшными клятвами, что «теперь все! теперь с каждым заходом сюда, к вам!..» и пил, и сердце давила неотвязная тоска...

...Свадьба. Барабан кувалдой колотит по перепонкам, музыка, как загнанная тяжелая птица, мечется по стенам ресторана. Вихлястый солист на низенькой эстраде выкрикивает в полупроглоченный микрофон какой-то импортированный шлягер. Петь ему, наверно, страшно тяжело, и он страдальчески пучит глаза и гнется, как под непосильной ношей. Под стенания заполнившей все музыки ритмично колыхается свадьба! Танцуют все. Славка сидит за столом, равнодушно уставившись на толпу. Перед ним изгибается усатый мальчишка и подпрыгивает так, словно на каблуках его электроды, а по полу пропущен ток. Мальчишка воздевает руки к небу и только что не умирает... Чего он так мучается? Сел бы и пил себе спокойно. Но

усатый все подпрыгивает и тарашится на потолок. А вон и невеста-красавица... Длинное с блестками платье, на голове почему-то не фата, а листики! Тоже поблескивают. Невеста уткнула руки в бока, семенит длинными ногами и смеется. Вокруг же по кольцу вприсядку вьюном ходит жених и закидывает на затылок ладони, то одну, то другую...

— Прыгай, прыгай,— бормочет Славка, усмехаясь,— все равно одним кончится.

Чем таким одним, он не знает, но думает об этом с нехорошим ехидством и даже злостью. Чья это свадьба? Как он здесь оказался?

...Родители. К ним идти не хотелось. Но ведь надо с кем-то обсудить происшедшее, высказать наболевшее за последние дни. Вот он и дома и... пожалел, что пришел. Мать сразу стала плакать и причитать: «Я так и знала... Все так и вышло... Я была к этому готова давно...» Ну, коли готова была, так чего лить слезы? Отец отнесся к происшедшему более сдержанно, но тоже бурчал:

— Говорил я тебе, вляпаешься с этой вертихвосткой.

Славка в ответ на это злился и хамил, хотя сам понимал, что смешно тут хорохориться. Если бы сплетни были, а то сам... Мать уже решила для себя, что вопрос о дальнейшем Славкином супружестве вовсе и не стоит. Для него переносить это было мучительно.

— А как же быть с Ксенией? — спрашивал отец (он ее боготворил).

Подобного Славка не хотел и не мог слышать. Хлопнул дверью.

...Какая-то вечеринка. Напротив Славки сидит лысоватый толстый парень с пятнистым рыхлым лицом. Выражение физиономии у парня такое, будто он когда-то крайне удивился и с тех пор так и не отошел от этого. Он пучит на Славку мутно-серые глаза, круглые с рыжинками, рассказывает что-то пошлое.

— Ты сам-то кем плаваешь? — хмуро вопрошает у него Славка.

— Боцман я, на СРТ<sup>1</sup>.

— Дурак ты, боцман.

Боцман через стол тянется к Славке и хватается огромной своей ручищей за лацкан.

— А ведь так и схлопотать недолго. Очень просишь, али как?

<sup>1</sup> СРТ — средний рыболовный траулер.

Славка почему-то совсем не злится на толстомясого и не заводится.

— Ладно,— говорит тот,— уважаю «дедов»,— и отпускает лацкан.— Давай тяпнем лучше по одной.

А рядом сидит молодая женщина в мятой кофте, гладит Славку и жметесь. Руки у нее липкие, губы толстые. Пахнет от женщины водкой и какой-то гадостью. Славку от этого запаха воротит.

— Ух, какие мы злючие-колючие,— кукуется она.

...Морской вокзал. Славка спит на диване в зале ожидания. Сквозь дрему слышит, как гудит полоторная машина, как обсуждают его поведение уборщицы. «Ишь напился, ноги до судна не может донести. А еще с нашивками, с высшим образованием». Потом его трясут за плечи.

— Ставай, матросик, ставай! Не срами форму. Не то милицию счас. Хошь милицию?

Славка в милицию не хочет и идет на судно.

...«Кэп», Льсанмакарыч, неодобрительно и тревожно рассматривает Славку.

— Не понимаю твоих действий, Вячеслав Михайлович. Что за вид у тебя? Что ты в последнее время раскис? С женой поругался, что ли? Так плюнь! Плюнь. Все мы по тысяче раз ссоримся-миримся.

...Ветер кружит под ногами листья. Славка сидит под Петром Великим, глядящим без усталости, уже века, на Великую Северную реку. В голове у Славки, как холодные, острые льдины, проплывают тяжелые думы.

Все, все, что есть в его моряцкой жизни светлого, подарено Инной и связано с ней. Первая любовь, радость возвращения с моря, его дом, семья, ручонки Ксеньюшки, от одного воспоминания о которой темнеет от счастья в глазах... А высшее образование? Славка верит, что закончил «Макаровку» только благодаря жене. Она всегда тянула его, заставляла учиться. Он и стармехом стал тоже ведь в результате ее неустанных подталкиваний: старайся, старайся! Если б не она...

Славка никогда не задумывался, любит ли его Инна. Это же естественно. Он муж, она жена. Они — семья! Да и не вышла бы она за него иначе. Инна не такая.

Тогда откуда в его, Славкином, и Инны доме этот мужчина... «Мы давно хотели сказать...» Этот безжалостный и неожиданный удар от человека, который делит с тобой жизнь и составляет часть тебя самого, удар, ломающий все.

*Глава седьмая*  
**„ЧЕТЫРЕХСТОРОННЯЯ ВСТРЕЧА“**

Потренькивают склянки, визжат от напряжения мощные лебедки, «вира», «майна» — гремит над палубой голос второго, «грузового» штурмана. Над трюмами вздымаются все новые и новые контейнеры, огромные и тяжеленные, как слоны. «Моряк Севера», словно огромное чудовище, медленно и безостановочно поглощает их одного за другим в свое огромное чрево, и кажется, нет предела его ненасытности. Идет приемка груза. Механики день и ночь проводят теперь в машинном отделении. Макарыч приглашал к себе Славку и чуть не на коленях просил: «Ты уж, Славушка, попроси ребят напрячься, подремонтируйте чего надо сами. Не дай бог, в док станем, проторчим! План тогда — к едреной бабушке. А я, чего надо, помогу». Ох, «мастер», в кунсткамеру тебя надо!

Вахтенный штурман вызвал Славку по селектору:

— «Дед», к тебе женщина.

— Какая? — опешил тот, чувствуя, как под сердцем проснулся и зашевелился ежик.

— Ну какая может прийти к молодому симпатичному моряку, — не мог отказать себе в удовольствии «подначить» морской интеллигент, — конечно, молодая.

«Значит, не мать, — думал Славка, поднимаясь на палубу и слыша, как стучат в голове молоточки, — значит, она!»

Но на причале около самого трапа стояла незнакомая женщина в легком бежевом плащике, средних лет, со светлыми волосами, невысокая, сухощавая, с каким-то землистым лицом. Смотрела устало, испытующе. Завидев Сараева, женщина улыбнулась, но улыбка получилась у нее довольно кислая.

— Здравствуйте, — сказала она, — а я вот вас ждала из рейса.

— Кха, — ответил Славка, — очень приятно. — И не знал, что сказать еще.

— Меня зовут Антонина, Антонина Семенова.

— Кха.

— Я жена Сергея Семенова, ну подполковника, который... с которым...

Это было действительно неожиданно. Как она его отыскала?

— Да вы проходите сюда, проходите. Что же вы там, внизу?



Но Антонина идти на судно отказалась, и Славка спустился к ней сам. Потом, гуляя с Антониной по пирсу, он слушал бойкий ее стрекот о том, что ее «балбес» — так она постоянно в разговоре именовала своего мужа — совсем не знает жизни, что он «романтик, пустой фантазер и мечтатель», что «попал под чары умной и опытной женщины». Слушая подобные определения в адрес своей жены, Славка ежился, словно его самого уличали в какой-то низости («При чем тут опытная?..»), но перебивать Антонину не имело смысла.

— Вы мне должны помочь,— убеждала она его,— нам надо действовать сообща.

Совсем нелепость. Помогать Антонине вызволять ее мужа-романтика из-под коварных чар Инны, его, Славкиной, жены! Дикость какая-то!

— Что вы конкретно предлагаете?

— Надо собраться всем вместе и обсудить создавшееся положение. Да-да, не ухмыляйтесь. Сергей и ваша жена такого же мнения, мне Сережа сам об этом сказал по телефону. Им, видно, тоже неопределенность эта надоела.

Глупо, глупо все! И этот разговор и «собрание»... «Подписан четырехсторонний договор»... «Высокие договаривающиеся стороны пришли к единому соглашению»... Но неизвестность и какая-то подвешенность вымотали... Действительно, надо ведь делать что-то.

— Я согласен.

— Вот и отлично. Тогда я обговариваю конкретную дату и час и сообщаю вам.

Антонина пришла на другой же день и сказала:

— Сегодня в шесть вечера. На квартире вашей жены... на вашей квартире.

«Да,— думал Славка,— сторонам действительно не втерпеж прийти к соглашению».

Пришел ровно в восемнадцать ноль-ноль. Дверь открыла Ксения, бросилась на руки и заплакала.

— Папка, ты почему ко мне не приходишь? Ты же еще не в лейсе!

Славка так, с дочкой на руках, не видя никого, не здороваясь, прошел в гостиную, сел в свое кресло. Только там огляделся.

Антонина была уже здесь. Она расположилась напротив, у стены, уткнулась в спортивный журнал, и ее, казалось, ничто больше не интересовало. «Железное самообладание»,— подумал не без ехидства Славка.

Подполковник стройными длинными ногами мерил взад и вперед комнату, проходил и дальше, в спальню, потом возвращался. Взор его был устремлен в пол.

С нарочитой непринужденностью держалась Инна. Она вбежала из кухни в гостиную и всплеснула руками:

— Ах, все уже здесь! Я сейчас!

Потом чем-то звякала на кухне, мягко и часто стукали там ее шлепанцы, даже вроде мурлыкала какую-то песенку. Или это Славке показалось? Через какие-то минуты Инна вкатила легкую никелированную двухэтажную колясочку, а там икра, кофе в маленьких китайских чашечках, печенье, сигареты... Раут какой-то, прием в королевском дворце... К чему этот маскарад! А Инна с очаровательной непосредственностью улыбается — само радушие и уют. На Славку не глядит, старательно не глядит.

— Угощайтесь, ну угощайтесь, не стесняйтесь.

На нее тоже никто не смотрит. Кроме Славки. Инна села наконец в кресло, закурила сигарету и замолчала, будто кончился завод. Вместо улыбки уже настороженность и ожидание. Славка отпустил с рук Ксению:

— Иди, доченька, к себе в комнату. Я к тебе еще зайду.

И вот уже тишина, пустая и зябкая пауза. Как перед боем.

Первый решил принять огонь на себя бравый офицер.

— Ну я, как говорится, заварил эту кашу, мне и ответ держать,— заявил он твердо, остановился посреди комнаты, скрестил на груди руки и сел.

«Началось,— подумал Славка.— Но этот ничего. Помужски».

Подполковник говорил прямо, как и подобает военному. Он кратко и четко изложил собравшимся историю его знакомства с Инной (Славку бритвой резануло: «Мы полюбили друг друга»), обрисовал создавшуюся на текущий момент ситуацию и предложил высказаться всем прямо и конструктивно, потому что ничего уже изменить нельзя...

Все, что происходило после этого, удивительно походило на комедийный спектакль, поставленный режиссером с небогатым или даже дурным вкусом.

Антонина отложила вдруг «Советский спорт» — как на карнавале кто-то снимает маску и ты видишь его ли-

цо — и с оттенком угрозы, или, говоря точнее, зловеще, сказала:

— Хорошо, я буду говорить конструктивно, как можно более конструктивно.— Она глубоко вздохнула и продолжала с усталой интонацией:— Я убеждена, что тут никакой любви нет, а просто мой болван (подполковник вздрогнул) попал в очередную глупую историю.

— Антонина, здесь собрались интеллигентные люди,— пытался вмешаться законный супруг.

Та равнодушно и вяло, как на надоевшую муху, махнула на него рукой.

— Так вот я заявляю, что, во-первых, сделаю все, чтобы этот так называемый брак не состоялся (подполковник взглянул на нее, опешив). Ты же сам, дурак, меня благодарить потом будешь. Во-вторых, если это и произойдет, то уйдет он от меня в одном белье.— Помолчала и добавила:— Ну и в форме, конечно. Больше ни нитки, ни копейки не отдам! (Славка вдруг невольно посмотрел на ноги подполковника. На этот раз тапки у него были свои.) Посмотрим, как его невеста примет! Ха, посмотрим,— хмыкнула она и посерьезнела.— Если будете подавать в суд, неизвестно, на чьей он будет стороне: вашей — разбившей советскую семью, или моей — матери-одиночки с мизерной зарплатой?

Она многозначительно помолчала, потянувшись к кофе, отхлебнула из чашечки. Равнодушный вид и с Инны спал. Она, видно, еле сдерживалась, чтобы не сказать резкое... Сергей Григорьевич сидел с видом мученика, глаза его умоляли жену: «Что ты такое несешь! Ну что несешь!»

— В-третьих. Мне терять нечего, поэтому я даю слово, что постараюсь обойти всех вышестоящих начальников моего пока еще законного супруга и довести до их высокого слуха, какой все-таки он негодяй и развратник.— Антонина грустно улыбнулась.— Не думаю, что это положительно скажется на его дальнейшей карьере. Думаю, наоборот. Тем более что рассказывать я умею,— зловеще пропела Антонина последний слог,— а аргументики у меня е-есть. Вот и посмотрим, у какого корыта новая семья окажется...

Она хотела продолжить свое смертоносное загибание пальцев, но тут не выдержала и вступила в разговор Инна:

— Да как вы можете! У нас действительно любовь! Настоящее чувство...

Но Антонина ударила прямой наводкой:

— Ха-ха, настоящее чувство! Ишь, туда же — любовь! Видала я таких, с огромными любовями! Ишь устроилась — один в море, денежки для нее зарабатывает, а другой красавчик тут ублажает! Любо-овь! Посмотрим, когда один останется, да и тот с алиментами. А уж я постараюсь, чтобы алиментики-то были с процентиками. Вот уж напла-ачешься. Уж я постараюсь.

Инна не выдерживает:

— Да заткнись ты со своим офицериком! Нужен он мне, твой христосик занудный...

Подполковник... В эту минуту надо было видеть его. Он сидел прямо, будто проглотив палку, лишь чуточку подав вперед голову, желтоватое лицо напряженно и испуганно, нижняя губа отвисла. Потом он с трудом встал и медленно, неровно вышел. Ушел... Вслед за ним поднялась и с гордым, независимым видом победительницы пошла к выходу Антонина.

— Прощевайте, — сказала с игривой издевкой.

Славка, не придя еще в себя, распрямился, постоял немного, затем прошел в дочкину комнату, погладил Ксению, уткнулся лицом в ее волосенки, подышал немного ими и тоже ушел.

На Архангельск с неба спускался свежий, высокий и гулкий вечер.

## *Глава восьмая* *ВЗГЛЯДЫ-МНЕНИЯ*

«Ну вот и слава богу! Прошло, как по маслу, получилось, как я и ожидала. Но я-то, я-то — артистка! Талант зачахнувший. А что, вполне могла бы пройти по амплу скандалистки».

Антонина лежала на широкой двухспальной кровати лицом вниз и беззвучно смеялась, напивая опять подушку слезами, на этот раз слезами радости.

Да, она любит своего мечтателя и фантазера, который дожил до седых волос, а до сих пор искренне верит в некую абстрактную порядочность и честность. Наверное потому, что честен сам... А сколько раз уже горел из-за этого. Вот уж действительно «христосик», наивный и беспомощный.

И потом, Юркину жизнь коверкать!.. Тут боль была такая, что опускались руки... В отца влюблен, как щенок. Тоже буду, говорит, офицером, в Суворовское уже

наметился... А отец — пожалуйста: «Мы любим друг друга...»

Ох, как правильно она все рассчитала! Против таких «музыкантш» есть противоядие — материальный фактор. Действует безотказно. Нужен ей этот романтик без денег и погон!

«Романтик» лежал сейчас на тахте в Юркиной комнате. Слышно было, как он ворочается и кричит. Не спится ему...

У Антонины были все основания быть довольной собой.

\* \* \*

Для Славки все происшедшее воспринялось как болезненный и тяжелый сон. Собрались люди и вполне серьезно обсуждали, как сделать так, чтобы он, Славка, на условиях, приемлемых для других, простился бы с женой, которую он любит, с дочерью, которая как две капли воды похожа на него, с теплом семьи, то есть со всем? А как унижительно! Нельзя потребовать: я не согласен... Ты на положении лишнего, и должен лишь молчать и ждать, каков будет приговор...

Самое ужасное и мучительное, что Инна, его Инна, в Славкином присутствии говорила эти слова... о любви, к тому... другому... Значит, у них все действительно серьезно. Инна никогда не позволила бы себе сказать такое. Он это знает. Пережитое будет лежать теперь на сердце и мучить нескончаемо.

\* \* \*

Доигралась. Боже мой, какой стыд. Она была такой беспомощной, жалкой, низвергнутой, наверно, в глазах этой Антонины. А какая помпа, какой напор у бабенки! Первый раз, когда увидела, подумала: стандартный зауряд — одеваться не умеет, за лицом толком не следит, хотя в нем кое-что проглядывает, и при желании какой-никакой вид могло бы и приобрести. А так — пройдешь и не взглянешь. И вот тебе — сумела вывести из себя, поставила в идиотское положение, урок на всю жизнь. Это поражение. Впрочем, урок ли? Урок — он ведь учит, а тут похоже провал, со всеми вытекающими... Старею... Привыкла, что все сходило столько лет...

С балкона летят вниз окурки, один за другим. Инна сидит, ссутулившись. Подкрадывающиеся временами

порывы несильного ветра треплют и запахивают на лице ее незаколотые волосы. Ночная промозглость пробирается под теплый халат.

Как не хватает сейчас матери с ее надежным, безошибочным умом. Та всегда учила поражение превращать в победы. Это трудно. По силам ли ей, ведь у нее никогда не было особенных поражений...

Этого воздушного инфантильного офицера давно уже надо было послать ко всем чертям, не доводить до такого... Тут сама она виновата, смалодушничала, не рассталась вовремя: прилип с сюсюканьями, обезоружил дурацкой своей любовью, цветами... Как не мужик... Таких и нет-то теперь уж.

Да, момент настал решающий. Славка послезавтра уходит в море. Ведь он может уйти вообще... Этого нельзя допустить...

\* \* \*

Как там у поэта: «Еще недавно нам с тобой так хорошо и складно пелось...» Складно пелось. Может, я понял что-то не так и теперь нагораживаю злые и необъективные обвинения. Она не может быть такой... Ее глаза, руки не могли столько времени лгать. Все было по-честному. Ну хорошо, может быть, прошло... проходит ведь. Но зачем даже в гнев кричать эти уничтожающие, топчущие все прошлое слова?! Одно знаю твердо: такие слова не рождаются на пустом месте, они вынашиваются, копят, хранятся, потом выбрасываются. Значит, они хранились в ней, жили...

Мальчишка! Седовласый юнец!

Совсем по-новому увидел сегодня того парня — Вячеслава. Беспомощный в своем несчастье, но как держится? С каким спокойным достоинством.

Но жена! Его Антонина. Как она вела себя! Как вызывающе и дерзко. Я-то, идиот: «Неинтеллигентно...» Как долго она, наверно, сомневалась и мучилась, чтобы прийти на это собрание. Что может двигать человеком в подобном случае, как не любовь... к нему?

### *Глава девятая* *ПИКНИК НА ОБОЧИНЕ*

Что за день сегодня! Чудо, а не день! На небе ни облачка, и солнце с утра висит над рекой и греет, греет. Словно торопится в такие вот прозрачные, безоблачные

дни уходящего лета отдать земле как можно больше тепла. Нагретый воздух лениво распластался на воде, отчего та подобрела, умаслилась и затихла. Лишь иногда волнуют ее частые лоснящиеся бугорки от проходящих мимо суденышек.

На контейнеровозе сегодня тоже относительно тихо. Подготовка к отплытию подходит к концу. Груз получен, бумаги оформлены, команда скомплектована.

Машины вроде в полном порядке (тьфу, тьфу, прони нечистую!).

Сегодня последний день. Витька Железнов с утра гундосит: «Последний нонешний денечек гуляю с вами я, друзья». Славка решил провести вечер с родителями. Соскучился по ним. Толком и поговорить не удалось...

До «инспекторской» проверки капитаном судна, которая стала уже традиционной перед каждым отплытием, никто в город, конечно, не тронулся. Чего-то долго не спускается «кэп» в машинное. Ну наконец-то! Сначала на трапе появились несравненные «мастерские» желтые ботинки, по исполнению похожие на бутсы, потом знаменитые «дудочки», за ними не менее известный в СМП дынеобразный живот Льсанмакарыча. С порога спросил:

— Как работает сердце доблестного «Моряка»?

— Бесперебойно,— отрапортовал Славка.

И «мастер» прошелся пару раз вокруг «главного», добродушно и удовлетворенно причмокивая, не контролируя ради, а так, «для порядка», который должен на судне блюстись неукоснительно. Именно в этот момент по селектору опять:

— «Дед», к тебе визитер.

Славкино сердце сразу провалилось куда-то и повисло на волоске бездыханное: «Неужто она?» Но, как мог, виду не подал, не стал спрашивать, кто да что? Поднялся вместе с «мастером» на палубу, даже обменялся с ним какими-то словами и уж тогда — к перекидному трапу.

Стоит! Она!

С этой минуты Славка никого и ничего больше не видел. Кроме нее. Стоит, улыбается грустно и... виновато. Он сбежал по трапу, остановился рядом и не знал, что сказать. Инна подняла медленно руку и погладила его щеку.

— Славик, поехали за город.

Какой такой «загород», что за «загород», при чем тут... Господи, да Инна пришла! За город, конечно, за город! Куда угодно! С ней! Славка заскочил в свою каюту, ополоснулся, переоделся, задыхаясь прибежал к «кэпу» доложить. Льсанмакарыч посмотрел на него тревожно и вдруг притормозил:

— Михалыч, у тебя все нормально, ну это... дома? А то ты же знаешь, ты правая рука, на тебя надежда...

— Лучше не бывает! — заорал радостно Славка, и «мастер» удовлетворенно благословил:

— Тогда шуруй.

В машине Славка так и не пришел в себя. Он все смотрел на Инну, а та взглядывала на него в зеркало и смеялась:

— Не гляди так, Славик, не то руки дрогнут и врежмься.

Тогда он переводил глаза на дорогу. По обе стороны мелькали кусты и деревья, с правой стороны за зеленью проблескивала голубая в искорках вода. Как изящно, как уверенно она водит машину! Славка вдруг спросил:

— Ой, а куда это мы едем?

Инна, засмеявшись, запрокинула голову и обнажила белизну крупных зубов.

— Славик, да ты спишь никак! Забыл наше с тобой место?

Ну да, конечно, это же дорога на Малые Карелы. Вот и развилка. Километров через пять мысок на Двине, куда они с Инной пару раз навевывались, когда только что поженились. Место уникальное по красоте, только бы там никого не было сегодня или хоть поменьше народу, что ли.

Инна безошибочно свернула с дороги как раз напротив мыска, хотя того отсюда было не видно из-за зарослей... «Ну и память!» — восхитился Славка. Жена первой выскочила из машины и побежала к воде. Там скинула туфли и забрела по колено, закричала радостно:

— Теплая!

Славка прямо в кабине скинул рубаху, джинсы и быстро засеменял пятками по песку к реке. Бухнулся животом прямо у берега на мель, заперебирал ногами, потом поплыл на глубину. Инна упала коленями на песок и подняла в хохоте лицо к небу. А Славка уже на течении, на глубине, кувыркался, махал сажёнками, дул «по-моржовьи» носом, лежал на спине, и прохлада



воды смывала с его уставшего тела, с его сердца всю горечь и тяжесть последних дней. А жена, как и когда-то давно, прыгала на берегу, смеялась и кричала: «Не утони-и!»

Потом они развели костер, и Инна с белым пером из хвостика чайки в волосах исполнила ритуальный танец жертвоприношения племени «мамба-нямба». Славка покорно подставил свой живот под Иннино колено, и из его головы в торжественной обстановке под бой тамтамов был извлечен волос и подвергнут сожжению. Когда вконец обессилели и уж не могли смеяться, Инна извлекла из сумки термос с кофе, бутерброды — и «Оп!» — щелкнула она пальцами. В руке красовалась бутылка коньяка. Славка, восхищенный, только раскрывал рот. Все это, весь сегодняшний день, с его тепло распахнутой синевой, этой удивительной загородной прогулкой, близостью темных желанных глаз жены, — все это чудесная сказка, подарок, праздник, который вчера еще казался невероятным, и Славка растроганно и растерянно молчал. Ему и не хотелось ничего говорить, высказывать какие-то совсем ненужные сейчас, заведомо малоценные слова. Она ведь здесь, с ним, и все вокруг спокойно и совершенно.

Но Инна, когда выпили за счастье из маленьких резных стаканчиков, все же сказала несколько слов. Они не нужны ему были, он все уже понимал, но она сказала: «Тебя так долго не было... Он все «люблю, люблю», голова закружилась...» И Славка заплакал, заплакал от счастья. Он сидел на песке с рюмочкой в руке, и вздрагивал, и неловко растирал бегущие по лицу непроизвольные, предательские капли, и Инна приглаживала ему мокрые волосы и приговаривала:

— Ну успокойся, мой хороший, это ведь я все... Это мне надо...

Потом Славка вдруг заторопился: «Поехали скорей к Ксении» — и извинительно заулыбался: «Соскучился, спасу нет!»

И вот он дома. Сидит в своем кресле, блаженный, вконец расслабившийся, будто только сегодня вернувшийся с моря, разомлевший в семейном уюте. Просмотрел вместе с дочерью новые книжки, игрушки, узнал и убедился, что она совсем уже бегло читает, вник в ее проблемы, наслушался ее страшно интересных разговоров, походил по квартире, надышался ее особым, памятным даже в море воздухом, поковырялся в своей кол-

лекции трубок, ткнул нос в телевизор — отдохнул, успокоился.

По потолку, как всегда, когда наступает ночь, бегают неровные размытые тени. Славка спит, положив голову на согнутую в локте руку, смешно выставив губы «дудочкой». Инна нащупывает на журнальном столике сигарету, накидывает халат и идет опять за балконную дверь. Вокруг темнота и теплынь. На носу бабье лето... Внизу от несильного ветра слабо раскачивается фонарь. То открывает, то заслоняет крышкой желтый свой глаз. Словно подмигивает ей: «Все нормально? Все нормально?»

— Все чудесно, — отвечает ему она вслух.

— Иди спать, Иннушка, — зовет полусонный Славка.

### *Глава десятая* *ВПЕРЕДИ — МОРЕ*

И снова проплывает мимо родной город: драмтеатр, пляж, Петр Первый с неразлучной шпагой, телевизионная вышка. Потом позади остается Соломбала с ее бесконечными причалами, заводами, доками, снующими туда-сюда буксирами — труженица Соломбала.

Славка стоит на корме, чтобы не маячить на глазах у «мастера», который во время приходов-отходов неизменно у штурвала и придирчив ко всем мелочам безгранично. Будешь на палубе — обязательно пробурчит что-нибудь в динамик. Все должны быть на местах! Таково железное кредо Льсанмакарыча. Славка и сам любит, чтобы был порядок, чтобы «комар носа не подточил», но не проститься с городом он не может, тем более что в машинном сейчас — второй механик Николай Абрамов, надежный и исполнительный парень. Внизу колотит и вспенивает воду винт, «главный» опять включился в долгую, слоновью свою работу. Над самой кормой кричат и кричат чайки, машут крыльями, как белыми прощальными платками. Они будут еще долго лететь так вслед и провожать судно громким гомоном. Потом вдали, в море, поочередно станут отставать, отставать... А самые последние, устав, сядут на воду, отдохнут и полетят обратно. Река начинает разбрасывать свои воды по рукавам. Здесь, в дельте, царство островов и песка. Вот и Мудьюг с белым обелиском в память о погибших здесь горожанах в далекие и славные годы.

И наконец медленно и важно начинает покачиваться «Моряк Севера» на морских волнах, будто могучий воин, выходя в чистое поле, где надо показать свою силушку и удаль. Здесь, на открытом просторе, погуливает уже и посвистывает восточный ветерок, вызывает «богатыря» на состязание. Да только что «Моряку» этот ветер — в океане он видел и посильнее.

Впереди Гамбург, а за кормой опять любимый город, где остались родные, где тебя ждут.

\* \* \*

Давно уже в каждое плавание вместе со Славкой уходит маленький, юркий и, в общем, симпатичный зверек с лукавой мордочкой, торчащими настороженными ушками и длинным хвостом. Славка никогда не видел его и ничего о нем не знает, хотя зверек рядом с ним неотлучно: живет и спит в одной каюте, сидит у него на плече, когда Славка работает, в холод согревается его теплом, из одной тарелки с ним ест, лакая тихонько с краешка.

Зовут этого зверька — беда.

Многие Славкины товарищи уже разглядели зверька, и, когда он бежит за Славкой по пятам, они пытаются остановить его, прижать в дверях хвост. Но зверек для них неуловим. Друзья говорят тогда Славке: «Приглядись, ведь с тобой живет беда». А он отвечает: «Вам показалось...» Он не видит своей беды. Пока не видит...

**ЗИМНЯЯ  
НОЧЬ**  **Борис  
Марков**  
рассказ

I

Это было несколько лет назад. Не дождавшись попутки, я решил сам добраться до Подпорожья от конторки одного из местных совхозов. Пройти нужно было километров семь, не больше. Мороз был несильный, и казалось, часа полтора пешего хода по накатанной лесной дороге — и ты у цели. Было часа два дня. По-зимнему ярко светило солнце.

Набросив на плечи рюкзак, я, не мешкая, отправился в путь.

Видимо, где-то я сделал неверный шаг и сбился у развилки с пути. Я шел и шел по какой-то лесной тропе, шел час, шел второй, но станции как не бывало.

Я начал опасливо озираться по сторонам. Ели с неподвижной загадочностью окружали меня со всех сторон. Мороз стал выпускать свои крохотные и бесчисленные коготки, от которых уже не было спасения. Красоты леса больше не прельщали меня.

Я попытался ускорить шаг, но, проваливаясь по колону, продвигался вперед медленно и неуверенно.

Начинало смеркаться.

И вдруг лес оборвался. Невидимкой наскочил упругий ветерок. Далеко впереди, среди заснеженного поля, я с облегчением увидел темные деревенские избы...

II

До деревни оставалось совсем немного, когда дорожку мне преградил опущенный снегом сенной сарай.

Изнутри донеслись приглушенные детские голоса. Я решил подойти и выведать что-нибудь о ночлеге. Кто-кто, а дети наверняка укажут точный адрес. Но, приблизившись к широкой, как ворота, двери, невольно остановился. Нетерпеливый голос девочки умолял кого-то в сумраке сарая:

— Да проснись ты... проснись. Вить, тебя ищут повсюду. Ух, говорит, задаст тебе.

Заворошилась солома, последовал ленивый ответ:

— Кто задаст?

— Да мать твоя, кто еще!

— Ну и пусть... Сюда не придут. А ты-то меня не выдала?

— Скажешь тоже! — обиделась девочка. — Она спрашивает: «Видела Витюшу?» А я говорю: «Нет». А она говорит: «Может, все же видела?» А я говорю: «Вот в сугроб провалиться — не видела!..» Она рукой только махнула... Ну пойдем, Витя, пора.

— Отстань... А знаешь, какой сон приснился?

— Ну? — с явным интересом спросила девочка.

Солома опять зашуршала. Странно, но я почувствовал запах сена.

— Слушай, — хлестко начал голос. — Зима-старуха забросала землю снегом, а сама закуталась в платок-метель и в лес убежала. И полеживает за сугробом, высматривает — кому бы нос обморозить, глаза залепить, грудь задавить. А как завидит одинокого путника, наокачит на него со своими служанками-снежинками и давай его закручивать морозом да завывать волком. А если остановится путник, то, случается, так заметет, скроет его старуха, и тогда уж дожидайся лета. Или схватит человека и затащит в сыпучий снег, служить себе. — А голос продолжал: — Колючая зима, старуха-то. Злючая. Бились с ней многие, даже машины посылали — всё нипочем ей. Никто одолеть не мог. И вот...

— Меня б старуха не одолела, — не очень уверенно вставила девочка.

Я невольно подался вперед, хрустнув снегом.

— Стой! Кто там? — испуганно прошептала девочка.

— Никого, кажется.

— Заройся, я выгляну... Если никого — доскажешь и мигом домой.

— Пропадать так пропадать... Я с тобой.

Первым показался в дверях Витька. Мне бросилась в глаза его непомерно большая шапка-ушанка. Под ней лицо мальчика выглядело совсем детским и чуть обиженным. Вышла девочка. На ее ногах были серые, неуклюже растопыренные валенки, будто сшитые на одну ногу.

— Вам кого? — робко спросил Витя.

— Вы из этой деревни? — не сразу нашелся я.

Дети растерянно посмотрели на меня, на торчащий из-за плеча рюкзак. Переглянулись.

— А что? — спросила девочка.

— Можно где-нибудь переночевать?

— А отчего ж нет? Сбежите к любому дому...

Лица детей выражали крайнее нетерпение. Я не стал им больше досаждать своим долгим присутствием...

### III

Окончательно свечерело. На зеленоватый, лунистый снег упали от домов короткие густые тени. Ветер стих.

Возле заледенелого колодца я встретил женщину. Она настороженно высматривала что-то невидимое в тенях. Я спросил о ночлеге. Она немного помедлила с ответом, будто надеясь, что с секунды на секунду кто-то появится из-за дома.

— Да хоть у нас можно.

Она подвела меня к бревенчатому смурому дому. Электрический свет пробивался сквозь заиндевевшие окна. Женщина постучала в раму. Встревоженная стуком, из массивной конуры выскочила собака. Без особого интереса взглянув на меня, она заскулила на цепь.

Дверь открылась с морозным скрипом, и на пороге появился старик, худой, мосластый, в поношенной стеганке и солдатских брюках.

— Макарыч, у нас бы человеку переночевать — вот, — сказала женщина.

Он стегнул меня глазами и пропустил нас в сени.

— Промерзли небось. Это не во вред...

Я прошел в комнату. Пахло чистыми полами. Меня усадили за стол. Уши и ноги начало приятно пощипывать.

Женщина подошла к печи, сняла с огня чугунок, открыла крышку. Освободившийся пар донес до меня аромат жареной картошки.

Старик зачерпнул из кадки кружку воды. Пил он сильными глотками.

Я незаметно осмотрел комнату. Все в ней было обычным, по-русски чистым и неброским. Каждая вещь, казалось, говорила о себе: «Я не для любования — для дела я!»

И только две деревянные тарелки привлекли мое внимание. Они висели по обеим сторонам причудливо разрисованного морозом окна и напоминали скорее гра-

вюры на дереве. Узорчатая резьба на их доньшках и ободках о чем-то остро напоминала. Может быть, о русских кружевах? Или о чем-то еще, хорошо знакомом?

— Проголодались, видно? — спокойно, но несколько отчужденно, спросила хозяйка. Потом обернулась к старику: — Садись, Макарыч, не будем ждать...

Тот равнодушно пожал плечами.

— Что-то сын мой запаздывает,— виновато объяснила мне женщина,— вот уже третий день кряду пропадает до темноты. А знать, где он, никто не знает...

Она не договорила. За окном раздалось ворчание собаки. Женщина решительно накинула на голову платок.

— Но не он же это! — буркнул Макарыч.— Был бы он — собака б цепь сорвала.

— Все же пойду сыщу его. Ну уж узнает он у меня. Гулко хлопнула наружная дверь.

#### IV

Макарыч налил в кружку молоко, взял картофелину и бережно обдул ее.

Я посмотрел на оконный узор. И вдруг догадался, что за кружева вырезаны на тарелках. Конечно! Конечно, это росписи мороза на окнах!

— Узнали? — неожиданно спросил старик, вероятно заметив выражение моего лица.— Три было таких. Да вот война потеряла третью.

— Это вы сделали?

— Мороз сделал. А я вырезал.

Я подошел ближе к стене. Сравнил узоры на тарелках с оконными. Они были похожи и не похожи.

— Трудно сравниться с морозом,— покачал головой дед.— Кто знает, сколько дерева сызмальства перевел. А вот вырезал — и не то. Не то — и все тут... На стекле пробовал. На бумаге. Все одно — не играет мороз, хоть помирай. Вот сидишь часом, смотришь, кажись все понял, а вот...

Он с сожалением развел руками. Испуганно что-то треснуло в печи. Макарыч разгреб золу и подложил дрова.

— Она, вишь, природа,— великое учение. Да вот не выучился. Должно, не всю душу отдал. И мороз-то не сразу отдаст свои все секреты. Ведро пота надо пролить — тогда, может, и отдаст толику секретов. Благо их на всех хватит.

Мы помолчали. Весело разгорелись дрова. Дед снова заговорил, с каким-то сожалением:

— Трудно угнаться за морозом. Он лепит свои «фильмы», и все — разные. Вздумается ему, скажем, лес выделывать, так уж никакая заводская труба в нем не скажется... Думается, он рисует старое или из какой другой страны. Потому как, где он мог видеть такие забавные деревья? А вот, в приклад, облака... так они всегда схожи. Видать, не изменились. Впрямь, география с историей... Порой соберу вокруг ребятешек да начну вспоминать сказки, что от мороза услышу. Слушают, чертенята... а сам смотрю, кому бы умение свое передать. Только бы душу к природе имели. Вот и внучек... душа живая есть. Боюсь, может, рано еще. Станет такая копоткая работа в тягость малому — остынет. Пусть пока привольно живет да в школе учится. А закипит в душе — сама вырвется. И дело к рукам легче ляжет. А я только неприметно душу ему подогреваю. Природа ведь, она и сама...

Радостный лай прервал старика. Лязгнула цепь.

Осторожно скрипнула дверь. В комнату боязливо пробралась собака. Следом вошел мальчик. По крупной шапке я признал Витьку. Он по-дедовски стегнул меня глазами.

— Пропадал где? — сумрачно спросил Макарыч.

— Катался,— неуверенно произнес мальчик.

Дед взял коньки и иронически взглянул на внука:

— К чему бы они сухие?

Витька сник. К нему подошла собака и заискивающе начала тыкаться в его ноги. Я не заметил, как рядом очутилась женщина.

— Заявился наконец-то! Где колесил?

Мальчик с мольбой взглянул на деда и с какой-то надеждой на меня.

— Заехал... далеко...

— Ишь — заехал! Ему одному дурь заехала в голову, к черту на кулички заехать!

И мать было принялась распекать сына, но, вспомнив обо мне, немного успокоилась. Собака бесшумно отковыляла в угол.

— Стой! Ты опять собаку пустил? — воскликнула женщина.— Сколько раз говорить нужно. Наследит только...

— Но на улице холодно,— слабо запротестовал мальчик.— Хотя бы в сених, а?



Он вывел собаку и неплотно притворил дверь, словно надеясь, что собака сама сумеет войти в тепло. И в самом деле вскоре опять в комнату просунулась морда. Мальчик просительно перевел глаза с деда на мать и, наверное почувствовав одобрение, кинулся к дверям.

## V

Уложили меня у стены. На печи долго ворочался Макарыч. Женщина с сыном удалилась за загородку. Скоро их не стало слышно.

Пахло незнакомой постелью. В печи последний раз вздрогнули прозрачные угольки. Я взглянул на окно. От него по полу пролегла жидкая лунная полоса.

Окно хрустнуло. Хрустнуло еще раз с новой силой. Показалось, что стекло вот-вот лопнет, и жесткий, скользящий воздух хлынет в комнату. На мгновение стало зябко. Я почему-то представил себе злую старуху-зиму. Она закрутилась надо мной в чем-то белом и затянула какую-то однообразную, долгую песню...

## VI

Очнулся я от ощущения, точно ко мне кто-то крадет-ся. Я открыл глаза. Комната была в желтоватых ленивых отсветах. Надо мной появилась собака и жадно задышала в лицо терпким воздухом. Я отвернулся и туг же увидел Витьку.

Он сидел лицом к окну и пристально всматривался в зимний оконный узор. На подоконнике мерно горел огонек свечи. Буйный тропический лес, сказочные папоротники перемигивались острыми искрами. Витя еще некоторое время смотрел на заиндевелое окно, потом сгорбился. Раздалось поцарапывание.

Я неслышно подкрался к мальчику. Он, ничего не замечая, то смело, то неуверенно выцарапывал на плексиглазе длинной иглой линии, заштриховывал промежутки между ними, затем заботливо сдувал легкую стружку и снова всматривался в зимний рисунок.

Я с удивлением следил за мальчишеской рукой. Чтобы не выдать себя, я всячески старался сдерживать дыхание, но не выдержал и сильно, как Макарыч пьет воду, глотнул воздух.

Витька вскочил. Рукой нечаянно опрокинул свечу. Она с шумом погасла. На полу тотчас возникла лунная

полоса. Собака вспрянула. Нас охватила колкая тишина. Мальчик испуганно взметнул глаза на печь. Но там было спокойно. Макарыч спал по-стариковски крепко.

Постепенно мы привыкли к темноте. Собака сделала круг на одном месте и улеглась. Я поднял и зажег свечку. Мгновенно исчезла жидкая полоса.

Мальчик в отчаянии посмотрел на меня.

— Вы никому, никому не говорите,— прошептал он.

Я кивком обещал молчать и, так же вполголоса, спросил, почему он скрывается.

— Нет, пока не скажу. У дедушки вон как получилось. Да еще на дереве... А у меня... Засмеют. Скажут, куда мне тягаться с морозом, если не совсем можешь с арифметикой справиться... Вот справлюсь, тогда и покажу.

— А если не получится?!

— Вот уж скажете! Обязательно получится.

— Так ты бы днем... Днем же легче.

— И ночью хорошо. От окна хрусталики-алмазики вон как переливаются. И окно синее-синее. И рисунки белые, сахарные... Неужели не видите?

Я видел.

— Вот сделаю — тогда и покажу. Дедушка доволен будет. А потом еще ребят научим. Много-много сделаем таких рисунков. Знаете, куда пошлем? Другим ребятам, которые еще ни разу зимы не видели. Куда-нибудь в Африку. Тогда и другие полюбят русскую зиму, узнают чудеса...

Витька взглянул на разукрашенное стекло и, казалось, вновь забыл обо мне.

Лежа в постели, я еще некоторое время наблюдал за мальчиком. Он снова полностью погрузился в свою зимнюю фантазию.

И опять перед глазами предстала старуха-зима. Но уже не злая, а какая-то дряхлая, обмякшая. Она растерянно убегает куда-то вниз. Над ее головой появляется большая мальчишеская шапка-ушанка. Старуха срывает ее, но шапка растет, растет, и старуха исчезает под ней...

## VII

Разбудил меня рокот трактора. Заиндевелое окно было светлым и искристым. В комнате ничто не напоминало о ночном происшествии.

Витька уже собрался в школу. Я задержал его у выхода:

— А может, показал бы?

— Да нет... Потом... Не очень получилось... Вы только пока никому, никому...

— Опять отсыпаться будешь в сарае? — усмехнулся я.

В ответ он только устало улыбнулся и убежал.

Я подсел к старику. Он нехотя размешал чай и, повернувшись к хозяйке, неловко проговорил:

— Если он сегодня запоздает, ты уж того... не беспокойся. Дело молодое.

— Ну уж нет. Учиться ему надо. Сегодня запрю дома и ни-ни...

Макарыч хитро улыбнулся мне, будто знает что-то. Меня так и подмывало рассказать ему все без утайки. Я еле сдерживался, а он хитро смотрел на меня и улыбался.

\* \* \*

Попрощались мы быстро...

По-утреннему весело захрустел под ногами снег. Из конуры выползла собака и о чем-то важном спросила меня глазами...

**В ТОТ  
ДЕНЬ  
БУШЕВАЛА  
ГРОЗА**  **Антон  
Савенков**  
рассказ

— Будет гроза.— Валерий откинулся на спинку кресла, нашарил в кармане пачку сигарет. Зеленый экран локатора, час назад исправно высвечивавший панораму района с идущими по трассам лайнерами, был наглухо затянут искрящейся сеткой помех.

— Видим. Не слепые, — отозвался с соседнего пульта толстяк Карабанов. Он сидел напротив окна, и ему лучше, чем кому-либо на командно-диспетчерском пункте, были заметны тяжелые, словно свинцом налитые тучи, выползавшие из-за недалеких, поросших лесом высот.

Валерий неприязненно посмотрел на Карабанова: подумаешь, всего на три года старше, а разговаривает с ним, как с мальчишкой! Но ссориться по пустякам не хотелось, и, отвернувшись, диспетчер смолчал.

Невнятно заворчал гром. Вмонтированные в пульт динамики молчали, сухо потрескивая. Валерий повернулся в вращающемся кресле и посмотрел на Солохина. Начальник смены, сидя за своим столом, что-то читал, и читал очень внимательно, то и дело поглаживая седые виски пальцами широких ладоней.

— Матвей Васильич, — негромко окликнул его Валерий. — У меня на трассах никого. Я выйду, покурю?

— Сидите, Бурцев, — так же не повышая голоса, ответил Солохин. — Аэродром еще не закрыт. Дадут команду — тогда и курите.

— Ну вот! — отворачиваясь, прошептал едва слышно Валерий. — Принесла нелегкая нынче этого Солохина! То ли дело Байкалов, с которым работали последние полмесяца! Тот и пошутит, и словом охотно перекинется. И дело знает, что надо. «Матвей», правда, тоже руководитель полетов отменный, но — сухарь.

Оконные стекла вдруг жалобно зазвякали, задрожали, торопливо покрываясь крупными, моментально превратившимися в ручейки каплями. Над посадочной полосой взметнулась, но тут же опала прибитая дождем пыль. А через мгновение, заглушая турбинами разыгравшийся гром, разбрызгивая невесть откуда взявшиеся лужи, грузно опустился на бетонку запоздавший ТУ-154.

— Смотри-ка,— удивленно протянул Карабанов.— Успел в самый раз. Это кто же такой?

— Бакинский,— не отрываясь от чтения, произнес начальник смены.— Задержался на семнадцать минут, не иначе этот грозовой фронт обходил...

Настойчиво запищал зуммер селектора. Солохин снял трубку, выслушал, лаконично ответил.

— Район полетов закрыт,— объявил он, кончив переговоры.

Диспетчеры заулыбались, заговорили, шумно отодвигая кресла. Кто-то достал термос, кто-то принялся обсуждать вчерашний футбол...

Курить Валерию почему-то расхотелось. Заметив в руках одного из своих коллег красочный заграничный журнал, хотел было подойти поинтересоваться, но тут же забыл о нем, удивившись своей невнимательности. Только сейчас диспетчер разглядел, что «Матвей» нынче необычен — при полных орденах.

Вообще у Солохина в настоящее время был отпуск. Но сегодня перед началом смены выяснилось, что с Павлом Степановичем Байкаловым, заменявшим его, случилось несчастье — сердечный приступ. И надо же было случиться такому совпадению — в аккурат за час до работы Солохин оказался в аэропорту. Ветеран Великой Отечественной прилетел из Волгограда, куда приглашали его на встречу бывшие однополчане-летчики. Едва успев перекусить в буфете, он без колебаний принял дежурство. Вот так неожиданно, при всех регалиях, в парадной аэрофлотской форме предстал Солохин перед сослуживцами.

«А при орденах он какой-то другой,— подумалось Бурцеву.— Вроде мягче и даже... моложе. А что же он читает так долго?»

Валерий, стараясь не потревожить начальника, пытаясь выглядеть нелюбопытным, приблизился к его столу. Перед Матвеем Васильевичем лежал протершийся на сгибах, пожелтевший газетный лист.

— Надо же,— неожиданно поднял голову Солохин. Его большие, не по-стариковски чистые глаза глянули в лицо молодого диспетчера.— Ведь не верится, что сорок лет назад я эту самую газету держал в руках, а прочитал только сейчас. Волгоградские ребята разыскали. Надо же...

— «Правда», 4 октября 1942 года,— взяв в руки протянутую газету, прочел Валерий.

Очевидно отвечая на его недоуменный взгляд, Солохин достал из внутреннего кармана какой-то листок, приветливо улыбнулся:

— Присядьте. Вот эту вещь я храню с того самого дня.— Он показал на число, которым была датирована газета, и дал Бурцеву такой же пожелтевший и потерянный, но, кроме этого, еще и обгоревший по краям клочок газетной бумаги. Он точно совпадал с правым нижним углом первой страницы.

— Вот оно что...— протянул Валерий, понимающе кивая головой, хотя на самом деле он не понял ничего. Солохин улыбнулся вновь, взял обратно обрывок, посмотрел его почему-то на свет и вдруг просто и непридуманно заговорил:

— Вам сколько лет? Двадцать восемь? В сорок втором мне было двадцать три, но успел уже со своим отдельным гвардейским полком ближних бомбардировщиков повидать всякого. Даже медаль получил — «За отвагу». Осенью мы оказались под Сталинградом — как раз тогда, когда немцы изо всех сил рвались в город. Однажды утром меня разбудил дежурный и сказал, что «батя» зовет...

Если звал «батя» — являлись не задерживаясь. Мы знали, что превыше всего комполка Зотов ценит в летчике точность. Эту черту характера он принес из довоенной гражданской авиации, где был весьма заметной фигурой. Как уверенно и красиво командир летал — залубуешься!

Когда вошел я в штабную избушку, Зотов пил чай, сидя за новеньким сосновым столом. Неяркое солнце, заглядывавшее в распахнутое окошко, позолотило некрашенные доски, искоркой горело в просочившейся из щелки капельке смолы.

Предложив мне чаю, Зотов разрешил сесть. Затем он отставил свой стакан в сторону и, хитровато поглядывая на меня, расстелил большую карту.

— Скажи-ка, Матвей, а не надоело тебе на ночные бомбардировки ходить?

— Тоже скажете, Иван Иванович! Да я, можно сказать, еще в училище об этом мечтал. Награда моя — за эти задания...

— Знаю.— Зотов прищурился и вдруг достал из планшета несколько газет.— Свежие...

Я вопросительно посмотрел на комполка.

— В них-то вся и причина! И сердись не сердись, лейтенант, а с бомбардировок я тебя все-таки снимаю. Есть для твоих широких плеч другое задание. Самолюбие пусть не страдает — не менее ответственное и опасное. Доставка свежих газет по воздуху в осажденный Сталинград.

Так я и стал почтарем.

Каждое утро, еще до восхода солнца, загружал свой У-2 увесистыми, пахнущими острой типографской краской пачками. Летал осторожно, прячась в тени крутых волжских берегов, стороной обходя открытые поля и степи. Садиться, прибывая на место, приходилось на узенькой прибрежной косе. Кроме того, при посадке и взлете оттуда фашисты открывали по моему «кукурузнику» ожесточенный, плотный огонь.

В тот самый день, когда в небе собиралась одна из последних осенних гроз, потребовалось отвезти специальный выпуск «Правды».

— Надо срочно, Матвей,— сказал на прощание Зотов.

— Постараюсь,— ответил я.

Солохин порывлся в карманах, вынул носовой платок, вытер внезапно взмокшие руки. Затем, смятая платок в кулаке, резко продолжил:

— Откуда появился противник, мне и теперь непонятно. Наваливались «мессера» поочередно. Сперва один, а за ним и второй, падали они с высоты на мой самолет. Немцы сумели подловить как раз тогда, когда я перелетал Волгу. Увертываясь от яростных атак, всеми силами старался уйти вдоль берега. А в память врезалось, как внизу, под крылом, ветер шевелил густые заросли камышей и ласточки-береговушки, потревоженные ревом моторов и далекими раскатами грома, металась над водой беспорядочно и тревожно... Но гитлеровцы, разгадав мой маневр, сумели «отжать» У-2 от реки в степь.

«Ну, теперь точно сшибут!» — пронеслось в голове, когда закладывал крутой вираж, пытаясь спастись от очередного захода «мессершмиттов». Один и другой, остервенелю стуча пушками, прошли они над верхней плоскостью.

Неожиданно в лицо хлестнуло чем-то липким. Кровь?! В ту же секунду почувствовал, как влагой пропитывается комбинезон на груди. Я, сколько мог, нагнулся, стащил свободной рукой очки, и, оберегая глаза, искоса глянул вверх. Из бака, расположенного над головой на центроплане, двумя струйками обильно брызгал бензин.

«Фрицы постарались, — подумалось мне. — Хорошо, броневойми хватанули, а если бы зажигательными...» — И не упуская из виду «мессершмитты», решившись, повел машину на посадку. «Кукурузник», попрыгав по пыльной кочковатой земле, вдруг со скрипом опрокинулся на нос. Расстегнув ремни, я вывалился из кабины.

Бежать? Некуда! В голой степи очередь фашистской пушки неотвратимо уничтожит самолет со всем грузом! Решение пришло внезапно. Выхватив из задней кабины пачку газет, я торопливо смочил ее в льющемся бензине и оттащил шагов на десять в сторону, против ветра. Нашупав в кармане спички, зажег, а когда пламя заплясало по бумаге, набросил на огонь свою куртку. Густые клубы дыма застлали опрокинувшийся самолет. А пара «мессеров», снизившись, вновь приближалась. Раскинув руки, я упал ничком под защиту дымного шлейфа...

И немцы без единого выстрела прошли над поверженной машиной. Вполне уверовав в то, что самолет пылает, а летчик убит, они набрали высоту и растворились на глубоком грозовом горизонте.

Хлынул дождь. Он быстро затушил огонь, прибил к земле дым, смешал с мутной степной грязью клочки пепла.

Ну а дальше все было просто. Я повис на хвосте и перевернул У-2 в горизонтальное положение. И знаете, расцеловать готов был этот неказистый на вид фанерный самолетик! Ведь даже винт у него оказался неповрежденным! Стравить остатки бензина из верхнего бака — дело несложное. Запустил я мотор и хотел уже взлетать, как вдруг увидел этот самый обгорелый газетный обрывочек — он прилип к влажному крылу. Подобрал его на память и вот ношу с тех пор...



— А остальной груз? Что было дальше? — слышались вопросы.

Ветеран оглянулся. Оказывается, вокруг его стола тесно стояли все сотрудники командно-диспетчерского пункта.

— Дальше?.. Обыкновенно,— продолжал как ни в чем не бывало Солохин,— газеты доставил, в часть вернулся... Только продрог в кабине ужасно, весь мокрый был.

— Да, наверное, в грозу на открытой машине не сладко...— неожиданно для себя заметил Валерий, поглядывая в окно.

— Что верно, то верно,— усмехнулся Солохин и снял телефонную трубку аппарата прямой связи. Через секунду он вновь стал тем же сухим и строгим начальником смены, которым всегда бывал на дежурстве:

— Гроза проходит. Аэродром будет открыт минут через двадцать. Прошу всех занять свои места. Проверить исправность аппаратуры.

Валерий вернулся на свое рабочее место, придвинул поближе пружинную стойку микрофона и привычно щелкнул тумблерами переключателей. Всё в порядке. Украдкой он взглянул на Солохина, который, подойдя к пульту Карабанова, что-то ему объяснял. Валерию показалось, что он видит своего начальника впервые.

**КОГДА  
КОНЧАЛСЯ  
СЕНТЯБРЬ...**



**Павел  
Денисов.**

**повесть**

Через открытый полог палатки далеко вниз по долине была видна лента Кызыра, подсвеченная солнцем. Мы часто поглядывали в ту сторону, откуда еще третьего дня должен был вернуться каюр Серафим Саганов со связкой в шесть оленей: привезти почту, курево, продукты, новости из других партий. Это солнечное утро было пятнадцатым в его пути из Верхней Гутары.

Только мы сели завтракать, как услышали голос лайки Буски, а вскоре — и характерный скрип оленьих ног и хруст шагов по ягелю. Подойдя к нам, Серафим не улыбнулся по обыкновению, и руки невесело пожимал, потом молча принялся развьючивать оленей. Мы недоумевали. Однако, зная его характер, никто из нас первым не решался начать разговор. Не любил этого старый охотник. Мы изучили его привычки, оттого и ждали, когда сам он соберется с мыслями и уж потом поведаст о происшедшем с ним за эти недели.

Когда багаж был сложен в кладовую-палатку, олени пущены на отдых под дымокуры и мы успели прочитать письма, Серафим, подойдя наконец к костру, сказал:

— Разбился Пафнутий Андреич Долецкий у Пятого... Изломало мужика, живого места нет... Нашел его в четырех часах хода от избы радистов... Насилу узнал...

— Жив ли?

— Жив, жилец ли?..

— Где сейчас-то?

— В городе, в больнице...

Серафим говорил так, будто сердился на всех.

— Нашел-то как, Серафимушка?

— Ночь к вам шел...— недовольно проворчал каюр.

— Завтракать будешь? — спросил студент Федя, бывший в отряде за кухарку, расторопный, хитрый и

обаятельный. Серафим, устало посмотрев на него, мотнул головой.

— Не буду. Спать буду...— Потом постоял, подумал... И стал укладываться на оленью подстилку возле костра.

Посудачив о происшедшем, мы стали расходиться — без толку было ждать речей: устал человек. Сколько дней был в дороге и ночь последнюю не прилег: торопился, знал наше волнение. Не дождались бы сегодня, пришлось бы кому-то на связь идти к Пятому ключу — трое суток хода по тайге. Там рация, там всегда кто-то дежурил из людей экспедиции, партии которой были разбросаны по руслам рек Гришкиной и Васькиной, Кызыра и Кызыра. Мы стояли на Кызыре, партия из семи человек. Пришлось бы радировать, коль не явился бы Серафим, в поселок Верхнюю Гутару: мол, не дождались Саганова. И значит, надо посылать на его поиски вертолет.

\* \* \*

Люди возвращались из маршрутов в этот день раньше обычного. На памяти у каждого были слова каюра о несчастье с Долецким. «Старики-геологи» бывали с Долецким вместе в поле, хаживали и в маршруты, «из одной миски щи хлебали». Однако не всякий его понимал, но, жалеючи геологическое дело, терпели. Был он неровен, нападала на него мрачность. В тайге удобны люди уравновешенные, терпеливые, открытые. Долецкий был скрытным. Ходил даже слухок, что одного начальника партии он крепко отвалтузил. Вспоминали, что произошло это после пропажи у Долецкого его собачонки Фроси, очень доброй, лапастящейся ко всем сучки. Фрося всегда бывала с хозяином в тайге, во все сезоны полевых работ. Впрочем, так никто и не узнал, за что попало красавчику Вьюноше (так его успели прозвать геологи), чуяли, однако, — за дело темное, иначе не исчез бы он так поспешно из отряда; да и почему не отстаивал своих попранных начальнических прав? Это особенно было подозрительно... Но все домыслы были на слуху, на длинных досужих языках, а толком так никто ничего и не узнал...

Долецкого по-прежнему брали в партии: он все умел, был неприхотлив, крепко сколочен и вынослив, мог работать за троих, словом, репутация за ним шла

честного человека. Звали его в экспедиции Пашей, чаще — Пафнудей.

Когда явилась к стоянке последняя пара маршрутчиков, студент Федя под одобрительные реплики затормошил Серафима.

— Спишь? — живо заговорил он. — Эх-ха! Эдак, шестикрылый ты наш, можно все твое Кайраганово<sup>1</sup> царствие проспаться. Здрассте.

— Я туда не сильно устремляюсь... — подал голос Серафим, не открывая глаз и не шевельнувшись.

— Твое дело, Серафимушка, не стремись. Лучше вставай давай... Ужин сготовил для тебя пораньше. Вон и народ жметя, поговорить с тобой невтерпеж. С работы люди раньше срока прибежали, рассказов твоих ждут...

Серафим полежал, подумал... И стал надевать скинутый во сне ватник.

— Вот ведь, Федя, не даешь старику покою с дороги. Может, я до завтрага спал себе и спал. Ну ни субботы на этой работе, ни воскресенья. Уеду в город...

— Я слышал: в городе тоже работать надо, — заметил коллектор Федотов, въедливый, насквозь прокуренный, неприятный, на взгляд Серафима, мужичонко. Смотрел он на каюра насмешливо, но не зло, на нижней желтой его губе налипли крошки махорки, прокуренные тоже желтые усёнки загнулись в рот. Серафим натянул фуфайку, обернулся к Федотову.

— Я, Федотов, в город не отдыхать еду, однако... — сказал он будто о давно решенном деле.

— Что, прямо счас, на оленях? Серафимушка, погоди, однако, я тебе харюзов в дорогу дам... — съехидничал Федя под общий смех.

— Пристали, Аза<sup>2</sup> вас задери, никуда я не еду...

— Тогда ешь скорей да говори, что там с Пафнудей Долецким стряслось. Постой, а может, все же едешь? А то я сей моментом тебя в дорогу справлю.

Серафим улыбнулся, встал на ноги, подумал... И стал спускаться к воде. Вернулся он с реки посвежевший, в углах глаз исчезли сонные персины, а с отлежалых щек и черной шевелюры — волоски ломкого белого волоса от оленьей подстилки. Туго схваченная в поясе, плотная, приземистая его фигура казалась ладной и ле-

<sup>1</sup> Кайраган (Хайраган) (тофаларский) — владыко, господь.

<sup>2</sup> Аза (тофал.) — черт, дьявол.

гонькой. Узкие черные глаза и широкое лицо разбежались в улыбке. Он снова был нашим обычным добряком Серафимушкой, страстно любившим общество людей и мужские долгие и нескороспешные разговоры. С той же улыбкой отведал Фединой ухи из хариусов, принялся за чай. За третьей кружкой и повел он разговор о Пашином несчастье.

\* \* \*

Серафим добрался от Гутары до избушки-зимовки у Пятого ключа на десятые сутки. Когда в середине дня поднялся он с нижней речной тропы на высокий берег Кызыра и зашел в избушку, то обнаружил там безлюдье, а на столе рядом с рацией увидел записку: «Пафнутя, как ты, однако, долго гуляешь, вечером третий день пойдет. Придешь без меня — ешь щи из подпола, все остальное знаешь. У нас — ни мяса, ни рыбы. Пойду к рыбному ручью вниз по реке, что-нибудь раздобуду. Если не придешь — дам вечером радио на розыски тебя. Будь здоров. Орелов». Последняя фраза была зачеркнута, но Серафим и ее прочел. Затем каюр написал свою записку: «Был я, Серафим. Оставил тебе, Птицын сын, две ноги барана. Гляди в подполье. Когда прилетишь, Орелов, поешь и дай радио — пусть ищут Пашу. Надо было дать утром».

Серафим пожалел, что сам не может «радиловать», покрутил-покрутил ручки передатчика и хлопнул себя по лбу: «Учица надо».

Поел, покормил Буску, прибрал холостяцкие хоромы избы, в подполье из бочки извлек небольшую голову кормовой соли, поделил лакомство на шесть кусков, отнес оленям — те принялись лизать угощенье. Когда выходил, обратил внимание, что два нижних бревешка сруба подгнили. Вернувшись в дом, приписал в записке: «Пафнутя! Птицын сын того не сделает. Ты — можешь. Смени нижние правые ряды сруба, упадет изба к зиме. Я тебя очень уважаю, как человека». Довольный значительностью последних слов, старик подумал о себе: «Серафим тоже правильный и справедливый...»

Отдыхал каюр недолго. Он вышел в путь, когда на электронном будильнике в зимовье было два часа дня.

В дороге верхом он почти не садился — жалел жожака, да и не надо было слишком торопиться — по

всем расчетам он прибудет в отряд Коникова на день раньше срока. Он представил, как обрадуются ему мужики, и запел от удовольствия, но скоро замолчал... Хотя складывалось все так удачно: он оставил людям баранины, заметил прохудившиеся бревна и предупредил людей, везет геологу Лодышкину долгожданное письмо от его легкомысленной женки,— все же мысль о Пафнуте Долецком перебивала все эти «большие удачи» дня, рассеивала их вовсе.

Кызыр стремил воды широкой долиной, выписывал в ее темно-зеленом разливе причудливые кренделя. Из-за быстрого течения деревья будто не отражались в воде, а лишь бросали на нее тени. Но сверху не было заметно течения. Серафим вел оленей по высокому правому берегу, когда, забыв о Пафнуте, бурчал тихонько песенку о солнышке-мамушке, о кедрах-папушках, о тайге — доброй тещеньке. Буска бежал впереди, лишь изредка сбреживал где-то вдаль, возвращался к обозу, чтобы убедиться, жив ли здоров хозяин и не встал ли на перedyх.

Часа, может, через два хода от избушки Буска примчался вдруг к связке с вздыбленным загривком, морщил нос и обнажал подтертые, но все еще белые свои клыки. За ближайшим поворотом внизу на валуне посреди реки лежал медведь, спустив передние лапы в воду. «Охотится за рыбой»,— подумал Серафим и шикнул на захотевшего сбрехнуть Буску.

— Пусть он себе охотится, Буска. Хороший зверь всегда занят делом. Молчи, Буска.

Обоз проходил над рекой, мимо медвежьей охоты, как вдруг, скрытые за кустом, два изюбра с детенышем вскочили и встали. Один из них, очень красивый зверь, стоял против громадной березы и тревожно кричал. Медведь, услышав крик, зачуял и связку. После выстрела он бешено помчался на тот берег реки, зажав в зубах хариуса, не сплюнув его от страха, смешно закидывал он вперед задние лапы. Изюбры с детенышем помчались вверх по склону.

Старик, смеясь, проводил взглядом улепетывавших в разные стороны зверей и тихо сказал себе:

— Спасибо тебе, Кайраган, ты отвел от нас страх. Мои олешки идут дальше спокойно.— Он оторвал от голубого носового платка ленту и, подойдя к той самой березе, где только что стояли звери, привязал ленту, свой тотемный знак, к нижней толстой ветке.— Спасибо

тебе...— поклонился он неведомому Кайрагану.— Теперь и чайку надо бы закипятить.

Подумал еще старик, неплохо бы прийти на это место зимой за медведем...

\* \* \*

Он допивал вторую кружку душистого подсоленного чая, когда Буска, блукавший где-то впереди, залаял по-особому. Лай был такой, каким Буска приветствовал знакомых. Серафим обрадовался и почему-то сразу подумал о Пафнутии: кому ж еще с той стороны, от Пятого ключа, и быть, как не ему?..

Прибежал возбужденный, счастливо вилявший хвостом Буска, за ним показался на тропе громадный черный кобель. Серафим от удивления встал, поставив кружку на землю.

— Тас Кара<sup>1</sup> Толжанаи<sup>2</sup>... Это ты, Тас Кара? — не веря глазам, повторил старик.— Как ты здесь оказался, Толжанаи?..

Мы знали эту громадную черную собаку из Верхней Гутары. Она встречала и провожала всех приезжих. Но никому она не давалась в руки и, казалось, не любила ласк. Пес это был феноменальный не только по размерам, но и, как всем казалось, по уму.. Кто-то даже сказал, что по уму он второй после начальника экспедиции Садыкина. Неизвестно, в чью пользу этот комплимент, однако в чем-то пес безусловно превосходил по сравнению геологического начальника.

Часто вечерами на площадке перед взлетной полосой он подсаживался к костру туристов или геологов и молча клал кому-то из них лапу на плечо, долго вслушиваясь в разговоры и песни людей. За этот эффект, который получался, когда девушка или парень (которым положил лапу на плечо почти невидимый в темноте Тас Кара) оборачивались, чтобы узнать, кто их сзади обнимает,— пес получил большую известность не только в Верхней Гутаре. Его подкармливали и вообще во всех беседах считали «за человека», «за своего парня».

Силы Тас Кара был необычайной. За семь лет, с тех пор как он появился в Верхней Гутаре, дважды зимой

---

<sup>1</sup> Тас Кара (тофал.) — имя совершенно черной собаки.

<sup>2</sup> Толжанаи (тофал.) — богатырь.

он приволакивал на спине к конторе «Заготпушнина» туши задавленных им крупных волков, за что получил среди тофаларского населения имя «Толжанаи» — богатырь, а бригадир охотников-промысловиков поставил его на общественное питание в маленькой поселковой столовой. Многие из охотников пытались приручить, привадить к своему дому Тае Кару — такой пес сулил большую удачу в тайге. Но черная большая собака никому не отдала предпочтение и жила на правах вольного, свободного охотника.

Пес подошел ближе, внимательно посмотрел Серафиму в глаза, будто убеждаясь, что этому человеку можно довериться.

— Ты один, Тае Кара? Да ты весь в крови, уж не медведь ли с тобой связался, Тае Кара?..

Пес тихо взбrehнул в ответ и, увильнув от протянутой к нему стариковой руки, развернулся и отбежал к повороту тропы. Повозившись там некоторое время, пес вернулся, неся в зубах охотничий нож.

Серафим сразу узнал этот нож, отлично сработанный, с хваткой для руки костяной ручкой. Охотники из Верхней Гутары и Алыгджера с детства запоминали оружие каждого. Хороший нож, как и топор или ружье, всегда были мечены и передавались от дедов отцам, от отцов сыновьям. Серафим помнил обычай своего народа: считать оружие священным даром. И если охотник-тофалар находил в тайге чей-то нож или топор, он обязан был вернуть их хозяину, а тот в знак благодарности давал счастливцу богатый откуп, потому что знал: вновь обретенное оружие принесет ему счастье. Знал об этом Серафим, потому так обрадовался находке Тае Кары, тут же и огорчился, поняв, что с хозяином ножа что-то случилось.

Серафим вытянул из-за спины свой нож, положил его рядом с тем, что принес в зубах Тае Кара. Они были неотличимы. Сработал эти ножи один «очень уважаемый» Серафимом человек — Пафнутя Долецкий. Серафим перевел взгляд на собаку:

— Тае Кара, веди...

Пес, присевший было, встал и будто кивнул головой. Потом дернул старика за брючину. Серафим смущенно прошептал:

— О Пурган!<sup>1</sup> Он смотрел как человек...

---

<sup>1</sup> Пурган (тофал.) — святой, божество.



Пес тихонько взбреднул и снова мотнул головой.  
— Идем-идем...—заторопился старик. Быстро собрав пожитки, он проверил надежность ремней в оленьей связке и двинулся следом за большой черной собакой.

\* \* \*

Долецкого Серафим обнаружил часа через полтора. Тот был без сознания. Лицо его было в крови и сильно опухло. Тас Кара подбежал к нему и стал слизывать с его лица комаров, мошку и слепней, роившихся в окровавленной коже.

Старик ощупал тело Пафнутия: руки были сломаны, открытых ран охотник не обнаружил, но тело было изборозжено глубокими ссадинами и синё от кровоподтеков. Старик раздел его донага и, обернувшись к черной собаке, попросил:

— Тас Кара, оближи его!— Попросил так, будто уверовал, что перед ним сознательное существо, и не удивился, когда тот послушно принялся тщательно вылизывать искалеченное тело человека. Серафим тем временем помочил водой из фляги полотенце и выдавил несколько капель на губы Пафнутия и, когда тот чуть пошевелил ими, дал ему глотнуть, потом помог сделать еще несколько глотков.

— Как ты?.. Ты слышишь меня, Пафнутя?

Долецкий молчал, но Серафим заметил, как слегка шевельнулись под его опухшими ресницами зрачки. С трудом натянув на Долецкого изорванную одежду, Серафим вытянул его руки по швам, затем, срезав два толстых березовых прута, осторожно вддел их в рукава Пафнутиной фуфайки, а торчавшие снизу концы прутов связал. Прodelав все это, он подволок раненого к стволу дерева и уложил рядом. Больше часа понадобилось Серафиму на изготовление носилок-волокуш. Сначала он было даже попробовал взвалить Пафнутия на плечи, но понял, что ноша эта ему не по силам. Несколько раз Пафнутий стонал, но кроме слова «узнал, узнал...» Серафиму ничего не удалось разобрать в этом полустонеполубреде.

Когда все было готово, Серафим обнаружил, что оленей на тропе нет, и вспомнил, что не привязал связку от волнения. Он посмотрел в конец тропы, ведущей к Мертвой осыпи, и заметил, что вся дорожка исцарапана когтями. Еще он обратил внимание на то, что лапы черного пса и живот замусолены землей с кровью.

— Ты его волок, Тас Кара,— изумился старик.— Тут до осыпи не меньше часа пути, Тас Кара! — Серафим оценивающе глянул на Долецкого: — Семь пудов, не меньше!.. Тас Кара!

Пес в ответ скульнул. Серафим задумался, потом, подзвав Буску, привязал того на веревку к дереву и обратился к черному псу:

— Тас Кара, оленя! Беги за оленями...— и показал на тропу.

Оленей черный пес привел скоро, и все же в этот день до избушки радистов добраться не удалось — стемнело. Ночью с раненым на волокуше идти по тропе было невозможно. Путь, на который у Серафима обычно уходило не больше пяти часов, занял на этот раз и остатки дня и весь следующий день.

Долецкий был все время в беспамятстве, мог только пить. Иногда бредил, слов, однако, ни Серафим, ни Орелов, ни прилетевшие потом вертолетчики с врачом разобрать не могли. Серафиму снова показалось, что он расслышал лишь одно слово — «узнал...», повторенное несколько раз.

\* \* \*

Доктор споро осматривал больного — надо было спешить.

— Шесть переломов рук и ребер. Хорошо, позвоночник цел.

Больше всего дивился доктор, что глубокие ссадины «пациента» успели зарубцеваться так быстро и «главное — совершенно отсутствуют поверхностное воспаление и нагноение». Серафима же это открытие не удивило. Он подумал о Тас Каре, вылечившем слюною воспаление, и, захватив кусок мяса побольше, вышел во двор.

Пес дремал в тени под смородиновым кустом, поджарый, большой, черный. Услышав приближавшиеся шаги, он поднял голову, открыл глаза и, зевнув, потянулся всем телом. Серафим протянул ему мясо, хотел было потрепать пса по голове, погладить, но тот, мгновенно вскочив на ноги, снова, как и в прошлый раз, не дался.

— Не любишь чужих рук,— сказал ему старик.

Тас Кара уже успел вылизать свою смоляно-черную густую шерсть до лоска. Охотник залюбовался его мощной статью и красотой, крупной развитой грудью и го-

ловой, особенно поразили старика человечески глаза Тас Кары, спокойно и властно наблюдавшие за ним. Пес, казалось, оглядывал старика так же оценивающе, как старик собаку.

— Пурган Аза,— прошептал охотник.

Вертолет-больница с красным крестом на борту стоял на широкой, ослепительно белой под ярким солнцем отмели, среди насыпей нанесенной потоком крупной гальки, неподалеку от заломанной паводком громадной кучи из стволов деревьев: пойма реки в этом месте раздалась вширь на полторы сотни шагов.

Носилки с телом Пафнутия по возможности осторожно впили через задние створы в нутро машины.

Громадный, вороного отлива Тас Кара напряженно стоял в десяти шагах от вертолета, вытянув голову вперед и вынюхивая струю воздуха, текущую из вертолетной утробы, куда упрятали Пафнутия. Он почти неслышно скулил.

Доктор поднялся по приставной лесенке на борт, обернулся и, глядя на собаку, заметил вслух:

— Что-то их связывает...— и махнул рукой.

Заревел запущенный двигатель, и последние слова его ни Серафим, ни Орелов не расслышали.

Несколько минут вертолет, судорожно подрагивая, крутил, не отрываясь от земли, лопастями; в стороны по отмели понеслась галька с песком, выветренные напором воздуха. Таежники отвернулись и закрыли глаза, когда же они их открыли, вертолет зависал уже над долиной Кызыра, потом медленно поплыл меж хребтов в сторону Гутары.

\* \* \*

Верхняя Гутара — деревня дворов в шестьдесят. Там — магазин, почта, на окраине тарахтит динамо-машина на двести лампочек. Большинство населения — тофалары (сейчас их немногим более пятисот человек) — небольшая народность, что расселилась издревле по верховьям рек Бирюсы, Уды, Ии, Гутары, Кызыра и других. Тофалары, раньше называемые карагасами, — потомки населения, входившего в семнадцатом веке в пять административных улусов «Удинской земли» Красноярского уезда. Раньше этот народ вел кочевой образ жизни, долго сохранял и первобытнообщинный строй. Ныне, как и прежде, тофалары — отменные охот-

ники и оленеводы: берут в «своей тайге»<sup>1</sup> соболя и белку, медведя и росомаху, пасут в горах оленей, шишкуют кедр. Живут в нескольких разбросанных далеко друг от друга поселках.

В Верхней Гутаре посадочная площадка — лужок метров сто. Самолет, взлетая с нее, резко карабкается вверх, чтобы не ткнуться носом в гору. В здешних горах вообще трудно отыскать сколько-нибудь ровную площадку протяженностью хотя бы в несколько десятков метров. Здесь — неверные курумнистые елани, глыбистые склоны, поросшие вековым кедром, пихтой, сосной да березой...

Осенью, когда гольцы покрыл несхожий снег и кончился геологический сезон, а охотничий еще не подошел, мы с Серафимом решили лететь в Нижнеудинск — повидать в больнице Пафнутия Андреевича Долецкого.

В маленьком четырехкрылом самолете разместилось десять пассажиров, в том числе большая кремового цвета корова, которую везли на прививку в город. Корова оказалась самым спокойным пассажиром.

Взлетаем, и приближаются к нам горы, то одна, то другая, облака гладят их пуховыми боками. Уходит из-под ног гутарская гора Синюха, фиолетовая гора-осыпь. Она, сейчас пятнистая, солнцем вся запятнана, словно передвигается вместе с облаками. Это земля, тело ее дышит, меняя лицо, — то грустнеет, то улыбается, то хмурится. А дальше пошли под нами зелено-сизые разливы горного леса — Саянской дремучей тайги, изрубленной синими полосками рек и ручьев. Пролетая над вершинами невысоких гор, мы видим столбики топографических знаков — «марки», так их называют топографы...

Корова, на удивление, хорошо перенесла полет, в тихом посапывании и нежном мычании, остальные вышли на воздух в Нижнеудинском аэропорту с зелеными лицами и потупленными взорами.

\* \* \*

Долецкий заметно обрадовался нам. А его глаза буквально озарились этой радостью. За все годы общения такого, пожалуй, с ним не бывало. Было приятно,

---

<sup>1</sup> Своя тайга — участки охотничьих угодий, закрепленные за отдельными охотниками.

что мы явились причиной радости Пафнутия, обычно невозмутимого и даже мрачного.

Многое из того, что случилось с ним, Долецкий знал уже из рассказов раньше нас вернувшихся с «поля» геологов. И все же он попросил Серафима возможно подробнее пересказать о прошедшем лете и особенно обо всем, что касалось его необыкновенного спасения. О себе он обещал рассказать после.

И почти целый день, несмотря на запреты нашего знакомого доктора Ефимова из спасательной авиации, мы не расставались с ним, и нескончаемо говорил старик Серафим о лете, об охоте, переходах из партии в партию, о начальнике Садыкине, потерявшем в маршруте по руслу Гришкиной реки наган, и, наконец, о том, как вывозил он Пафнутия из тайги, и о большой черной собаке. И снова мы подивились тогда силище Тас Кары, неведомо как оттащившего Пашу от Мервой осыпи по труднопроходимой тропе почти на десяток километров вперед, к развилке Кызыра.

— Тас Кара Толжанаи — спаситель твой! — торжественно заключил свой рассказ Серафим. — Серафим не нашел бы тебя: Мертвая осыпь далеко в стороне от тропы... — добавил он, подумав... И стал собираться. — Ефимов зудит: «Завтра шиш вам, говорит, а не свидание».

Пафнутий весь день больше молчал, лицо его было грустным, лишь изредка он торопливо прерывал наши рассказы вопросами, словно боясь упустить что-то особенно важное для него. К концу, когда Серафим сказал о Тас Каре-спасителе, Пашино лицо стало мрачным. Заметив это и решив, что совсем переутомили неокрепшего человека, мы поспешили договориться о встрече на завтра и уйти. Выходили мы из больницы с мыслью о Пашиной неудачной жизни, больше же всего нас с Серафимом удивила его реакция на рассказ о собаке. Тут Паша явно что-то от нас, да и ото всех, скрывал. Тут была какая-то связь.

— Помнишь, что сказал доктор там, у Пятого ключа?.. — спросил будто самого себя Серафим. Мы ждали завтрашнего дня, ждали рассказа этого неясного нам человека.

\* \* \*

— Может, неприятно вспоминать, Паша?..

— Отчего же, можно, теперь можно... Ночью я все

думал, когда же это было, когда надломилась у меня душа... И кажется, припомнил. Да, конечно, в тот самый год, когда мне первый раз не поверили...— Долецкий отхлебнул глоток чая и неловко поставил кружку на край скамьи. Кружка опрокинулась, залив чаем брезент, раскинутый под ноги Серафимом. На брезенте были разложены таежные его пожитки. Старик приготовился к долгой беседе, потому принес в чайнике кипятку из больничного титана...

— Ой-ой, Пафнутя, рука-крюка!..— воскликнул он, быстрым движением скинул пожитки с мокрого брезента, встряхнул полотнище, снова постелил его под ноги и сгреб на него вещи.— Гармошка твоя сухая,— улыбнулся старик,— сыграешь. Люблю твою музыку... Пафнутя, очень много люблю слушать...

— Видно будет...— Пафнутя улыбнулся в ответ, лицо его подсветило красным восходящее на востоке, игравшее в узких облаках большое солнце.— Поиграю...— Он размял до белизны шрам на правой руке.— Поиграю, если смогу...

— Извини, Пафнутя, когда был тот год, когда тебе не поверили? — Серафим подвинулся поближе к ногам Долецкого, приготовившись слушать.

— Тогда меня выгнали из летного училища...— начал рассказывать Долецкий.— Очень неприятно было, когда выгнали... Только в воздух стал подниматься, только мечтать о небе высоком начал! Если б инструктор был со мной на борту или кто другой, доказал бы: в штопор завело машину не по моей воле — поломка случилась!..

Это был мой третий и последний полет, имею в виду одиночный. Решили: от лихачества машину загубил, сам чуть не убился... Я ж нет! Все делал, как учили, спасал борт до конца... Парашют едва раскрыл, выскочил на последних секундах...

Не поверили! Обозвали безответственным и вышвырнули, как шелудивого пса. Вера! Как мне нужна была тогда вера!..

Мотался потом долго. Все порисковее места искал: и на сплаве был, и лесорубом, и трубы по тайге тянул, и буровиком. Попробовал писать очерки обо всем, что видел,— не мое дело: бросил. Пить стал много — тяжело на душе, погано было.

Потом думаю: «Так не пойдет дальше, совсем сломаюсь, озверею». Мужики все, с которыми работал,

вроде любили меня, свойским называли по пьянке, но им тоже сказал:

— Баста! Точку ставлю на такой жизни! Учиться буду, готовиться надо!

Отстали — больше не пил. Стал смотреть на себя, кто же я такой есть? Как мне дальше жить?

Поехал в Новосибирск — Академгородок строить. Общежитие дали. Правду сказать, спал я больше на работе. Два года в «общаге» почти не видели меня, только по праздникам. Верно, не одобряли: «Кто такой этот человек? Деньги платит — сам не живет». А я по-своему думал: «Авось пригодится, понадобится жилье... Ненароком женюсь — возраст-то давно подоспел».

Построили Академгородок. Там и встретил я эту собаку. Для меня тогда самое время было учиться. По медицине решил пойти — очень серьезным это влечение было. Говорили, чтобы поступать в медвуз, нужно и работать по медицине. А какой из меня медик!

Долго предлагал я свои руки, но они все для медицины не годились. Наконец дали мне должность, как-то очень научно она значилась: «Препаратор». Но посмотрел я, кто это такой — «препаратор», понял — влип. Там, в лабораториях, препараторши одни — все сопливые девчонки в халатиках. Одна мне очень приглянулась, хотя и язва сильная. Из-за нее и застрял в препараторах. Смазливая такая была девчонушка, ножки длинные, рожица озорная, сама спортивного склада: Фросяшка моя — так ее звали. Меня «дедом» обзывала. А какой я дед? Тридцати нет.

— Дед, а дед!... — крикнет бывало на всю лабораторию. — Ты ученый, что ли? — и зальется вздохом. Зубки востренькие, белые клычки, будто точены. Чистая душа девка. Голосок звонкий...

А я-то и вправду чучелом смотрелся, когда натягивал на себя это пугало белое — колпак, еще стеколышки мне такие малюсенькие сунут в руки, совсем терялся, и борода на халате лежит, и всем-то она покоя не дает, всем-то мешает борода моя. Все эти соплячки мне советы заладили:

— Сбрей да сбрей!

Горько стало, доложу я вам, мужики.

— Нет! — говорю одному другу моему, профессору, вместе мы корпус с ним один научный поднимали во время стройки. — Не по мне «препараторство», не осилю... Стеколышки в руках давятся, не могу...

— Что ж...— говорит,— будешь собаками руководить в лаборатории переливания крови.

Все у них в медицине важно звучит: препарат, переливание, анестезия или инфлюэнца! А если по-русски, так эта инфлюэнца — обыкновенный грипп.

Согласился я. Знал бы, что они делают,— не пошел бы. Каково, вы думаете! Шесть собак забьют, на седьмой, самой здоровой, экспериментируют: кровь в нее переливают из остальных, пересадки производят. Дело важное для науки, но не по мне... И ставка у меня неважная была — полста, это по-научному у них столько полагалось. Нынче вроде прибавили. Сестры в больнице тоже говорят, лучше стало. «Тяжела медицина,— подумал я,— долго на этой работенке не протянешь, благо что халат белый, да им-то сыт не будешь». Подыскал я еще применение своим рукам, а то б и зубы на полку; в силах ли должность медицинская прокормить меня, посмотрите, мужики, на меня...

— Ни в коем разе...— отозвался тихо сидевший Серафим,— не прокормить тебя, Пафнутя.

— То-то и оно. Об учебе мысль меня держала в медицине.

А с собаками, кстати, дело пошло худо. Медицина тогда только на ноги вставала в Академгородке: скоро фонды на собак вышли. Не на что их стало покупать — спирт пошел в ход.

По должности приходилось мне собак добывать по деревням новосибирским. Машину дали, нарукавники меховые, не от холода — для защиты от зубов.

Так и катался по поселкам за псами: а на душе камень лежал: жалко собак, от природы жалостливый я... Привезу в институт, кормлю, пою, холю... Привыкал, словом, к ним, словно к детям. Я-то сам детдомовский, родители и старшие братья в блокаду ленинградскую перемерли. Меня одного и вывезли в Сибирь-матушку.

Так вот, а над собаками потом — эксперименты делали. В дни опытов уезжал я от института подальше, брал за свой счет; чуяли они, сукины дети, заливались блажно. Не мог я их голоса переносить. Решил, поступлю в студенты, так оставлю должность эту посылую — не по мне. Пусть нужно, пусть благородно — не по мне, склад у меня другой. Другой-то раз приду с работы, возьму гармошку, когда на свет божий смотреть тошно, да и успокоюсь играючи.



Незадолго перед экзаменами случай такой вышел, что все решили — в медицине далеко мне идти.

Слух как-то разлетелся по институту, будто в одной деревеньке есть пес-гигант, который любой эксперимент, хоть ему пять голов прирасти чужих, а хоть и все ноги новые пересади,— все выдержит.

Заведующий мой, профессор, как прослышал про то, сам не свой стал, заскучал, осунулся — нужна ему стала эта собака позарез. У него тоже план свой был, а его подопытные больше всё дошли не вовремя, сроков плановых не выдерживали. Смех и грех. А он сильно настырный доктор, заводной... Неделю места себе не находил, потом и вовсе исчез. Приехал через три дня, машину ведет не сам — обе руки в повязках, вместо физиономии глаза одни скучные настырно из-под бинтов искрят.

— Да! Да-а-а! — говорит.— Это, Паша Андреич, феномен.— И слезы у него из глаз выступили.

А я думаю, не дело мужику так убиваться. Я с небом моим, с мечтой детства, расстался, не прослезился. Нашло на человека, так не нашло, а прямо наехало. Однако жалко стало мужика, может, этот пес больше, чем моя мечта детства... Но я молчу. Сам чую — теперь-то он от меня не отвяжется. Хорошо я понимал ход мыслей моего профессора.

— Леонтич! — говорю.— Что хочешь делай, но идею об этом псе оставь. Не поеду за ним. Хоть уволь — не поеду!

Готовиться надо было мне серьезнее — экзамены скоро, и отпуск учебный мне дать обещали. А больше всего жаль было такого пса для эксперимента, хоть и не видел его. Раз хороший такой псина, пусть живет да потомство себе под стать заводит.

Через неделю Пал Леонтич снова пропал. И снова не солоно хлебавши вернулся, только еще больше покусанный, и глаза одичали совсем от расстройства, а два его кандидата молодых, ассистента, прибыли на службу тоже, скажу я вам, не в лучшем виде.

По институту разговоры пошли, мол, директор вызывал на ковер Пал Леонтича и будто приказывал под угрозой отстранения от должности и от операций оставить походы за феноменом. Велел руки беречь — хирург Пал Леонтич был мастерский.

До меня этот слух быстро просочился, и понятно мне стало: профессор мой зачахнет, если феномена ему не достать. Встретил его и намекнул, что все мне известно.

— Слышь,— говорю,— Леонтич, люблю я тебя, и дело ты большое вершишь. Но не лезь ты больше к этой проклятой суке, отъест она тебе мослы...

— В том-то и дело,— говорит,— этот индивидум — кобель!

— Меняет ли это дело? — отвечаю.— Какая разница, какой пол тебя загрызет, профессор.

— В том-то и дело, что разница существенная... Сука мне не нужна,— сказал это он с особым ударением и настырностью.

— Сколько же этот кобель спирта потребует? — спросил я.

У Пал Леонтича заблестели глаза, ему показалось, что я сдался.

— Даром его тетка отдает, только возьми...— сказал намеренно безнадежно, но я-то заметил, что в глазах у него опять настырное сверкнуло. Почуял, к чему клоню.

— Как это — даром?

— А так!.. Только бы ты, Паша Андреич, увидел его хоть мельком! — И улыбнулся мой профессор так блаженно, словно дитя малое. Я его только раз таким и видел: когда у него в лаборатории голова одной собаки пересаженной глазами заморгала...

— Быть того не может, Леонтич! — возразил я.— Нынче собаки в цене. Шапки из собачьего мехашивать стали, сволочи...

— Да при чем тут шапки! — перебил он меня в нетерпении.— Хозяйка мечтает от него избавиться. Боится Черного Дьявола. Тот не изволит ее даже подпускать к себе. И кормит-то его весьма оригинальным способом — на вилах миску протянет, а сама дрожит. Тот, «в знак благодарности», нос гармошкой морщит, гложет и рычит, как зверь дикий. Соседи-старухи говорили, что теткин «покойничек-хозяин, пьяница», бил пса смертным боем, издевался!.. Драгоценный мой пес!..— У Пал Леонтича снова заблужило в глазах настырностью.— Когда он встанет, упрется горлом в цепь, эта милая женщина ему... как бы поточнее выразиться... ну, так сказать, по пояс. Феномен! — не сказал, а простонал профессор, лицо его стало серым.— И-и-идеальный экземпляр для работы! Будь уверен, я-то уж знаю это абсолютно...

— Ну уж прости! — сказал я ему тогда. На том мы и расстались в тот день.

Долецкий смахнул паутину с наросшей в больнице

бороды. Помял шрам на правой руке, поднял на колени гармонь, накинул ремни и растянул мехи.

— Эх, да-а за морем, эх да-а за небом чистым...— тихо запел он.

— Постой, Пафнутя, еще наиграешься... Что-то на тебя не похоже, что отступил...

— Руки ноют, не играется, не поется...— Долецкий отставил гармонь в сторону, отпил глоток чая, осторожно поставил кружку рядом с собой и глянул на Серафима укоризненно.

— Не скажи, Серафимушка... Утром мы с Леонтичем уже ехали в ту деревню и ассистентов прихватили, «испытанных людей». Те всю дорогу зубами лязгали, то ль от холода, то ль от памяти прошлой поездки.

\* \* \*

Профессор указал мне двор своей «милой женщины», владелицы феномена. Я вошел туда, а он и его покусанные друзья-кандидаты замешкались за калиткой.

Я осматривал подворье — пса не видел. Вдруг, я не знаю уж почему, почувал не то зуд, не то дрожь под лопаткой. Тьфу ты! Неловко и вспоминать... Обернулся к вошедшему во двор Пал Леонтичу и замер. Все нутро у меня насторожилось от его взгляда. Он шевелил губами и как-то чудно протягивал вперед забинтованные руки, будто защищался от кого-то, силился он и сказать что-то. Нет, смотрел он не на меня, а куда-то поверх моей головы. Вспомнил я слова Пал Леонтича о размерах собаки... И, прикрыв голову руками, резко я обернулся... И только успел разглядеть его акульки клыки, зарябивший морщинами нос.

Нора собаки была выше фундамента, под выходом из нее сделана была широкая полка, оттуда и прыгнул на меня пес. Торкнул он меня крепко, я сшиб одного кандидата. Пес попробовал дотянуться до меня и когтями скреб землю, но лишь туго натянув цепь, встал в рост.

Хорош он был, феноменище! Можно считать, что мне повезло на этот раз, он успел выдрать клочок ватника и не очень глубоко прокусить правую руку.— Долецкий потер шрам, как бы подтверждая свои слова, прокус был довольно сильный.— Из хаты тем временем,— продолжал он,— вышла тетка в болотных сапогах, с кривым на левый бок лицом. В карих глазах — печаль.

Напереживалась «милая женщина» со своим дикарем, подумал я.

— Снова приехали! Порвет он вас. Отступитесь: убитку натерпите. Помирать мне с ним... О горе мое!.. — запричитала она, увидев мою разодранную руку, и всхлипнула.

А я ей, дурья башка: «Не бойсь, мамаша!» — ляпнул, а у самого тяжело как-то на душе стало.

— Зверь он, зверь, даром что на цепи, — снова заскулила тетка. — Кого хошь заломит, Горыныч, ей-бо, Горыныч... Ух, я тебе! — погрозила она псу, а сама-то, видно, тетка трусливая, ухо держит остро, близко не подступает, хитра.

Мы уселись на скамейке возле дома. Леонтич забинтовал мне клешню. Сидим, на Горыныча смотрим. Вдруг Пал Леонтич эдак тихо поднимается, а рука у него за пазухой. Подумал было, порешить хочет Горыныча, наган сейчас вытянет... А он колбасы достаает.

— Горыныч, — шепчет елейным голосом. — Ты ж меня помнишь, Горыныч, ну вот возьми колбаски, возьми! — И руки забинтованные с шмотом протягивает. Тот пружиной сжался...

И только услышали мы легкий рык, треск и крик тетки:

— Вон со двора! Укратители акаянные... Я вам покажу заборы ломать, буду жаловаться... — блажила она. — Не выйдет...

Пал Леонтич, стусевавшись, пытался поднять упавший плетень. Глаза он прятал от нас и беспомощно дергал плетень вверх, обламывая одну за другой плетины, давно пересохшие: «щелк» да «щелк», трещали они.

Тетка еще пуще взвилась:

— Вредитель, нарушитель!.. Оставь забор, акаянный...

Но Пал Леонтич, не слыша ее крика, машинально продолжал отрывать один прут за другим. Я не мог видеть этого, любил его.

— Не горлопань, — говорю тетке, — человек и без тебя сам не свой. Я попробую еще, совсем-то он меня не сожрет! — И улыбаюсь наподобие удавленника — губы ведет и заводит не туда.

Одел поверх ватника два халата, руки голые, чтоб цепче. Приближаюсь. Гляжу собаке в глаза. На душе нехорошо. Чую, льдом кто-то меж лопаток водит. Толь-

ко бы, думаю, прокушенная рука не подвела... И феномен в недоумении...

Смотрели мы так друг на дружку долго, мне кажется, не меньше, может, часа... Потом шагнул на него одним махом... Слышу, зубы клацнули — подплечника вместе с двумя халатами как не бывало. Хорошо, под фуфайкой пиджачонко надет.

Ухитрился я его за ошейник прихватить. Уж как он в руках у меня оказался — тут я встряхнул его сильно, от земли оторвал. Стоит он на двух лапах, зверина, передними — воздух молотит, да все, как говорится, мимо денег. Подержал его таким манером с полчаса, встряхивая, — он и сник, задыхаться стал.

Ну а как отвязал цепь — моим стал, притих. Его боялись — страшен был, сам понял силу — так и сник, животному против человека делать нечего. — Долецкий умолк, сощурился, улыбнулся.

— И что потом? — не выдержал молчания Серафим.

Долецкий отхлебнул несколько глотков чая.

— Потом... Все и началось. Проходу не стали давать. Слух о Горыныче весь городок облетел. Стали приходить на него пялиться. Сначала на него поахают, всего с ног до головы обглядыт, потом — меня тем же манером.

С того времени с большим уважением ко мне вся инсти-туция относиться стала. «Пафнутий Андреич! Пафнутий Андреич!» — только и слышал. Легенды обо мне пошли меж профессуры.

Феномен, однако, так и не привык к людям, так и остался для всех диким, разве что не бросался на людей. Только меня признавал и полюбил, разрешал себя трогать и моей Фросюше, препаратору.

Когда стал я поступать на хирургию, меня уже и комиссия приемная знает. Услышат мою фамилию и: «Долецкий, Пафнутий Андреич, тот самый, — говорят, — укротитель! У него рука надежная, далеко в хирургии пойдет! Герой!» Для меня эта реклама — нож острый, неудобно, вы ж меня знаете.

Я на вечернее поступал... В общем, стал учиться, и Пал Леонтич у нас тоже преподавал. Так прошло года полтора. Горыныч стал моим другом, слушал меня с полуслова, а уж сколько мы с ним у костров ночевали, порыбачили да поохотились... И чему он только не научился! Знал не меньше сотни слов, только что сам не

говорил. Добрая, хорошая душа у собаки проявилась... Души мы с ним в друг дружке не чаяли...

\* \* \*

И тут пришло, накатило на меня это время — черед Горыныча в лаборатории резать. Тут-то я и восстал.

— Не дам, меня режь, а его не дам,— сказал я Пал Леонтичу.

— Но послушай, Паша Андреич, мы же к этому эксперименту столько готовились, столько надежд у нас с ним связано. Да и не забывай, что он собственность лаборатории. Он оприходован, ему фонды на питание отпущены. Он государственный!.. — и настырно поднимает для убедительности палец вверх.

— Может, и я оприходованный? — спрашиваю его.

— Не мешало бы,— отвечает. Ну что с ним после таких слов разговаривать!

Зато после разговора этого и хлебнул я шилом паточки с моим псом. Едим мы с ним одинаково хорошо. И, скажу я вам, кормили его до разговора с Пал Леонтичем отменным продуктом. Как поняли, что под нож не пойдет, что он уже не экземпляр, а мой пес,— закрыли кормежку. И Пал Леонтич недобро стал на меня смотреть, будто за пазухой кирпич держит.

— Вы,— это он уже официально ко мне обращается,— вот что, Пафнутий Андреич, или отдавайте пса, или уходите подобру-поздорову с ним подальше... И на лекции ко мне можете не являться, не могу, не желаю видеть тебя, Паша...

А что я мог поделывать! И в самом деле, по ходу его мыслей, вроде я предатель, а по-моему, он хуже предателя. Конечно, и понимал, и знал я, что науке мой Горыныч может как хлеб голодному, но как гляну в его человеческие глаза — знаете, как он может смотреть,— как представляю, что отрежут моему другу голову, невозможно горько и тошно делается. Так и решил про себя, не бывать тому, проживет медицина без феномена и вообще она — не мой полет, не по мне это дело. Тут люди с моим характером — один вред, руки никак здесь дрожать не должны. Так-то оно так... Ан не тут-то было.

\* \* \*

Пришлось мне, конечно, уйти из института и общежитие снова оставить. Снял я сарайшко на окраине го-

рода, туда мы с Горынычем и перебрались, он из просторного вольера лаборатории, я из своей уютной комнаты «общаги». Живем... И что же вы думаете: все так и пошло на лад? Ничуть не бывало...

Фросюша моя в один из таких дней и сказала:

— Дед, если любишь меня, отдай Горыныча профессору.— Не знаю, сама ли она до этого додумалась, или Пал Леонтич ее надоумил, только приводит она доводы убедительные: — Не могу же я с тобой в сарае жить, с тобой и собакой! В общежитие Горыныча не пустят, нам его не прокормить. Куда денешься, Паша,— такова жизнь. Горынычей, может быть, в жизни много, я — одна, да и жизнь у нас с тобой, Паша,— одна...

Накануне того дня я ей предложение сделал, потому можете представить мое состояние, когда услышал я эти слова. Но и то надо взять в расчет: ведь и Горыныч мне будто сыном родным стал,— столько вместе откоротали дней и месяцев, скоро два года было бы. Раньше его не потребовали — доноров для него подобрать не могли. А за это время столько воды утекло. А как встречал меня каждый день! Радости-то сколько в глазах...

Долецкий улыбнулся и примолк, лицо его подобрело. Не смели мы его даже торопить. Ждали. Так просидел он, блаженно улыбаясь, уставивши взгляд куда-то вдаль, с полчаса. Потом разом очнулся:

— Да. Так вот и дилемма получалась: брать жену и оставлять собаку. Заставила меня Фрося помучиться, решая эту задачу.

А весна в тот год была буйная. Все цвело, солнце морило и распекало душу. На Фросю не мог я легко смотреть, как прежде. Тянуло меня к ней всем сердцем. Как увижу ее мордашку смеющуюся, зубки белые острые, походку легонькую мягкую, весь возрадуюсь. Уж так мне захотелось ее обнять покрепче и не пускать от себя, мочи не было, голову вздурило.

— Ладно,— говорю,— отведу пса Леонтичу.

А сам решил Горыныча пустить на вольную лесную жизнь. Увез его на следующий же день за двести километров к приятелю-охотоведу. Там наказал ему слушаться нового хозяина и вернулся в город.

Приехал и сразу к моей девочке. Так и так, говорю, собаку пристроил, будем жениться. Пошли в загс. Заявление подали на другой же день.

Только что от исполкома отошли, а на меня набрасывается Горыныч. На шее перегрызенный канат. Вертится вокруг, не нарадуется, всего исцеловал, глаза счастьем полнятся. Только что не поет, а скулит от радости.

Фрося сама не своя, смотреть на нас не хочет: развернулась и пошла в обратную сторону от нашего общезития.

— Нет,— говорит,— собачник несчастный, жить я с вами не стану. Мне и у родителей неплохо живется. Живи со своим кобелем один, а меня уволь от такой житухи...

Я ей: «Постой!» — кричу. Люди-зеваки стали любопытствовать, что случилось, она даже не обернулась. А как же я сам мечтал об этом нашем совместном дне. Собиралась она остаться у меня в общежитии. Ребята и стол праздничный приготовили для нашей встречи. Как она хотела этого дня!.. Весна-красна так душу намаяла девке, я-то видел ее состояние... А тут — на тебе счастье: черный пес Горыныч поперек нашей первой ночки стал. Так меня разобрали эти мысли, что в сердцах и повел я друга своего в академию к Леонтичу. Запер его не в вольере, а в клетке: сиди, жди, друг Горыныч, эксперимента: и профессору позвонил, мол, привел собаку к тебе, радуйся. А сам, ног не чуя и души не чая, полетел к Фросиным родителям в дом, да там и заночевал — состоялось мое весеннее счастье, поженились мы с ней, моей красавушкой.

Долецкий горько охнул, приложил руку к груди, глубоко, судорожно хватанул в легкие воздуха.

-- Да. Что ж потом?.. Потом не заладилась у нас с моей девочкой жизнь. Что-то тошное пролегло меж нами. Вроде и хорошо ко мне относится, а ни с того ни с сего к каждой юбке ревнует — не верит. А я так не могу. У самого на душе беспокойно, вроде как она и есть причина моего предательства, из-за нее друга я предал. И мысль свербит, мол, раз на предательстве жизнь начата, добром не кончится. Она масла в огонь подлила, говорит как-то, мол, я так легко отдал своего Горыныча в обмен на нее, что придет время и ее, надоевшую, обменяю на другую. Ох и пошла у нас грызня после этого. Верите ль, жизнь опостылела.— Долецкий торопливо отхлебнул из кружки вновь заваренного чайку и снова



молчал столь долго, что Серафим не стерпел и спросил:

— Горыныч пропал в клетке, Пафнутя? Пропал ли?..

— Не пропал,— горько прошептал тот.— Не пропал он, Серафимушка. Я пропал, это да, верите ли нет...

Горыныч просидел в клетке неделю, дожидаясь меня. Не ел, никого к себе не подпускал. Люди говорят, даже не брехал, как другие собаки в предчувствии операций, Только, говорили, стонал, будто раненый иль смертельно обиженный человек.

На седьмой день он исчез из клетки. Обнаружили разогнутый прут, решили, что кто-то выручил пса. Кто же мог подумать, что сам он его отжал, этот прут в полтора пальца толщиной. Я-то знаю, что сам спас себя Горыныч, меня не дождавшись в целую долгую неделю страха и тоски. На том отогнутом пруте были заусенцы от его клыков. Люди думали — от ломика. А на боковой стене клетки доски были глубоко исцарапаны его задними лапами,— в нее он упирался. Стекло оконное в вольере высадил в прыжке, и так оказался на свободе...

Он не пришел ко мне, поняв, что происшедшее с ним вовсе не недоразумение. Он понял, что мне больше нельзя верить. А я был для него, по его собачьим понятиям, не меньше бога. Потеряв веру ко мне, он не мог больше доверять людям.

Впрочем, его несколько раз видели у моего нового дома. Я тогда уже получил свою однокомнатную квартиру, потом он надолго пропал. В последний раз, следующей весной, он пожаловал не один, с супругой, такой рыжей никудышной собачонкой — да ведь сердцу не прикажешь, раз любовь у него к ней собачья. Потом он совсем исчез. Собачонка осталась у меня.

Да, я, кажется, не сказал,— жена моя к тому времени стала жить с другим, поэтому в память о ней сучку, приваженную ко мне Горынычем, назвал я Фросей. Эту Фросю вы, наверно, помните: я всегда брал ее в поле. Кстати, третьего года тому Вьюнош, видели этого хлыща, сладил из Фроси себе зимнюю ушанку. Когда я бил его, он оправдывался, что, мол, собачьи шапки нынче в моде...

Я все еще не теряю надежду встретить и вернуть Горыныча: теперь, да и все эти годы, мне кажется, он где-то поблизости, мой пес. И люди говорили — видели его. Семь лет ездю в поле и на охоту в Гутару и семь лет,

как поселился там Тас Кара... И там он не подходит ко мне, мой пес, боится неверных моих глаз, видит в них клетку...

Не пропал бы Горыныч, не ушел бы совсем в тайгу звереть...

Когда он тащил меня от Мертвой осыпи, узнал я его. Может, он простил?..

— Тас Кара не оставит тебя,— прошептал вдруг старик.— Собаке без человека — конец, как человеку — без веры: зверями станут.— Говоря, Серафим смотрел на солнце, и казалось, лицо его улыбается.— Скоро месяц охоты на соболя — Алдылар ай<sup>1</sup>. Приезжай на охоту в Гутару. Тас Кара любит первотроп, он пойдет с тобой в тайгу. Ты хороший как человек...

После столь значительных для него слов старик еще долго смотрел на солнце. Созерцание светила прервал на этот раз Долецкий:

— Как это ты на солнце так долго можешь глядеть?

— У меня глаз узкий.— Серафим хитро улыбнулся.— Солнце мне — костер, в костер смотреть хорошо...— Он перевел взгляд с солнца на Долецкого.— Почему ты в Мертвую осыпь ступил?

Долецкий смутился, лицо его как-то по-детски скривилось, в глазах показалась растерянность: отвечать — не отвечать?

— За чокнутого не приняли бы? — На этот раз он сказал это мне, а не Серафиму. Охотник подбодрил.

— Дело не злое — бояться не нада...

— Какое уж там злое — бабочек на осыпи ловить!..

— Кого-кого?

— А кого слышали. Мотыльков, говорю, ловил...

Серафим понимающе кивнул:

— Кольке мому?.

— Да... Из-за него Паганелем заделался... Коля твой палых мотыльков собирал, я живых стал губить на осыпи. Живое губил в тайге. Видно, за то Пурган меня твой покарал.

Из их реплик я ничего не понял и переспросил:

— Для чего, Пафнутий Андреевич? — И снова переспросил: — Для чего бабочек?

— А ты, Терентий Куприяныч, лучше у Серафима вон спроси: он расскажет и покажет...— Долецкий в смущенье отвернулся.

---

<sup>1</sup> Алдылар ай (тофал.) — октябрь.

Серафим на эти слова загадочно блеснул косым глазом.

— Скажу в Гутаре. Ты, Терентий Куприяныч, не был у сына моего? — спросил он как бы на всякий случай.

— Нет...

— Понимаю... Познакомитесь. Ну, Паганеля,— обратился он к Долецкому,— тогда спасибо тебе. Уважаю тебя как человека! — Последние слова были самой весомой похвалой старика. Долецкий знал об этом и благодарно пожал Серафиму руку.

— Так не забудьте, Терентий Куприяныч, к Николаю зайти,— напомнил он на прощание.

В Гутару летели на этот раз вчетвером: мы с Серафимом и корова с хозяйкой.

— Летунья твоя корова, ей бы летчиком...— сказал Серафим, разглядывая красавицу буренку.— Телиться скоро ль будет?

— Да уж скоро,— сердитым голосом отвечала тетка.

— Куплю у тебя телку. Нонь без коровы нам нельзя: восьмого Мария рожать направилась зимою — молоко нада... А ты что сердита, Зинаида?

— То и сердита, что «летчица» моя от уколу весь ветпункт перевернула-разнесла. Штрафу за урон двести рублей взыщут... А ты что это, Серафимушко,— перевела она неожиданно разговор,— до каких же лет детей клепать собрался! Сколько годов-то тебе?

— Десяток седьмой на исходе...— смущенно отвечал старик.

— То-то: седина в голову — бес в ребро-от... — удивилась и возмутилась бездетная Зинаида.

— Получаются... — извиняюще сказал Серафим.— Куда денниси?

— А я и не сужу,— озорно сверкнула мутными своими глазками Зинаида,— ты б меня с охоты наведаль, может, и я понесла бы... ха... ха... ха... — прыснула она, вконец смутив охотника.— У него, ха... ха... корень жизни сильно крепок,— заливалась она, нахально глядя на потерянного старика.

— Денисова постыдилась бы, Зинаида...

— Чего его стыдиться, свой он брат охотник. Так говорю, Терентий Куприяныч? — обратилась она ко мне, едва сдерживая смех.

— Что же вам ответить...

— А можете не отвечать... Так наведаешь, Серафимушка? — снова принялась было она мучить старика да вдруг охнула: самолет провалился в воздушную яму. Она глянула в оконце: — Над Мертвой осыпью летимот, здесь, аннака, завсегда мятый воздух, не держит...

В Гутаре самолет встречали, по обыкновению, мальчишки и свора собак, бежавших следом до полной остановки машины.

Прямо с посадочного луга, подсобив Зинаиде вывести с борта корову, отправились мы с Серафимом к Николаю, среднему сыну охотника.

Николай уж года два тому как сработал новый сруб с большими не по сибирской местности «итальянскими» (как называли их здесь) окнами. Было Николаю за двадцать и, говорят, собирался он жениться еще в тот год, когда из «флоту» вернулся. Уж третий год вел переписку с неведомой деревне ленинградской красавицей. Все жалели его, что не едет невеста. Пока летели мы из Нижнеудинска, Серафим открылся: «Нынче, в октябре, обещала приехать, тогда, может, и свадьбу сыграют. Только жаль, что сезон охотничий откроется, как бы в тайге Николай не застрял...»

Мы вошли в дом. Николай встречал в сенях.

— Проходите. Здравствуй, отец, — обнял Серафима, мне пожал руку. — Как Долецкий?

— Выздоровливает, сынок...

— Хорошо... Проходите, гляну, что у меня в погребе, какая еда...

В просторной горнице стоял запах скипидара и масляных растворителей, запах мастерской художника. Ближе к окну — мольберт с прикрытым занавеской холстом. Обернувшись к левой от окна стене, я увидел, что до потолка занимала ее картина: здешнюю тайгу, горы, реки, ущелья, зверей, собак и оленей изобразил на картине художник. Таежную жизнь освещало на картине большое, игравшее в облаках солнце, и казалось, воздух в его мареве был живым, просветленным... Я отошел к противоположной стене и залюбовался.

— Где он добыл такие краски!

Серафим, понимая, как нравится мне картина, взволнованно вздохнул:

— Сын хорошо рисует тайгу. Это не краски... Бабочки, крылышки. Он собрал их, палых, прошлой осенью после первого заморозка, на тропках собрал. Весь год делал эту картину...

— Сколько же их!

— Не ечьсть. Помогал собирать Пафнутя. Пафнутя любит Николая. Хочет, чтоб сын ехал учиться в академию...

— Зачем же?..

— Пафнутя говорит: сын может стать большим художником.

— Он и так художник, у него талант!

— И Пафнутя так еказал: «большой».

Вернулся с улицы Николай, стал собирать ужин. Серафим приложил палец к губам.

— Ты, Терентий Куиряныч, хвали его мало,— попросил он тихо. Я кивнул, все еще глядя на картину.

— А это Паша е Горынычем,— узнал я.

— Они...— просто ответил Николай.— Пафнутя душевный человек. Мы е ним друзья. Он и в доме моем живет, когда в Гутаре. Сказал я ему, что летние мотыли самые яркие, оттого и сорвался — там, на Мертвой осыпи, больше всего живет бабочек. Из-за того и разбился...

За дверью кто-то возился, и после мягкого хлопка она отворилась. Сначала в темноте сеней мы заметили блеск глаз, затем в проеме показалась большая черная собачья морда.

— Тас Кара пришел! Заходи, Черный,— предложил Николай. Но собака не решалась войти, недоверчиво поглядывая на меня.

— Свой, черная душа, не бойся.

Пес обнюхал струи воздуха, подошел к Серафиму.

— Учужал,— Серафим етащил е головы кепку, подавленную утром Долецким.— Поправляется твой хозяин...

Пес скульнул.

— Ты прости его, Тасе Кара... Пойдешь нынче по первотропу на соболя. Возьми! — Серафим протянул собаке кепку.— Жди хозяина. Он хороший как человек.

В мастерскую влился маристый евет заходящего за хребтами большого солища. Где-то за окнами в высоком небе мы увидели летящих треугольником больших белых птиц. Завтра расстанется с Саянами последний день Чары аттар ай<sup>\*</sup>, месяца, когда олений самец — Чары — оплодотворяет самку, и придет в эти места месяц охоты на соболей.

Так и течет таежная вольная жизнь.

---

<sup>1</sup> Чары аттар ай (тофал.) — сентябрь.



Переливаясь солнечными бликами, мирно плещутся о берег отдохнувшие за ночь волны. Резвятся неугомонные чайки. Вокруг море, дюны и сосны. Невдалеке покачивается военный катерок. Необычный груз прибуксировал он сюда. За его кормой на почтительном расстоянии виднеется надувной понтон с крупной донной миной, найденной водолазами в порту.

В этом безлюдном месте специалистам предстоит разоружить мину, познать скрытые в ней хитроумные тайны. А пока надо сторожко доставить неприятную «соседку» на берег.

Подъехала грузовая трехосная машина. К ней закрепили длинный буксирный конец.

— В укрытие! — командует высокий старший лейтенант с тщательно подстриженными усиками на худощавом лице. Матросы в светло-синих робах вместе с мичманом Груздевым спешат к дюнам. Ноги вязнут в умытом морским прибоем песке.

Сквозь загар на полном добром лице мичмана пробивается румянец. Сняв фуражку, Груздев подставляет разгоряченную, тронутую сединой голову еле ощутимому ветерку. Неожиданно легко взбегает на пригорок, за которым свежеврытый окопчик — укрытие для минеров. Оглядывается — как там Яворский?

Офицер вскинул руку. Длинный свисток.

Поднимая колесами тысячи серебристых, янтарных песчинок, трогается автомобиль. Медленно подплывает понтон с миной, внутри которой притаились сотни тротильных смертей. Спешить нельзя. Дернешь посильнее — загрохочет беда. Никто пока не знает, почему не взорвалась она в войну. Раскрыть эту тайну — дело специалистов.

Ползет, разворачивая грунт, извиваясь, как змея, трос. Натужно ревет двигатель. Все ближе и ближе тысячекилограммовая махина. Но вот — остановилось движение. Сильнее зарычал мотор. Застонал, напрягаясь всеми жилами, трос. Не смог выдержать. Одна за другой стали лопаться ниточки. Обрывки троса плюхнулись в воду, взметнув сотни сверкающих брызг.

Из машины выпрыгнул Яворский. Постояв немного в раздумье, дал два коротких свистка. Моряки покинули укрытие, подбежали к офицеру. Вместе пошли к берегу.

Надежно связали трос. Минеры снова в укрытии. Но все повторилось сначала. Трос опять порвался. Лицо Яворского стало сумрачным. Он взглянул на часы. Бросил подошедшему мичману:

— Трос слабый, вдвойне его надо брать.

— Нельзя, товарищ командир, очень короток будет.

— Ничего не случится, не впервой. Приступайте.

— Товарищ старший лейтенант, а если взорвется...

Люди ведь! — твердо сказал Груздев.

— Знаю, что делаю! — Яворский побагровел, задержалась губа с усиками, карие глаза стали жесткими. Внутренний голос говорил ему, что мичман прав, но он не желал признаться в этом, прислушаться к разумному совету более опытного минера. — Выполняйте приказ!

Мичман опешил. Конечно, за многие годы службы он привык повиноваться. Но тут был иной случай. Уменьшить длину троса вдвое — значит намного сократить безопасное расстояние... Но он не стал спорить, еще больше накалять обстановку, сдержался. И неожиданно для Яворского мягко сказал:

— Не надо, Владимир Сергеевич, ненужный это риск.

Яворский мгновение молчал. Потом, круто повернувшись, зашагал по берегу. Постояв немного, пошел за ним и Груздев.

Старший лейтенант что-то прикидывал. Мичман приблизился к нему, готовый снова доказывать, убеждать. Тот, не глядя ему в глаза, медленно заговорил:

— Ладно. Зовите сигнальщика. Запросите еще одну бухту троса.

— Добро. — Груздев просиял и заспешил к морякам, сидевшим в сторонке.

Трос доставили. Мичман сам надежно закрепил вто-

рой конец за понтон. «Сейчас не порвется,—думал он,— а самое главное — рывками тянуть не надо...»

Зычно гудит двигатель. Натянуты тросы. Медленно, словно нехотя, понтон подался вперед, выполз на берег.

— Стоп! — приказал Яворский.

Выскочив из машины, он направился к мине, чтобы осмотреть ее и убедиться, свободен ли доступ к аппаратуре — командному центру грозной добычи.

Черно-бурый, обросший ракушками корпус распростерся на понтоне. Подошел Груздев. Он деловито обошел вокруг мины, оглядел ее. Яворский, нагнувшись, рассматривал горловину аппаратной камеры. Выпрямился, посмотрел на мичмана, назвал тип мины. Тот согласно кивнул...

...Вскоре на катере прибыли флагманский минер капитан 2-го ранга Солодков и специалист по разоружению капитан 3-го ранга инженер Осипов. Солодков, начавший полнеть мужчина, энергичной походкой подошел к минерам, радушно поздоровался со всеми. А с мичманом вдруг обнялся.

— Дружище, Алексей Кузьмич! Давно тебя не видел. Все воюешь? — быстро, с радостным блеском в глазах говорил он. — Что к нам не заходишь? Нехорошо, брат...

Яворский с изумлением, даже отчужденно наблюдал за этой встречей.

Солодков полушутливо, не обращая внимания на помрачневшее лицо Яворского, проговорил:

— Что, старший лейтенант, доволен своим помощником? За ним любой может чувствовать себя, как за каменной горой.

Яворский натянуто улыбнулся:

— Лучше не надо...

— Ну что, товарищи,— обратился к минерам Солодков.— Ваше дело пока сделано. Всем в укрытие. Юрий Васильевич,— кивнул он Осипову,— пошли.

Повернувшись к Яворскому, Солодков добавил:

— Показывайте свое сокровище.

Осипов взял потертый, выдавший виды чемоданчик с инструментом и вслед за Солодковым и Яворским быстро зашагал к берегу.

После осмотра мины возле нее остался колдовать один Осипов. Солодков и Яворский направились к дюнам. Шли молча. Потом Солодков, легко взяв за локоть старшего лейтенанта, сказал:



— Вам, наверно, показалось странным, что я так просто говорил с Груздевым?

— Да нет, что вы!

— Это было написано на вашем лице. Но не в этом суть. Я мог бы сейчас ничего вам не говорить. Но скажу. Из уважения к мичману. Наша дружба с ним давняя, еще с войны. Больше того, то, что я сейчас с вами, его заслуга. Мы с ним, можно сказать, побратимы...

И Солодков коротко поведал об одном фронтовом эпизоде.

...Шел 1944 год. Дивизиону тральщиков, на котором лейтенант Владимир Солодков служил минером, была поставлена задача протралить от мин фарватер в Финском заливе. Задача не из легких. За годы войны гитлеровцы поставили в этом районе тысячи мин. Охраняли минные позиции с моря и с воздуха.

Возле острова Нарген одна за другой стали попадаться мины. Тралы едва успевали подсекать их. Солодков и старшина 1-й статьи Груздев стояли у тральной лебедки, следили за ходом траления. Внезапно из-за облаков вынырнули «юнкерсы». Зычно застучали зенитки. Одна из бомб грохнула у самой кормы корабля. Груздев успел схватиться за леерную стойку, а Солодкова взрывной волной швырнуло к кормовому срезу, сбросило с тральщика. В воде лейтенант потерял сознание. На мостике не успели ахнуть, как Груздев, скинув лишь куртку и походные сапоги, бросился за лейтенантом.

Скорость корабля командиру сбавлять не пришлось. От взрыва вышли из строя двигатели. Тральщик остановился. И это чуть не привело корабль к гибели. Одна из мин, высвобожденная взрывной волной из трала, стала дрейфовать к тральщику. Ее зловеще торчащие в разные стороны рогулины, то и дело погружаясь в волны, приближались к борту.

Груздев с потяжелевшим Солодковым подплыл к кораблю, передал лейтенанта товарищам, а сам, изо всех сил оттолкнувшись от борта, поплыл к mine. С мостика командир кричал в мегафон — требовал вернуться. Но Груздев словно ничего не слышал. Подплыл к mine, когда она была уже совсем рядом с кораблем. Осторожно обнял бурый корпус. Так вместе с миной его и подтянуло к борту. На счастье моряков, «юнкерсы»,

израсходовав запас бомб, улетели. Больше часа, пока мотористы устраняли повреждение, Алексей Груздев, находясь в студеной воде, не давал мине стукнуться о борт...

Капитан 2-го ранга умолк. Потом, взглянув на Яворского, добавил:

— Выходит, Алексей Кузьмич не только меня, а всю команду спас от гибели. Вот так-то, тезка...

В окопчике мичман Груздев с матросами дымили сигаретами. Солодков, весело улыбнувшись, произнес:

— Эх, была не была, закурить, что ли? Хоть и бросил давно, но сейчас закурю.

Ему протянули сразу несколько пачек на выбор.

Томительно тянулось время. Курили молча. Но, наверное, каждый думал об Осипове. Каково там ему? Не попалась бы ловушка... Яворский посмотрел на Груздева.

На рабочем кителе мичмана было четыре орденские колодки. Раньше Яворский не обращал на них внимания. Сейчас он незаметно разглядел их. Ордена Красного Знамени, Отечественной войны II степени, медали «За отвагу» и Нахимова. Только — фронтовые. Все колодки, а их у него было еще шесть, Груздев носил на тужурке. Яворский отметил: «Одна из наград, наверно, за тот случай!.. За год совместной службы мичман ни разу не говорил об этом. Не говорил... А ты спрашивал его?..» — корил себя Яворский.

В окопчик спрыгнул Осипов. В его руках был все тот же потрепанный чемоданчик. Идя на разоружение мин, Осипов брал с собой только его. Не признался бы, наверное, и самому себе, что верил в него, как в добрую приметку.

— Владимир Петрович, — сказал он Солодкову. — Моя миссия окончена. Можно подрывать. Только аппаратуру мины надо сперва забрать.

...Катер отошел от берега. Солодков и Осипов помахали на прощание минерам.

Подготовка подрывного заряда заняла несколько минут. И вот, мягко ступая по песку, Алексей Кузьмич и один из матросов несут подрывной патрон к мине.

— Готово! — докладывает Яворскому Груздев.

Алексей Кузьмич ловким движением поджег огнепроводный шнур.

— В укрытие!

Споро бегут моряки, прячутся в окопчике. И вот тяжело ухнула, вздрогнула земля. Мощный взрыв расколол тишину. С криком шарахнулись в стороны перепуганные чайки.

Взрыв разноголосо повторили сосны. И снова — все стихло. Снова стал слышен ласковый рокот прибоя...

## **„ВОЗВРАЩАЙТЕСЬ, РОДНЫЕ...”**

*рассказ*

Второй день неистовствовал шторм. Пенясь и угрожающе урча, волны с грохотом набрасывались на каменистый берег, слясь разрушить, раскромсать, смести все на своем пути.

Никто из рыбаков не выходил в море. И не только потому, что опасались разбушевавшейся стихии — в поселке, на берегу Ирбенского пролива, расположились фашистские солдаты. Они обстреливали любое суденышко, даже рыбацкие лодки.

Был дома и Айвар Салниекс. Вместе с пятнадцатилетним сыном он поздним вечером чинил сеть. Напротив, около безмятежно спящей дочки, сидела Велта Петровна. Она вязала для сына теплый свитер и часто любовно поглядывала на своего Гунара.

Гунар был высоким, стройным юношей, и все больше делался похожим на отца. Взглянув на мужа, она сравнила его с сыном. Когда-то и Айвар был бравым парнем, но время посеребрило его виски, на загорелом, обветренном лице появились заметные морщины...

Осторожный стук в дверь прервал ее мысли. Велта чуть вздрогнула от неожиданности, с беспокойством взглянула на мужа. Тихий стук повторился. Кто бы это мог быть? Соседи стучались открыто, громко...

Айвар Янович поднялся, машинально пригладил рукой седоватую прядь и твердым шагом вышел из комнаты. Гунар с матерью прислушались.

Хлопнула входная дверь. В нее ворвался неумолчный гул моря. И снова стихло.

По еле доносившемуся говору Велта поняла: пришел

кто-то из русских. Она встревожилась: «Откуда он здесь?» Велта слышала, что еще в июле гитлеровцы заняли Ригу и почти все побережье залива. До их поселка доносились далекие звуки стрельбы со стороны островов Моонзунда. Рыбаки говорили, что там и сейчас, в начале сентября 1941 года, держатся русские. Не случайно недалеко от поселка на берегу пролива фашисты установили пушки.

«Неужели оттуда?—в волнении подумала Велта.— Его могут поймать, убить...» Она с содроганием вспомнила, что произошло неделю назад.

Два красноармейца незаметно вошли в дом к кулаку Лиепиню. Этот пройдоха накормил их для отвода глаз и, устроив на ночлег, сбегал за гитлеровцами. Солдат расстреляли... С того дня Велта старалась не замечать негодяя Лиепиня, не подавали ему руки и многие рыбаки.

За дверью замолчали. Немного погодя вошел Айвар. Лицо его было серьезно, взгляд обычно добрых глаз сосредоточен: он о чем-то напряженно думал. И вдруг, махнув сжатым кулаком, решительно бросил:

— Надо помочь...

Айвар Янович рассказал жене, что сейчас заходил русский матрос, просил лодку.

— С ним еще раненый... Хотят в такую свистопляску идти через пролив. Боюсь, что не доберутся... Я пустил их в сарай. Пусть отдохнут пока...

Айвар замолчал. Этот вопрос он не мог, не хотел решать один. В случае неудачи погибнет вся семья. За спасение русских моряков фашисты не пощадят никого...

Но в душе он хотел помочь русским. Не мог он быть безучастным к их судьбе, судьбе советских людей. Они борются за то, за что еще в 1919 году отдал жизнь его старший брат Янис, латышский стрелок. Отец Айвара, потомственный рижский рабочий, незадолго до смерти, обняв младшего сына, горячо прошептал:

— Помни о брате. Помни, за что он отдал свою жизнь...

Отец передал Айвару старую выцветшую фотографию брата, которую много лет хранил, как самую дорогую реликвию. На ней улыбающийся Янис был в форме солдата Красной Армии. Эту фотографию передал отцу товарищ сына.

Жадно слушал Айвар рассказ отца о событиях в России, о Ленине, о героических делах латышских бойцов...

Конечно, в буржуазной Латвии Айвару нельзя было открыто говорить об этом. Но в душе он всегда гордился своим старшим братом, верил ему и другим латышам, которые с оружием в руках защищали молодую Республику Советов, отдавали свои жизни за счастье простых людей...

После смерти отца Айвар на своей шкуре испытал, что значит быть безработным, лишним человеком в буржуазном обществе... Перебивался случайными заработками. Часто голодал вместе с семьей. После долгих раздумий — нелегко решиться покинуть родной город — он с Велтой и сыном в начале тридцатых годов перебрался в этот рыбацкий поселок, к ее дальним родственникам. Но и здесь немало крови высосал из него кулак Лиепинь.

В 1940 году, после восстановления Советской власти в Латвии, в жизни простых латышей произошли большие перемены. Почувствовал себя человеком и Айвар. Подумывал, не вернуться ли снова в Ригу, на завод, где всю жизнь проработал отец. Но родилась дочка. А вскоре вспыхнула война...

Несмотря на быстрое продвижение фашистов, Айвар не сомневался в победе Красной Армии.

Нет! Не мог Айвар отказать в помощи советским воинам...

— Родная, собери чего-нибудь поесть,— нежно сказал он. — Да и одежонку кой-какую надо дать им. Может, и бинт с йодом у тебя найдутся...

Не говоря ни слова, Велта взяла все что нужно и бесшумно, с каким-то поникшим взором вышла из комнаты.

Айвар тепло посмотрел ей вслед.

Увидев при свете фонаря русских, Велта содрогнулась. Осунувшиеся от усталости и голода, продрогшие в соленой купели, почти без одежды — на обоих каким-то чудом держались клочья тельняшек — моряки настороженно смотрели на женщину. Щемящую боль в сердце у Велты вызвал вид раненого, совсем юного худенького моряка. Чуть старше Гунара, а уже воюет...

Молча перевязывая юношу, раненного в ногу и плечо, она с трудом сдерживала слезы...

Велта не знала, что оба русских чудом выкарабкались из лап смерти: торпедный катер, командиром которого был юный моряк, накануне в неравном бою потопил фашистский сторожевик. Ликовал весь экипаж. Но

на обратном пути на катер набросились два «мессершмитта». Моряки отбивались как могли, но непрерывными атаками гитлеровцы вывели из строя моторы, потом подожгли катер. Пришлось людям броситься в воду. Фашисты методично расстреливали барахтавшихся в волнах моряков. Боцман катера здоровяк Федор Потапов со слезами на глазах видел, как один за другим гибли беззащитные товарищи. Не думая о себе, он подхватил раненого командира Володю Кошелева, не дал ему погрузиться в воду...

Потом начался шторм. Волны и свежий ветер прибили их ночью к этому рыбацкому поселку, в котором было полно немцев...

Накормив моряков, Велта так же тихо вернулась в комнату. Айвар стоял у окна, смотрел на море. Взгляд его светлых глаз был суров и решителен. Велта молча встала рядом. Потом вдруг порывисто прильнула к мужу. Конечно, для нее было бы лучше, если бы Айвар не брался за такое опасное дело. Но и не было у нее сил отговаривать его...

Пока отец говорил с матерью, Гунар выжидательно смотрел на них. Он очень хотел, чтобы они согласились помочь русским, чтобы отец взял его с собой.

Долго не соглашалась Велта отпустить Гунара с мужем, хотя и понимала, что один Айвар не справится с баркасом в такую погоду.

Собрались быстро. Перед уходом Айвар предупредил Велту:

— Если завтра не вернемся, уходи с дочкой в лес. И там жди вестей...

— Будьте осторожны,— прошептала сквозь слезы Велта и с ноющей болью в сердце крепко прижала к себе Гунара. Ее маленькое, худенькое тело все вздрагивало. Чтобы не выдать своего состояния, она больше не сказала ни слова.

...Всю ночь Велта не смыкала глаз, вздрагивала от каждого подозрительного шороха, громкого звука.

\* \* \*

От берега баркас отвалил благополучно. Сначала шли на веслах, чтобы шум моторчика не услышали фашисты. Когда миновали мыс, свирепые волны с яростью обрушились на утлое суденышко, холодными брызгами хлестали в лица смельчакам. Баркас швыряло из

стороны в сторону. Не раз казалось, что волны вот-вот перевернут, накроют его своей толщей.

Лейтенанту Кошелеву стало совсем плохо. Бинты сползли в сторону. Из ран снова потекла кровь. При каждом толчке он вскрикивал от боли. Истомленный Потапов, поддерживавший его, совсем обессилел, и Гунару, ставшему в свои пятнадцать лет настоящим моряком, пришлось помочь раненому...

Айвар Янович, конечно, понимал, что скорее было бы идти напрямик к острову. А если фашистский сторожевик? Пропадут все. И как ни больно было ему видеть терзания раненых, он взял курс в глубь Рижского залива.

К полуночи далеко отошли от берега. Еще немного, и можно поворачивать к острову. И вдруг кромешную, громыхающую на все лады темь располосовал яркий луч прожектора. Его светящийся сноп быстро, неумолимо приближался к баркасу.

— Брезент! — почти инстинктивно крикнул сыну Айвар Янович, еще крепче, до боли в пальцах сжимая руль и чуть пригнувшись в лодке. И — вовремя! Едва Гунар накрыл русских, как ослепительный, искрящийся в брызгах волн луч света скользнул по лодке, ослепляя, грозя смертоносным ливнем свинца.

Только на мгновение зажмурился смелый рыбак. В мозгу напряженно, сменяя друг друга, рождались новые решения. Неужели заметили? Тут же он сбавил ход до малого, уменьшил шум от мотора. Застопорить ход совсем нельзя — волны мгновенно опрокинут дрейфующую лодку.

А растерявшийся Гунар лег сначала на дно баркаса. Потом вспомнил о русских, чуть подвинулся вперед, накрыл их своим телом. Пусть думают, что в лодке только двое.

— Молодец, сынок, — приглушенный грохотом моря донесся до него бодрый голос отца. От этих слов теплее стало Гунару.

Снова приближался световой сноп. Он то впивался, переливаясь изумрудами, в гребни волн, то подпрыгивал кверху. Видно, и фашистов трепало на сторожевике изрядно.

На этот раз повезло — луч не зацепил лодку, так как набежавший ревуший гребень хлестнул по баркасу, сплошным потоком обдал людей.

Застонал под брезентом притиснутый к борту лейте-

нант. Его стон острой болью отозвался в сердце Гунара. Но открыть брезент и помочь ему он не мог.

«Тра-та-та», — ворвались в привычную мелодию шторма звуки пулеметной очереди. Айвар Янович еще крепче сжал кулаки, уперся ногами в днище. Машинально сжался, стараясь быть незаметным, Гунар. Стреляли наугад. Трассирующие пули исчезали в грохочущей, ухающей ночи.

Пошарив еще немного по волнам, угас прожектор. Наступила жуткая темнота. Айвар Янович с трудом разжал пальцы, вытер мокрый от брызг и пота лоб. Глубоко вздохнул, не произнеся ни слова. Молчал и Гунар.

— Пронесло?.. — еле слышно, стуча от холода зубами, спросил Потапов, откидывая брезент. — Настоящие вы люди, спасибо...

До острова добрались только к утру, северо-западный ветер отнес их далеко от того места, куда хотел пристать Айвар Янович. Они медленно приближались к берегу.

— В лодке! Кто идет? — громко окликнули их.

— Свои, — радостно выкрикнул Потапов. Их подпустили. Утомленные качкой, скитаниями, промокшие до нитки, бережно подняли они лейтенанта, передали его морякам, оборонявшим этот участок. Кошелев очнулся от забытья и, увидев, что его несут свои, все понял и стал искать глазами спасителей.

Айвар Янович с Гунаром подошли к нему. Лейтенант с трудом улыбнулся и хотел поднять руку для пожатия, но не смог. Прошептал искусанными до крови губами: «Спасибо, отец» — и снова потерял сознание.

Айвар наклонился над ним и, поцеловав, ласково сказал:

— Поправляйся, сынок...

Моряки помогли рыбакам собраться в обратный путь. Когда баркас отвалил от берега, Айвар Янович, помахав бойцам рукой, с чувством произнес:

— Возвращайтесь, родные... с победой!





Однажды я получил от старшей сестры с Дальнего Востока письмо с запиской. Сестра писала: *«Пересылаю тебе письмо, которое я получила от Романовой Ани из Ташкента, а она от Спирякиной Нюры из Свердловска (быть может, ты помнишь ее, их дом стоял у гати). Ей прислала Катя Лопухова из Костромы, ее ты не знаешь — она постарше меня, а кто прислал ей — Аня не написала. В письме ты прочитаешь о нашем селе, куда мы давно уже не заглядывали, а надо бы. Перешли его кому-нибудь из своих друзей, если с кем переписываешься».*

Я развернул письмо. Оно было довольно потрепанное и, видимо, побывало во многих руках, прежде чем попало ко мне.

Письмо было длинное. Писала неизвестная мне Шура Толстопятова в Архангельск Ватолиной Вале, которую я смутно припоминал — кажется, она училась тремя классами раньше меня. В письме речь шла о школьных друзьях и подругах: кто пишет письма, кто приезжал в отпуск, кто выдал замуж дочь, чей сын женился, кто умер. Изредка встречалось знакомое мне имя, но многие имена мне ни о чем не говорили. Шура Толстопятова писала, что каждый третий дом в селе заколочен, что прежний директор школы умер и сейчас новый (мой учитель истории), что старую школу сломали, а выстроили новую, но учиться в ней некому, и в этом году в первый класс записался лишь один мальчик.

Я внимательно перечитывал письмо: знакомое и незнакомое перемешивалось в нем, вызывая в памяти будоражащие сердце воспоминания.

С тех пор как получил это письмо, прошло уже немало времени, но оно не изгладилось из памяти, как не

изгладится и само детство. И особенно по весне, когда цветет черемуха и воздух становится прохладным и как-то свежее, чище, оживают во мне светлые ранние дни жизни. Вспоминается цветенье черемухи на заливных лугах и уже сходящие к этому времени подснежники, и каким-то образом со всем этим связывается воспоминание о курносой девочке с длинными светлыми косичками, сидевшей за соседней партой. Какими счастливыми казались мне мальчишки, жившие в одной деревне с нею; после уроков они вместе шли домой, и был, конечно, счастливец, которому она давала понести ее портфель.

А потом наступала пора экзаменов. В классе на столе стояли цветы, солнце заливало класс, мы были возбуждены, боялись приезда районного инспектора, мечтали о счастливом билете, а сдав экзамены, носились вокруг школы, наконец, бежали домой с бугра, на котором среди зелени старых деревьев и молодого акатника вперемешку с цветущей сиренью стояло одноэтажное каменное здание школы, белеющее сквозь зелень далеко вокруг.

Но давно уже нет той школы, а еще слышится голос учительницы литературы, дородной стареющей женщины, жившей при школе вместе с мужем, бывшим директором школы и, как и она, всю жизнь учившим детей: «...И рече Святослав: „Уже нам некамо ся дети, волею и неволею стати противу; да не посраим земле Руские, но ляжем костьми, мертвые бо срамо не имам. Аще ли побегнем, срам имам. Не имам убежати, но станем крепко, аз же пред вами понду: аще моя глава ляжет, то промыслите собою”. И реша вои: „Иде же глава твоя, ту и свои главы сложим”. И исполчишася Русь, и бысть сеча велика, и одоле Святослав, и бежаша греци. И поиде Святослав ко граду, воюя и грады разбивая, яже стоят и до днешнего дне пусты».

И отвечала старая Катерина Ивановна на наши вопросы, но чаще мы слушали и понимали без вопросов, хотя речь повести, которую она читала, отличалась от говора наших матерей и дедов. Речи же отцов мы не знали, потому что после войны от восьмидесяти дворов вернулись лишь четыре мужика. А понятно было еще и оттого, что каждый думал об отце и верил — не посрамил земли русской его батяка, и каждый думал о себе: лучше костьми лечь, чем срам принять, и об этом мы, мальчишки, говорили промеж собою не раз.

За многие годы куда только не бросала меня судьба, а все был спокоен, пока стояла школа; знал — меня нет, но, может быть, сидит за моей партой такой же белоголовый голубоглазый мальчишка, каким и я был когда-то, и может быть, даже сынишка той девочки со странным прозвищем «Синичка» — и голос ее был звонок, и чиста была необыкновенно, и аккуратна... И может быть, новая школа лучше, но душа не принимает того, потому что со старой школой разрушено и то светлое весеннее чувство, словно потемнело в душе и отодвинулись те годы в невозвратное далёко, хотя стоит еще мой родной дом и, наверное, как в детстве, шумят над ним вековые тополя.

Когда-то их посадили мои деды, и в детстве их гулкий шум наполнял меня неосознанной радостью и смутной тревогой, исходившей от их грандиозного размаха и от той силы, с какой взметнулись они из земли в небо. Весной тополя густо заселялись грачами, потом, развертываясь клейким зеленым кружевом листвы, наполняли дом и прилегающий к нему тянувшийся до лугов сад острым, чуть горьковатым запахом. День ото дня гнезда укрывались сильнее, словно затуманиваясь и отходя от земного взгляда за таинственную завесу, под которой совершалось продолжение грачиного потомства. И в этом птичьем царстве наступала передышка, приходил покой, лишь изредка нарушаемый какими-то одним грачам понятными опасностями, когда они вдруг разом всей стаей срывались, поднимая тревожный грай и резко кружа над нашим домом.

И по какой бы дороге ни шел человек в село, уже за несколько верст отовсюду он видел зеленый тополиный пик и мог, безошибочно свернув с дороги, идти в село напрямик — мета была верной. Тополя у нас стояли испокон веков, и, может быть, потому деревенька наша, входившая в большое село, и звалась Тополёвкой. Когда из соседнего села кто-нибудь спрашивает к нам дорогу, ему дают точный указатель: по большаку верст пять, а там иди на тополя.

Из поколения в поколение деды рождались, жили и умирали в доме под этими тополями, и сколько их прошло там, никому не ведомо, и я никогда того не узнаю. И чтобы дом под этими тополями стоял всегда, деды уходили на войны и возвращались сюда же. Возможно, не все, даже скорее всего не все, но уж раз я живу на свете, значит, кто-то и возвращался всегда. Отсюда

ушел на последнюю войну отец и не вернулся. А деды занимались исконным своим делом — садоводством, и потому был у них добротный, ухоженный сад, лучший во всем селе и уступающий барскому саду только в величине, да ведь и барский сад обихаживали они же.

Ничто в жизни не сравнимо с весенним цветением сада, гудящего пчелами, сияющего солнечной белизной, но цвет обманчив, и сердце принимает его со сдержанной радостью, ожидая первой яблочковой завязи. Но вот когда в августе ночуешь в саду, а ночь темна, небо чисто и светят звезды, а ты лежишь на спине и смотришь в небо, лежишь спокойный, уверенный в крепости земли и неба над ней, вдыхая всей грудью аромат поспевающих яблок и первых зрелых падальцев, — вот тогда чувствуешь, какую силу таит в себе земля, выплескиваясь сочными плодами, затаившимися в темноте на неустойчиво оседающих к земле ветках. Изредка тишину земли нарушит гулко упавшее яблоко, и вдруг увидишь, как во Вселенной сорвалась звезда и чиркнула по небу, и начинаешь смутно догадываться, что между падением звезды и падением яблока есть какая-то неустановившаяся связь.

Августовские ночи с их настороженной чистой тишиной словно подпирали холодный мерцающий небосвод, и тополя казались огромными колоннами, верхушки которых уходили в звездную бесконечность.

Дом наш теперь принадлежит моей дальней родственнице бабке Марфе, глубокой старухе, одиноко доживающей свой век, без сыновей и внуков, которых она так и не сподобилась видеть, потому как сыновья все полегли на фронте. Бабка Марфа теперь единственная во всем селе хранительница нашей фамилии, нашего дома, сада, тополей. Живет она небольшой колхозной пенсией, огородом и садом, который даже в недородные годы плодоносит неплохо. И пока живет она, есть еще ниточка, связывающая меня с детством, родным селом и домом, с садом и тополями. Знаю: однажды почтальон подаст мне телеграмму, и это будет означать, что нить оборвалась навсегда; какой-нибудь усидевший дома сосед призовет меня на похороны и для распоряжения домом.

Пока жива Марфа, мне хочется навестить ее и дом, в котором я вырос, но все что-нибудь да мешает собраться и лишь мечтается, как в детстве, поночевать в саду в пору вызревания яблок, снова услышать падение

отяжелевшего плода, пролетающего сквозь листву и сучья яблони, и, может быть, как прежде, увидеть, как, вторя яблоку, упадет с неба звезда.

Иногда мне, как въявь, послышится шелест тополей или почудится грачиный гомон над ними, и я вдруг вижу себя, как иду со станции по большаку, и за несколько верст возникает перед глазами наш зеленый холм. И вот на большаке, у перекрестка, до которого провожала меня в мой последний приезд бабушка Марфа, стоит она, будто и не уходила с того дня, в своих старомодных деревенских нарядах, добытых по такому случаю со дна сундука, всматривается в меня, не узнавая, а узнав, говорит с упреком:

— Что ж ты, сынок, забыл про дом свой? Сходил бы хоть на погост, своих проведаль, все ведь твои тут лежат. Заждались небось! А ты все по городам шикуюешь, не мила, знать, тебе родна земля стала!

— Да ведь дела, тетя Марфа,— оправдываюсь я.— Все строим, ездим, вся страна в стройках сейчас.

— Посдувало вас всех, как ветром посдувало, перекапти-поле, разбрелись по белу свету. Хоть бы приехал проведаль старую, я ведь одна осталась из наших, а много нас было. В селе были не последние люди. Ну да ладно, вот наглажусь на тебя, и глаза можно закрыть, а то не видимшись-то господь и прибрать не хочет.

Знаю, что так она и скажет, стыдно мне будет и больно, но вот так и не могу вырваться из круговорота новой жизни. И уж так далеко это зашло, что и глаза казать в родное село совестно, словно сподличал где. И, может быть оттого, снится мне порою один и тот же сон. Будто вхожу я в родной дом. Марфа куда-то ушла, но скоро придет, вижу: на полу навалена гора летних и зимних яблок, и весь дом полон душистого яблочного настоя, и я жадно дышу им. Потом опускаюсь перед россыпью на колени и говорю себе: «Наконец-то я дома». Беру в обе руки по самому большому красному яблоку и подношу ко рту, заранее испытывая приятную истому в деснах, и тут чувствую, что на пороге стоит Марфа. Яблоки падают из рук и ударяются об пол, издавая гулкий звук, напоминающий о тех августовских ночах, когда я спал в саду. Яблоки, словно резиновые мячи, отскакивают от пола, постепенно удаляясь от меня, и наконец закатываются куда-то по углам, где я их уже не вижу.

Я оглядываюсь на Марфу и с мольбою в глазах прошу ее, чтобы она дала мне хоть одно яблоко.

— Ешь, ешь, сынок, все твои,— говорит Марфа.

Я вновь беру два яблока, но они оказываются столь тяжелыми, что я не в силах удержать, роняю их, и они, легко подпрыгивая, ускакивают от меня. Оглядываюсь на Марфу — она по-прежнему стоит на пороге и тихо так говорит:

— Что, сынок, ай тяжелы яблочки-то? Возьми-ка из моих рук, полегче будут.

С этими словами она подает мне яблоко, и я с удивлением смотрю на старческую иссохшую руку, легко подающую мне яблоко, беру его, и на душе становится легко-легко, и с этой легкостью я просыпаюсь, так и не прикоснувшись губами к плодам родного сада.

Просыпаясь, я пытаюсь припомнить лицо Марфы, но мне это никак не удается: то она похожа на мою мать, то на сестру, то на каких-то других женщин, и есть лишь ощущение чего-то щемяще близкого и родного.

То письмо, присланное мне сестрою, я переслал своему школьному товарищу в Иркутск, а он, видимо, отправил его еще кому-нибудь, но до сих пор у меня не выходит из головы, что в первый класс пошел лишь один мальчик — и не в нашу белокаменную, а в какую-то новую, неизвестную мне школу. И все же счастлив этот мальчик, который услышит речь Святослава на родной земле, которую впервые ощутил под босой ногой и верность которой пронесет через всю жизнь, где бы он ни был, потому что родная земля смотрит на своих сыновей глазами матери, ждет их, как мать, и, как мать, прощает.

**УТРЕННИЕ  
МЫСЛИ**  **Владимир  
Сухов**  
**рассказ**

Это уже стало для Андрея Семенова ритуалом: неторопливо шагать на завод и размышлять. Чаще всего думы занимает сегодняшняя предстоящая работа. И тогда в памяти возникают линии чертежа, или очертания будущей детали, либо атрибутика для ее изготовления — оснастка. А ежели деталь сложна, то эта самая оснастка требует абсолютно нового подхода. Вот в этом случае утренние мысли особенно добрую службу служили. Не зря на Руси издавна говорили: «Утро вечера мудренее». Проверено, точно.

Нынче он хотел обдумать, как лучше провести предстоящую встречу с ребятами из подшефного ПТУ.

— Тема для тебя знакомая, — сказал накануне парторг цеха Будников, давая ему это поручение, — расскажи им о своей профессии. Почему именно ее выбрал, как рос в коллективе. Не забудь о наставниках своих упомянуть. Словом, — добавил парторг, — поживее изложи. Ты это умеешь. На собраниях-то вон как толково выступаешь. Все тебя, понимаешь, как Цицерона слушают. — И, внимательно посмотрев Семенову в глаза, озабоченно добавил: — Приходил, понимаешь, ко мне на днях директор нашего профтехучилища, жаловался. Подают заявления некоторые ребята, просят перевести из токарей, фрезеровщиков и слесарей в радиомонтажники. Дескать, престижней. Белые халаты, чистые руки, телевизор дома сам смогу наладить, цветомузыку собрать... В общем, разъясни им подходчивей, что без деталей, сделанных металлистами, им простенького усилителя не сделать, не то что цветомузыку.

Вспомнился сейчас Андрею этот разговор во всех подробностях не случайно. Нужно было найти завязь беседы с ребятами, чтобы сразу заинтересовать их. Вот парторг напомнил о моих наставниках. Может, с них и

начать? Расскажу об Олеге Васильевиче Лебедеве, Екатерине Сергеевне Зиминой, без которых я еще не скоро бы стал настоящим фрезеровщиком, а чего-то в своих приемах работы, возможно, не достиг бы никогда. Какие богатые судьбы у этих людей! О каждом книгу можно писать.

Наставник. Сейчас так громко зазвучало это слово, а раньше тех, кто учил ребят конкретной профессии, называли холодным словосочетанием — инструктор производственного обучения. Хотя смысл один и тот же. Ведь и его, Андрея Семенова, учили два добрых человека, не только как определенную фрезу для каждого вида работ выбирать и не только скорость резания регулировать в зависимости от материала, а еще терпению, настойчивости. Да, как не хватало ее на первых порах, этой настойчивости.

Его всегда коробило от газетного штампа: «настойчиво овладевал»... Знали бы журналисты, насколько тяжело дается молодым эта настойчивость!

«Что это я вроде брюзжать начинаю,— подумал Андрей,— не расплыть мысли, в пучок их, в пучок, как говаривала когда-то милая и добрая Екатерина Сергеевна. Так, ну с чем же мне идти в училище? Может, газета что подскажет?»

Семенов достал из бокового кармана «Правду», которую, как всегда, утром вынимал из почтового ящика, стал разворачивать, и вдруг из нее выпал конверт. Поднял, смотрит — с треугольным штампом: «Солдатское». Внизу обратный адрес, воинская часть номер... От Шумакова. От Игоря! Вот неожиданность! Подумать только, Игорь все же написал ему. Ведь... Нет, надо сесть и прочесть спокойно. Время есть, успею прийти к сроку. Письмо на ощупь солидное. Страницы три-четыре, не меньше. Вот дойду до станции метро «Автово», там есть скамьи, сяду, прочту. Ах, Игорь, Игорь, ведь уехал — не попрощался даже, чудак. И чего характер показывал? Будто я не от добра к нему был строг.

В Семенове боролись два чувства: немедленно вскрыть конверт и прочесть письмо своего бывшего подшефного, с которым у него трудно складывались отношения, и желание чуть оттянуть время, постараться предугадать содержание написанного. Он поймал себя на том, что чуть замедлил шаги.

«Ну что я волнуюсь,— рассуждал сам с собой Семенов,— будто мировая проблема решается? Мировая не



мировая, а судьба этого парня мне сейчас не безразлична». Ведь сколько думано-передумано о нем, сколько конструкций подхода к нему было подготовлено и отвергнуто в последний момент, потому что Игорь вел себя настолько неординарно, что домашние «заготовки» иной раз летели вверх тормашками и приходилось действовать экспромтом. Жена даже укорила: «Своим бы детям столько внимания уделял, сколько этому Игорю».

Так, размышляя, Семенов дошел до знакомого здания станции метро, сел на скамью и медленно стал вскрывать конверт. Как он и предполагал, письмо оказалось на двух тетрадных листах, исписанных довольно мелким, но аккуратным почерком.

Уже первые строки перевели его волнение в другое русло, радостное. Нет, Игорь не остался излишне самоуверенным! Он многое переоценил и понял правильно и пишет об этом прямо.

Семенов оторвал глаза от строк и, сидя в задумчивости, не заметил, как сбоку подошел к нему Красков, токарь с соседнего участка, и с неприятным смешком спросил:

— От любимой, что ль? Видать, знакомая по санаторию?— намекая на то, что Семенов только недавно вернулся из Пятигорска, где подлечивал свою язву.— А-а, солдатское,— заметив крупный треугольник на конверте, казалось, разочарованно протянул Красков.— От кого ж это? От Шумакова! Ну этот парень, наверное, уже всех своих командиров довел до белого каления!

Семенову был неприятен этот человек, вечно кем-то и чем-то недовольный, всех подозревавший невесть в чем. Словом, желчный. Шутки его были злы и неприязненны, и хотя тот сам знал этот свой недостаток, но оставался рабом собственной натуры: либо не желал изменить характер, либо этому человеку просто не хватало взыскательности к себе.

Семенов ответил докучливому знакомому ничего не значащими словами, дав понять, что хотел бы остаться один.

— Ну-ну,— снова усмехнулся Красков,— понимаю: педагогика! — и пошел своей дорогой.

«Вот, видимо, такие тоже влияли в свое время на Игоря»,— подумал Семенов, глядя на удалявшегося какой-то несерьезной для взрослого человека разболтанной походкой Краскова.

Он стал читать дальше, и лицо его становилось все светлее и светлее, а последние строки: «Я понял, что с людьми надо быть человеком, что доверие рождает доверие и большое складывается из малых дел, накапливаясь понемногу, иногда десятилетиями, прежде чем стать судьбой, смыслом жизни», — настолько взволновали Семенова, что он некоторое время находился в необъяснимом состоянии. Именно необъяснимом. Это было сложное чувство, в основе которого находилось и удовлетворение собой, и сознание, что в конце концов желаемое достигнуто.

\* \* \*

Нечто подобное он пережил много лет назад, когда после тяжелой операции на правой ноге, долго и настойчиво тренируясь, восстанавливал ее работоспособность. И убедился в этом лишь после двух отлично забитых голов в ворота соперников из соседнего цеха, играя на первенство завода по футболу. Все товарищи его тогда поздравляли — ведь последний мяч оказался решающим, и кубок вновь остался у них. И только близкие друзья знали, каких усилий стоила лучшему бомбардиру завода эта победа.

Он шел и улыбался. Улыбался весеннему солнцу, первой траве, робкой зелени первых листьев на деревьях. И будто бы не было тяжелых разговоров с Игорем всего лишь несколько месяцев назад, и словно бы не его одолевали тогда всевозможных оттенков мысли, как бы верней подступиться к душе парнишки, перехлестнутой чужими недобрыми воздействиями и потому резко настороженной, а порою даже злой.

Парень был начитан, физически хорошо развит, и это придавало ему большую, чем у его сверстников, независимость. Отсюда шли и резкость суждений, самоуверенность, а иной раз — пренебрежение к бесспорным нравственным ценностям.

Поражала противоречивость его поступков и отношения к людям. Он, например, мог заступиться за пьянчужку Тюковина, которого «прорабатывали» на общем собрании за очередной «визит» в вытрезвитель.

«А может, у него глубокая личная драма и он бесконтрольно пил, чтобы заглушить душевную боль, — говорил тогда Игорь с запальчивостью. — Вы что, не знаете, как тяжело носить в себе горе, о котором рассказать никому нельзя, поскольку это интимно? Так вот. Надо

сначала понять человека, а потом решать: осуждать его или посочувствовать. А мы все твердим стандартное: „пьяница, пьяница”».

Собутыльщики Тюковина было приободрились, стали реплики даже о снисхождении подавать. Но тут, помнится, перебил Игоря Павел Иванович Соков, «ваше степенство», как его добродушно прозвали цеховые ребята за всегдашнюю выдержанность и подтянутость. Спокойным, как всегда, но твердым голосом сказал: «Слезливую демагогию разводишь, юноша. Твоя категоричность была бы уместна по отношению к первому проступку человека. Ты ведь недавно у нас, а Тюковина мы хорошо знаем. Он мне после того перепоя знаешь как фрезы заточил? Их впору было в бачок со стружкой выбросить. А у меня задание было срочное и работа тонкая! Научись в людях разбираться, мальчик, а потом жалей!»

Игорь вспыхнул, резко повернулся и ушел с собрания. Семенов тогда очень внимательно следил за Игорем и запомнил хорошо эту сцену. Подумалось: и чего это он за явного выпивоху хлопотал, ведь у того и на физиономии все написано довольно красочно. Стал вникать и вот что узнал: у Игоря отец сильно пил, и мать рассталась с ним, когда мальчишка ходил только в первый класс. Так и рос без отца, остро переживая это. Отчима тоже не было: мать второй раз замуж не вышла. Вот он в какой-то момент и поддался настроению тех ребят, которые якшались с «поддавальщиками». Вспомнился разговор с комсоргом Володей Семиренко.

Как-то раз тот с девушкой был в ресторане и видел Игоря с двумя ребятами, сидевшими за соседним столиком. К ним подошел официант, взял заказ и очень долго не приносил ничего. Вероятно, его раздосадовало, что парни не заказали спиртного. Двое, незнакомые Володе, все порывались встать и уйти, но Игорь их удерживал, громко говоря: «Ничего, он нас хотел унижить, а получится наоборот. Вы мне только не мешайте, я сам с ним поговорю».

— Я было забеспокоился,— рассказывал Володя,— но тут вдруг появился официант, а Игорь, поднявшись, сказал: «Спасибо за отличный сервис, шеф. К сожалению, нам недосуг, и мы вынуждены уйти, а это вам за труды,— и положил на стол десятку.— И впредь так же высоко несите марку вашего заведения. Прощайте!»

Все это было произнесено саркастическим тоном и

довольно громко. Сидевшие близко к их столику стали невольными свидетелями этой сцены.

— А официант не вернул деньги? — спросил тогда Семенов комсорга.

— Нет,— ответил Володя.— Он пожал плечами и продолжал обслуживать других клиентов.

Игорь не курил, но в курилке бывал, слушал байки, бросал иногда замечания, смеялся удачной шутке, но похабников не терпел. Помнится, он как-то сказал записному анекдотщику, который пытался докончить очередную сальность: «Довольно! Пойду уши промою. Больно у тебя, Сеня, язык грязный».

Один раз Семенов сделал Игорю замечание за слишком долгое сидение в курилке. Дело было в конце квартала, а время в эти дни на особом учете. Тот вначале обиделся, а в конце смены подошел и сказал:

— Понимаете, Андрей Иванович, человек мне душу изливал, неприятности у него.

— Так ведь можно после работы было поговорить — видишь, какая запарка!

— Нет, Андрей Иванович,— убежденно ответил Игорь.— На это у каждого *свой момент* находится. Сейчас его прорвало, он говорит-говорит тебе, а спустя полчаса может замкнуться, и слово из него клещами не выдерешь. Момент, понимаете? И потом, он знает, что его не из любопытства слушают, а искренне, с сочувствием и, возможно, и советом.

Семенов знал, что тот, кто «откровенничал» с парнем,— никчемный человек, у которого для доверчивого слушателя припасено столько слезливых историй, что по ним можно роман с продолжениями писать, только кому он нужен, роман такой! Ну ничего, есть надежда, что Игорь со временем разберется, кто есть кто.

Помнится, Игорь в тот день задержался на работе до тех пор, пока последнюю деталь не сделал, хотя и не собиравшись вовсе тогда оставаться сверхурочно.

Вообще-то в самой работе Игорь был внимателен, брака старался не допускать, уж если «запарывал» все же деталь, то ту, что потруднее,— не у каждого сразу получалось. К тому же он всегда такие неудачи переживал остро, даже, можно сказать, болезненно.

Почувствовав «сбой» в работе своего подшефного, Семенов подходил к его станку, и они подробно изучали причину брака. А бывало, что и Игорь сам первый к наставнику за советом обращался. Вот как-то раз он, по-

мнится, сказал: «Я понял, почему за размер вышел. По-надеялся на свою память. А цифра-то оказалась из предыдущего чертежа! Детали сходные, вот и сплеховал».

Впрочем, отмечал для себя Семенов, если парень так будет и впредь к делу относиться и посерьезнее станет то перед уходом в армию сможет разряд повысить.

Игорь Шумаков был у Семенова как наставника третьим подшефным. Двое предыдущих мальчишек не доставили ему особых хлопот. Первый, Вася Скворцов, сразу сказал: «Я на заводе только до армии. Моя мечта поступить в военное училище. Батя настоял, чтобы я прошел рабочую закалку. Он у меня потомственный путиловец и — с характером. Так что особых «секретов» фрезерного дела в меня не вкладывайте».

Так и вышло. Демобилизовался Вася и сдал экзамены в артиллерийское училище. Помнится, видел его раза два на заводских вечерах: приходил со своими товарищами курсантами с девочками потанцевать.

Второй подопечный, тоже выпускник их подшефного профтехучилища, Женя Сенявин остался на сверхсрочную службу на флоте: боцман на большом корабле. Шутник большой был, девчатам очень нравился, красивый, статный. Прислал письмо в комитет комсомола: так, мол, и так — поскольку моя фамилия исстари флотская, остаюсь на море. Состарюсь — тогда и причалю к заводской проходной.

Оба оказались примерными в работе, к технике относились благодарно, инструмент берегли. Дисциплину редило когда нарушали. Так, по мелочам разве.

А вот Игорь...

Конечно, выстоять смену у станка и взрослому не просто — опыт нужен. Но ведь опыт с малых лет приобретается. Это Семенов и старался внушить Игорю, когда тот под малейшим предлогом покидал свое рабочее место.

— Да чего вы взъярились на меня, Андрей Иванович! — вспылит как-то Игорь за укоры в недисциплинированности. — Я же не машина, я — мыслящий человек, и вы — мыслящий человек и должны понять, что однообразие утомляет, оупляет, в конце концов. А тут три дня подряд фланцы, фланцы, фланцы — надоело!

— Игорь, — ответил Семенов ему тогда. — Ведь производство не добровольное общество, здесь главенствует понятие «надо».

Еще что-то ему говорил, он вроде слушал, а потом вновь исчезал из цеха.

На другой день наставник предложил ему:

— Пойдем-ка, посмотрим на одного интересного человека.

— Куда?

— Да в соседний цех.

Пошли. Подвел Семенов его к токарному участку и говорит:

— Видишь вон того, высокого, в синем берете?

— Вижу.

— Приглядишься, как он работает. Да повнимательней посмотри, мелочи не выпускай из вида. Какие детали точит он, а какие его молодые соседи. Сравни их движения у станков. Может, что и заметишь?..

— Ну заинтриговали, Андрей Иванович! — засмеялся Игорь, однако стал смотреть.

Некоторое время спустя Игорь возвращается и говорит:

— Лихо работает дядя. Те, что рядом, одну деталь обработают, а он две.

— А детали одинаковые?

— Одинаковые. И, по-моему, не очень сложные: внешняя проточка, сверление, фаска — вот и всё вроде. В общем, ему, мне кажется, более сложную работу нужно давать. Нерационально аса использовать на мелочах. Это все равно что головой гвозди забивать!

— А вот здесь ты не прав, Игорь, — ответил ему наставник. — Знаешь, что корабль мы обязались раньше времени на воду спустить? Так вот для этого судна нужно много именно таких деталей. Сборщики их ждут, а тут и минута дорога. Да, Финогенов умеет быстро и точно выполнять в десять раз более сложные задания, и ему, конечно, малоинтересно точить эти, простые. Но он подчиняется железному закону производства: «надо». Надо, и точит. Вот ведь как, Игорь!

— Пойдите, пойдите, Андрей Иванович, этот Финогенов — тот самый известный Герой Труда?

— Да, тот самый.

На этом тогда разговор прекратился, и они молча шли к своему цеху. Поравнявшись с доской Почета, Игорь быстро глянул в верхний угол слева, где помещался портрет знатного токаря всей нашей судостроительной отрасли Степана Викторовича Финогенова. На цветной фотографии ярко блестела его Золотая Звезда.

Если и стал после этого наглядного урока Игорь прилежнее, то лишь самую малость. Чуть отойдет наставник от станка по какой-нибудь надобности — его как ветром сдуло. А тут вдруг стал приходиться к нему довольно часто один патлатый парень, грузчик из центрального склада. Чего-то все говорят, жестикулируют. Тот года на два Игоря постарше.

— Чего,— спрашивает Семенов,— он к тебе зачастил?

— Да так, поговорить приходит,— отговорился Игорь.

— Ему служить пора. Почему не в армии?

— По болезни,— отвечает.

Не понравился Семенову этот парень как-то внутренне. Взгляд тусклый, холодный. Чуть встретишься с ним глазами — отворачивается. Сказал наставник Игорю об этом прямо. А он в ответ:

— Может быть, вы мне и товарищей будете выбирать? Позвольте мне самому решать, с кем общаться!

И возник между нами с тех пор ледок отчуждения. Наверное, не стоило так категорично о грузчике говорить, надо было как-то осторожнее подвести Игоря к этой мысли, но слово не воробей, вылетит — не поймаешь. Однако наперед наука.

На другой день Игорь на работу не вышел. Это был четверг. В пятницу тоже не вышел. В понедельник приходит как ни в чем не бывало, начинает работать.

— Что случилось? Не приболел ли?

— Нет,— улыбается,— здоров!

Товарищу якобы помогал технику налаживать.

— Он мотоцикл купил подержанный, чуть неисправным оказался. Ну вот я и пособил.

— Ну а теперь?

— Теперь катается,— отвечает он, смеясь.

Это уже был вызов. Семенов не нашелся сразу, что сказать, и вернулся на место. На душе было горько. Некоторые, замечает, уже посматривают в его сторону сочувственно, а иные — с усмешкой, особенно Красков. И решил Семенов встретиться с матерью Игоря, поговорить с ней о случившемся. В конце рабочего дня предупредил об этом Игоря. Он ничего не сказал, только взглянул как-то сердито и торопливо стал убирать станок.

Взяв у табельщицы адрес, Семенов позвонил жене, предупредил о задержке, но причину объяснять не стал.

Подумалось: надо бы уточнить, будет ли дома мать, а то зря время потрачу.

Мать Игоря была дома. Она только что вернулась с работы и хлопотала на кухне. Дверь открыла соседка по квартире, пожилая женщина, и, справившись, кто ему нужен, громко позвала:

— Анна Васильевна, к вам пришли!

— Сейчас, сейчас! — послышалось в ответ.

Быстрые шаги по коридору, и вот в прихожей появилась немного смущенная миловидная женщина лет сорока. Семенов представился и объяснил цель прихода.

— Проходите, пожалуйста, в комнату, я сейчас, только ужин приготовлю.

Андрей Иванович огляделся. В комнате было чисто и уютно, хотя по всему чувствовалось, что здесь живут без особого достатка. Вернулась хозяйка, быстро накрыла на стол, пригласила гостя.

— Давайте вначале поедим, а потом побеседуем, — предложила она. — Я, признаюсь, ужасно голодна. Сегодня из-за общественных дел в столовую не попала, перебилась в буфете пирожком и стаканом кофе. Извините за скромное меню. Как говорится, чем богаты...

На вопрос, где Игорь, она ответила, что он ее утром предупредил — зайдет, мол, к приятелю.

Разговор был долгим. Анна Васильевна сразу почувствовала искренность в беспокойстве наставника за ее сына и тоже откровенно говорила о своих наблюдениях за его характером, о своих с сыном заботах. Патлатого она у себя в доме не видела. К Игорю приходили ребята, но это были друзья по училищу. В прошлые четверг и пятницу вечером был дома. Утром собирался и ушел, как на работу.

— Что-нибудь нехорошее сделал? — обеспокоилась Анна Васильевна.

— Да нет, пока, думаю, беспокоиться нечего. Однако на откровенность его вызовите. Он ведь с вами искренен, не так ли?

— Да, мы условились раз и навсегда говорить друг другу только правду. Но ведь он не в вакууме живет, его окружают люди, причем люди разные. Возможно возникновение чувства ложного товарищества, и тогда он даже от меня что-то может скрыть.

— Вот этого-то я и опасаясь, — сказал Семенов, почувствовав, что беспокоит их одна и та же мысль.

— Вы знаете, я сознавала все бремя ответствен-



ности, когда решила расстаться с мужем. Ведь вырастить ребенка без отца, а тем более мальчишку, дело очень сложное. Поэтому я делала все, чтобы поступать верно. Но, согласитесь, ведь они у нас, матерей-одиночек, половину дня предоставлены сами себе. И когда в школе учился, и потом... Кстати, учился хорошо и мог бы в девятом классе остаться, однако сам захотел в профучилище, сам и специальность избрал. Почему, спрашиваю, решил стать фрезеровщиком?

«Да понимаешь, мама,— говорит,— это одна из кондовых рабочих профессий, считается не из легких. Ну я и решил испытать себя».

Потом, видя, что я не до конца его поняла, уточнил:

«Вот мы с тобой любим хоккеем смотреть. Как легко, красиво играют наши ребята даже с канадцами! А ведь на тренировках они специально на себя тяжелый груз вешают и с ним уже отрабатывают движения и броски. И получается: сначала трудно, зато потом легче, в самой игре. Иные, между прочим, не выдерживают, уходят из команды. Словом, мама, я решил в начале жизни дать себе нагрузку, испытать себя на прочность. Ведь позже будет труднее. Как там в песне, мама,— обернул он все в шутку: «В хоккее играют настоящие мужчины!»

Возвращаясь от Шумаковых, Семенов вновь и вновь вспоминал этот последний эпизод из рассказа Анны Васильевны.

«Ведь правильно, в общем, парень себя в жизни нацелил. А что заносит его, не беда — издержки возраста. И я сам, и другие в свои семнадцать-восемнадцать лет разве не отдавали дань максимализму, разве мы не испытывали обостренного чувства самолюбия? Да, порою тщеславная мысль и все здоровое собой затмевала! Это потом уже, с возрастом, вспоминать было иногда смешно, а иногда и больно. Ведь реальность для него только-только начинается. Вот бы еще мне самому с собой совладать, когда он начнет характер свой показывать, но трудно, тоже ведь не железный».

Утром Игорь явился вовремя и, казалось, поздоровался приветливо, но когда Андрей Иванович подошел к его станку с желанием продолжить вчерашний разговор, Игорь вежливо, но сухо ответил, что он уже «получил свое» от комсбюро и выговор по цеху «схлопотал», а посему тему эту следует считать закрытой. Обидел

очень этим своего наставника, да еще как, хотя и не нахамил ему!

«Чего-то я не учел в подходе к нему,— мучился после этого наставник.— Наверное, инерция отношений с двумя предыдущими ребятами сработала. Те были общительнее, добродушнее. Да и в семьях все благополучно обстояло и у одного, и у другого: отцы — достойные люди, и матери хорошие. А вот Анне Васильевне, как ни бейся, одной трудненько приходится с этим акселератом. Хотя, чувствуется, он мать любит и уважает как человека».

Семенов скосил глаза, посмотрел, как там Игорь. Тот был весь в работе. В обеденный перерыв, наскоро перекусив, он, как всегда, убежал играть в волейбол.

Игорь неплохо играл во всех линиях, и поэтому чаще всего выигрывала их команда, капитаном и тренером которой был комсорг Володя Семиренко.

\* \* \*

Все ближе завод, все гуще поток людей, попутчиков. Знакомые почти на каждом шагу, только успевай здороваться. В такой обстановке уже не сосредоточишься. Вот один с вопросом обратился, другой с разговором, и уже в плотной массе он подходит к дверям проходной.

Однако мысли об Игоре весь день не покидали Андрея Ивановича. Он вспоминал их взаимоотношения и вновь утверждался во мнении, что правильно поступил, не снизив к нему требовательности. Они с Анной Васильевной обменялись телефонами и часто согласовывали свои воспитательские действия. Она решительно одобряла линию наставника, справедливо рассудив, что подыгрывать, подлаживаться под характер подростка ему не следует. Это может подорвать авторитет старшего в глазах младшего. Ведь мужчины уважают друг друга именно за твердость характера, за постоянство.

Однажды Игорь указал Семенову:

— Мне нужно два дня за свой счет оформить. Делá. Товарищу надо помочь.

— Опять тому, из склада?

— Неважно. Надо, и все.

— А мать знает?

— Да.

— Ну что ж, оформляй,— согласился Андрей Иванович. Однако недобрые предчувствия его одолевали не напрасно.

Как-то раз подбегает к нему табельщица Оля и быстрым шепотом сообщает:

— Срочно зайдите в красный уголок, там вас один человек дожидается.

Заходит, видит вместе с парторгом и начальником цеха сидит незнакомый мужчина средних лет, перед ним лежит на столе папка.

— Знакомься, Андрей,— привстал парторг,— это следователь Углов Сергей Сергеевич. Он по поводу твоего подшефного.

Словно жаром обдало Семенова. «Вот они — предчувствия! Ах ты глупырь, глупырь, что ж такое натворил-то?»

Следователь медленным движением открыл папку, достал какие-то бумаги и спросил Семенова:

— Скажите, Андрей Иванович, не замечали ли вы в последнее время за своим подопечным каких-то настораживающих вас контактов с кем-либо, каких-то отклонений от прежней его линии поведения?

Семенов рассказал про патлатого парня, про два дня прогула и дни, взятые за свой счет. Сказал, что парень любит технику. Видимо, хорошо знает моторы и помогает их ремонтировать, вероятнее всего сверстникам, имеющим мотоциклы. У самого, правда, только мопед. Да и то он лишь летом на нем катается.

Следователь слушал внимательно, не перебивая, а когда Семенов закончил, сказал тихо, но твердо:

— Ваш подшефный замешан в деле о краденых мотоциклах. Этим занималась группа лиц, в которой верховодил названный вами длинноволосый из центрального склада. Фамилия его Рыбин. Они похищали машины, угоняли их в пригородную зону, где на личных приусадебных участках, в прудах, их притапливали, предварительно смазав все необходимые части густым слоем тавота. Это-то и позволило преступникам сбить с толку следствие. Казалось, все следы ведут верно, а улики не обнаружить. Спустя некоторое время после угона они доставали машины, перебирали их и, комбинируя детали, отвозили в глубинку, где выгодно сбывали сельским жителям. А некоторые мотоциклы разбирали до винтика и реализовывали как запчасти. Ваш Игорь приводил в порядок моторы после длительного лежания на дне водоемов. И по-видимому, знал, откуда они берутся. Я хотел бы допросить его сейчас,— продолжал следователь.— Вы бы мне помогли в этом, если бы рас-

сказали еще что-нибудь о его характере, его наклонностях. Ведь он у вас с осени прошлого года?

— Да, ему нынче в армию призываются.

— В армию он теперь может и не попасть,— ответил следователь, как показалось, с оттенком укоризны.

Семенов немного помолчал, а потом вдруг решительно заявил:

— Знаете что, Сергей Сергеевич, дайте мне день срока, чтобы самому поговорить с парнем. Сдается, он в этой группе не соучастник, а жертва.

Следователь удивленно вскинул брови, но молчал, ожидая от Семенова дальнейших пояснений.

— Насколько я знаю Игоря, он не способен влезть в грязное дело, он честный парень. Я не могу это подтвердить сейчас чем-то конкретным, но поверьте мне, я всем своим существом протестую против категорического утверждения в его сознательном участии в этой преступной шайке. Его запутали, ввели в заблуждение. Обманули, в конце концов, но он не преступник.

— Ваша уверенность в этом может быть подкреплена чем-то еще?— спросил следователь.

Семенов помолчал, потом тихо сказал:

— Наверное, в моих словах больше эмоций, чем доводов, но поверьте, этот парень не мог красть и брать в руки такие грязные деньги. Это не в его характере. Меня здесь все знают, и слово мое знают.

С минуту длилось общее молчание. Затем сидевшие за столом переглянулись, и следователь, застегивая «молнию» на папке, куда он положил документы, промолвил:

— Хорошо, Андрей Иванович, я подожду до завтра. Вот мой телефон. Позвоните.

На том и расстались.

Семенов долго еще сидел один в красном уголке, стараясь подавить волнение, а заодно приготовиться к нелегкому разговору с Игорем и его матерью. Потом вдруг резко встал, намереваясь идти в цех, однако острая боль в нижней правой части живота, пронизав его, заставила снова сесть.

«Что это? Неужели аппендицит? Вот еще не хватало! Раньше хоть ныл, потом все прекращалось, а эта боль новая, незнакомая. Ничего, сейчас посижу маленько, и все пройдет». Он стал массировать живот ладонью, но боль не утихала. Попробовал встать — хуже. Лоб быстро покрылся испариной. Он позвонил табельщице и по-

просил ее позвать фельдшера из медпункта, сказав ей про свои подозрения. Женщина-фельдшер пришла довольно скоро. Она сразу определила: острый приступ аппендицита. Немедленно в больницу. И сразу же стала вызывать санитарную машину.

Семенова одолевали и боль, и сознание ответственности за Игоря: «Как же, дал слово следователю и не сдержу?»

Фельдшер бинтом убирала с его лица пот и все приговаривала:

— Потерпите, потерпите чуточку, сейчас будет машина. Бояться нечего, вы вовремя мне позвонили. Ни в коем случае не поднимайтесь с дивана!— почувствовав, что Семенов порывается встать, удержала она его.

— Мне надо позвонить... Поговорить...

В это время в помещение вбежал его мастер Тимофеев. Это Оля сообщила ему о случившемся.

— Ты не беспокойся, Иваныч, за станком присмотрим, тумбочку твою закроем,— говорил он.— Ты поправляйся, это главное! Мы тут как-нибудь без тебя нажмем.

А потом, когда понял, что Андрей Иванович хочет сейчас же поговорить с Игорем, запротестовал:

— Да ты с ума сошел! Выбрал момент для беседы о нравственности. Тебе сейчас волноваться нельзя!

Вошли санитары с носилками, а за ними врач, который тотчас же подтвердил диагноз и скомандовал:

— В машину!

— Пойдите, прошу вас,— чуть не кричал Семенов.— Позовите парня, я прошу... Мне только поговорить с ним!

Но его не слушали.

В машине боль отступила, нахлынула слабость.

— Доктор, пожалуйста,— стал он просить врача,— позвоните по телефону матери моего молодого товарища, запишите номер...

Врач стал уговаривать его не тратить силы — они ему пригодятся для операции.

— Все устроится,— приговаривал он, глядя его руку.— Поправитесь и доведете дело до конца, а сейчас лежите тихо.

Но, взглянув в глаза больного, понял, что здесь что-то очень серьезное и сказал:

— Ладно, давайте телефон, мы уже подъезжаем.

Семенов назвал и передал врачу также бумагу с номером телефона следователя.

— Пожалуйста, скажите ей и ему еще раз, что они ни в чем не виновны. Я знаю это точно, твердо знаю: ни в чем не виновны. Он не знал, а они спекулировали на его честности, на желании помочь человеку...

— Хорошо, хорошо! — успокаивал врач. — Я непременно позвоню им и все передам.

Операция была долгой. Перитонит. Врачи сделали свое дело на совесть, и теперь Семенов был вне опасности.

— Счет шел на минуты. Еще бы чуть помедлили с доставкой, и за положительный исход я бы не поручился, — сказал сразу же после операции хирург жене Семенова, которой его товарищи сразу же сообщили о несчастье.

Доставивший Семенова в больницу врач сдержал слово. Он сам позвонил и Анне Васильевне, и следователю. Последнему он не только передал сказанное Андреем Ивановичем, но и объяснил то обстоятельство, в котором эта просьба была изложена больным. И от себя добавил:

— Честно говоря, хотел бы я, чтобы так же уверенно поручился кто-нибудь за меня!

Анна Васильевна пришла навестить Андрея Ивановича, когда он уже выздоравливал, и все объяснила. Следователь прислушался к мнению Семенова и не вызывал Игоря для допроса. Тем самым парень не был травмирован подозрением.

Рыбин же на следствии показал, что попросил Шумакова перебраться два мотора у него в сарае, за городом, не посвящая его пока в тайну их появления, хотя в будущем намеревался это сделать. Преступник брал в расчет и слабость, которую питал Игорь к технике, и его бескорыстие — платить ничего было не нужно. Учитывал и характер парня — сдержанность.

Выяснилось, что Рыбин давно приглядывался к Игорю, исподволь изучал его, выпытывал у знавших его ребят сведения о нем — словом, готовился вовлечь его в «дело» серьезно. Единственным «гонораром» за его возню с моторами была быстрая езда на мотоцикле по пустынным вечерним улицам пригородного поселка, где жил Рыбин и его сообщники. Почему сама не купила Игорю мотоцикл? Не было лишних денег, копили на кооперативную квартиру, которую вот-вот получают.

— Может быть, и я свою личную судьбу устрою,— добавила она, слегка смутившись.— Хороший человек встретился, но у него своего жилья нет. Так что, милости прошу бывать у нас. Будем рады видеть вас с женой. Спасибо вам за все. А Игоря простите, он переживает, я уверена, и стыдится, что вовремя вас не послушал. Вы ведь убедились, что вообще-то он у меня хороший, только прячет свою доброту под внешней бравадой. Но это мальчишеское, это пройдет, я знаю. И когда-нибудь он вам все сам объяснит.

Игорь в больнице не появился. Он сходил в военкомат и попросил призвать его раньше. Просьбу удовлетворили. Так что, когда Семенов приступил к работе, Игоря уже в цехе не было. Андрей Иванович надеялся найти в своей тумбочке записку от него, но не было и письма, никому в цехе он не писал.

Прошло некоторое время, наполненное, как обычно, различными хлопотами, домашними делами. Ведь все больше внимания требовали к себе две четырнадцатилетние дочери-близняшки Семенова. И хотя Игорь не выходил у него из головы, он сдерживал себя, не звонил Анне Васильевне, ждал.

А тут ему и нового подшефного определили: небольшого ростика мальчишку по имени Ваня, по фамилии Рыжиков. А и впрямь, всем своим видом оправдывал он свою фамилию: рыженький, курносый, веснушчатый. Смышленный парнишка: все эскизы чертит, пытается рационализировать. Даст ему мастер задание, а он к Семенову:

— А нельзя ли две заготовки сразу обработать? А что, если попробовать вот так, а не этак?

Словом, паренек пыливый, толк будет.

\* \* \*

Вот какой пласт воспоминаний подняло у него это предчувствованное, ожидаемое им солдатское письмо.

Теперь он знает, с чем пойти на встречу с ребятами — первокурсниками ПТУ.

И он искренне порадовался еще раз строкам Игоря, в которых тот заверил своего наставника: «Отслужу — и снова на завод, в цех, чтобы работать рядом с вами, в одной бригаде. А я не подведу. Слово!»

Семенов решил, что сегодня же напишет ответ, в конце которого будет короткая, но очень значимая для них обоих фраза: «Жду тебя, Игорь!»

**ГОЛУБИ**  Вячеслав  
Силин  
рассказ

Валерка на одном дыхании влетел на третий этаж и, распахнув дверь, выпалил с порога:

— Мам, а мам! Дай, пожалуйста, три рубля!

— Что? — удивилась мать. — Зачем тебе?

— Там один дядька пришел, голубку продает, турманшу. Говорит, двенадцать колен делает; маленькая такая, с чубчиком, лохроногая, а носик вот такусенький! Мам! Ведь у меня ни одного вертуна нет, одни дикари!

— Сколько потратили уже на этих голубей, и что с них проку? Возишься с ними целыми днями, лучше бы над уроками больше сидел! Вчера опять тройку получил. Я боюсь уже и в дневник-то заглядывать. За что тебе подарки дарить?

— Мам, я исправлю! Вот увидишь! Ну, пожалуйста, а то кто-нибудь купит или дядька уйдет. Ведь турманша!

Мать молчала, подыскивая убедительную для отказа причину, но, не находя ее, неожиданно для себя сказала:

— Ну ладно. Но смотри... последний раз!

— Конечно, мам, честное слово! — Он уже несся по лестнице. Хлопнула дверь подъезда.

Высокий небритый дядька в мятом пиджаке с отянутыми карманами, такими же мешками под глазами и засаленными локтями стоял у забора, покачиваясь, и мутно смотрел на голубя, которого держал в левой руке, а правой легонько поглаживал по сиреневой спинке. Голубь потряхивал головой и прикрывал глаза белесыми веками с мелкими пупырышками по краям.

Около дядьки стояли Валеркины приятели-однокурсники Вовка и Шурка. Они слушали дядькино бормотание и смотрели на голубя.

— ...Последняя осталась, самая лучшая! Не хотел я с ней расставаться, да вот... А как она любила меня! На руку садилась и с ладони клевала. А как шугну —



кругами уходит и всех ведет. Да, все за ней! Наверное, и у них, глупых, бывает так, что за ней хоть на край света... Даром что птица. Такие дела, ребятки!

Валерка знал, что этого дядьку зовут Иваном, так как этим летом несколько раз ходил смотреть его голубей. А посмотреть было на что — вертуны и трясуны, всего пар двадцать, и такие породистые, что казались Валерке какими-то странными: уж если лохмоногие, то лохмы из перьев в палец длиной; уж если вислачи — то крылья по самой земле волокутся, а трясуны казались ему эпилептиками — так дергались их головы. А клювы у всех меньше стрижиных, малюсенькие и аккуратненькие. Многие голубятники ходили посмотреть на них. Ни у кого таких не было.

И вот теперь этот дядька Иван продает сиреневую турманшу, самую красивую и маленькую голубку, и еще говорит, что она последняя из его стаи. Странно! И всего за три рубля. Да это же даром!

— Вот! — Валерка, тяжело дыша от бега и переживаний, разжал правый кулачок. На ладонке лежала влажная и еще теплая трешка. Он не знал, что говорят в таких случаях, и молчал, с недоверием глядя на дядьку Ивана. А тот, осторожно держа голубку обеими руками, приблизил ее к своему лицу, закрыл глаза и погладил грудку щетинистой щекой, прощаясь с ней.

— Эх-ха! Ну, бери!

Турманша сидела на его пальце, опустив крылья и держа хвост почти вертикально вверх; грудка круто выгнута, головка отведена назад к самому хвосту, тупой светлый клювик прижат к шее. Валерка протянул к голубке левую руку и выставил указательный палец. Иван, чуть приподняв сначала, опустил свою руку, и голубка, затрепетав куцыми крыльями, очутилась на Валеркиной руке, сжимая лапками палец и вздрагивая хвостом. Больше Валерка ничего уже не замечал: ни как дядька Иван взял трешку и ушел не обернувшись, ни как мальчишки просили дать подержать голубку. Счастливая улыбка застыла на его лице и заблестела в глазах.

Медленно ступая, будто боясь потревожить эту сиреневую принцессу, Валерка двинулся к забору своего сарая. Его дружки отворили перед ним калитку, потом двери сарая и, как покорная свита, пропустив его вперед, вошли следом. Турманша с любопытством смотрела вперед то одним, то другим глазом.

Голуби, сонно выглядывая из сумерек своих углов, не выразили особого любопытства к ее особе, равнодушно повернув головы вбок и пяля на вошедших круглые зеленоватые глаза. Трехмесячный поросенок, спавший на соломенной трухе в своем закуте, хрюкнул, открыл глаз с коротенькими белесыми ресничками, подставил под себя передние ножки и повернул голову к двери. Потом, сообразив, что дело, возможно, касается корыта, вскочил, просунул шевелящийся пятак в щель под дверкой закута и взвизгнул, поддавая дверку рылом.

В дальнем углу сарая, едва освещенном электрической лампой, сверкнул глазом и вытянул шею красный дикарь Голем. Валерка назвал его именем глиняного великана из чешской сказки за величину, широкую грудь и трубный голос. В остальном Голем был неинтересный — голоногий, без чуба, крылья носил поверх хвоста, да еще никак не мог спароваться ни с одной голубкой, которых специально для него выменивал Валерка. Любил этот дикарь прибиваться к чужим стаям, как будто скучал и искал кого-то. Иногда даже по нескольку суток дома не бывал. Хорошо еще, что никто на него не зарился и не выдирали ему большие перья из крыльев, чтоб летать не мог и привыкал к новому месту, пока отрастают новые.

Увидев турманшу, Голем сорвался с места, подлетел, поднимая крыльями ветер, и, наверное, в первый раз за свою нескладную бродячую жизнь сел по своей воле на человеческую руку рядом с ней. Может быть, это была любовь с первого взгляда, а может, он был «знаком» с ней и раньше, но он тут же закружился, покалывая коготками Валеркину руку, и раскатисто заворковал густым басом. После каждой рулады Голем распускал хвост метелкой, подгибая его под себя, и приосанивался, вытягивая шею и распушив перышки, как петух, собравшийся прокричать первое «ку». Голубка закивала головой, будто здороваясь или соглашаясь с ним.

Неожиданная выходка Голема вернула Валерку к действительности. Схватив дикаря свободной рукой, Валерка посадил его на ближайшую жердь и задумался — куда бы посадить эту драгоценную голубку. Каждая пара его разномастной стайки жила в своем перевернутом вверх дном посылочном ящике с прорезанной дырой и клочком сена внутри. Ящики были расставлены на дощатых полках вдоль стен.

Валерке хотелось устроить турманшу так, чтобы она была защищена от притеснений с чьей бы то ни было стороны. И он решил поместить ее в большую клетку, сколоченную отцом из реек для кур еще в те годы, когда большую часть сарая занимала красная с белым лбом корова Манька.

— Вовк! Перетащи тот ящик, — Валерка кивнул на гнездо длинноносых рябых дикарей, — вон туда, в курятник.

Вовка и Шурка бросились к ящику, переполошив голубей, и стащили его вниз, рассыпая сено, борясь и отталкивая друг друга. Наконец Вовка, осилив дружка, со словами «он мне сказал» нырнул в курятник и полез по ветхой, заляпанной куриным пометом лестничке куда-то вверх.

Потом туда с голубкой в руках поднялся Валерка. Конечно, ему хотелось теперь же выпустить всех голубей на плоскую крышу сарая, заросшую по краям лебедой, полюбоваться на них и понаблюдать за турманшей, но он не мог еще успокоиться, чего-то побаивался и потому решил сделать это, когда с работы вернется отец. Тогда они вместе посмотрят его богатство, и Валерка напомнит отцу про обещание помочь построить голубятню. Это будет настоящая голубятня, как у дядьки Ивана: высокая, с откидной сеткой-западной, и неприсутная для кошек.

В подвалах и на чердаках окружающих домов обитало много бездомных кошек, прожорливых и бесстрашных. Опасаясь их, Валерка держал голубей взаперти и открывал окно сарая, превращенное в летку, только когда играл во дворе, а выпускал на крышу и гонял их, когда собиралось достаточно дружков. Тогда некоторые из них лезли на крыши домов, махали руками, свистели и топали по гулкому железу, стараясь этим шумом загнать голубей повыше в небо.

Валерка еще несколько раз лазал в курятник; пристраивал баночку с водой, сыпал крупу и не хотел уходить. Голем трубил, поблескивая глазом из своего угла. Валерка погрозил ему пальцем, закрыл курятник и пошел к выходу. Надо идти делать уроки.

В ожидании вечера время еле тянулось. Наконец, когда сентябрьское солнце садилось, окрашивая верхние этажи домов в розовый цвет, пришел отец, и они отправились в сарай задать свинье картофельной бурды, а главное...

Валерка вылез из курятника, посадил голубку на палец, как делал дядька Иван, и сказал:

— Смотри, пап!

Отец, перегнувшись через загородку закута, чистил граблями свинячью постель.

— Пап!

Тот выпрямился и, увидев голубку, улыбнулся:

— О-о! Да, это да!

Радуюсь и сбиваясь, Валерка залопотал что-то о голубке, десяти коленях, дядьке Иване.

— Почему ты сегодня поздно? Я так хотел выпустить их на крышу, чтоб ты посмотрел...

Отец погладил сына:

— Ну ничего! Мы в другой раз... Надо бы для них пшенички подкупить.

— А голубятню?

— Голубятню? Это мы сделаем весной, а то зимой они там померзнут.

Валерка согласился. В его воображении рисовалось уже, как он стоит на площадке новой голубятни и видит свою стаю в весенней синеве, такой высокой и спящей, что, для того чтобы разглядеть голубей, надо налить в таз воды и следить за ними по отражению. А впереди стаи — турманша. Вот она откидывается чуть назад, будто садится на хвост, и, начав вращаться, падает вниз, демонстрируя свои искусные двенадцать колен.

Валеркина радость не проходила, несмотря на случившиеся мальчишеские неудачи. Он даже перестал замечать их.

Возвратившись из школы, он выпускал голубей на крышу сарая, выносил сиреневую королеву, наблюдая, как отрастают ее крылья, и думал о том, что нужно бы найти для нее голубя, умеющего делать хотя бы пару колен, чтоб не испортить потомства.

А пока за турманшей неотступно следовал Голем, гоняя ее по всей крыше. Он бил крылом всех голубей, какие оказывались около нее, вертелся, ворковал и подметал хвостом крышу.

Как-то Валерка забыл закрыть курятник и в первое же посещение сарая увидел там Голема. Тот гудел, надывая громадный зоб, а маленькая принцесса, сидя рядом с ним, чистила перышки на его шее и тянулась к крупному крючковатому клюву. Потом они целовались. Ну и пусть, решил Валерка, даже и лучше. Голем — настоящий голубь, большой и сильный.

Недели через две Валерка, забравшись в курятник, разглядел в темноте ящика что-то белое. Он знал, что голуби не бросают яйца после того, как их потрогает человек, и сунул руку внутрь гнезда. Яйцо! Но какое-то оно слабенькое, мягкое. Никогда еще он не видел таких. Каким же будет второе?

Прошла неделя. Турманша и Голем по очереди сидели в гнезде, а второе яйцо не появлялось. Каждый день Валерка лазал к своим любимцам. Они клевали его руку, но вставали. Яйцо было одно.

На исходе второй недели их бдений Валерка, придя в сарай, застал обоих голубей разгуливающих по полу. Он решил, что они отдыхают. Но вскоре ему показалось, что никто из них не собирается возвращаться в курятник. В чем дело? Заглянув в гнездо, он увидел раздавленную скорлупу и растекшийся по селу желток. Чертов Голем! Это, конечно, он виноват, неуклюжий и грубый дикарь!

Пришла зима, изменив все вокруг за одну ночь. Ударили морозы. Стены в сарае покрылись ровным слоем мохнатого инея. Замерзла вода в банках. Голуби, нахолившись, грустно гудели около своих холодных ящиков и склевывали со стен иней, оставляя странные знаки. Рябые сидели на яйцах. Застав как-то Голема в гнезде, Валерка удивился, и тут же радостная догадка родилась в его голове. Так и есть — яйцо! Крепкое и крупное. Через две недели появилось второе, ничуть не хуже первого. Валерка ликовал и бегал в сарай по несколько раз в день. Из ящика рябых уже раздавался писк. Теплые розовые комочки. От них шел пар, когда они высывались из-под родительского бока и требовали корма.

Валерка с надеждой поглядывал на курятник, просиживая в сарае целые вечера. А чтобы мать не ругала его за это, сам вызвался смастерить несколько цветочных горшков.

Однажды утром, когда до истечения трехнедельного срока оставалось несколько дней, Валерка понес свиные корма. Дверка закута была распахнута, и оттуда слышались стоны разжиревшей свины. На полу валялись испачканные кровью перья. Валерка оторопел, но, подступивший тревожным подозрением, юркнул в курятник. Ни Голема, ни турманши в гнезде не было. Холод яиц испугал его. Что случилось? Где голуби? Он заглянул в другие гнезда, за дрова, под ясли и в закуте увидел кучку светлых изжеванных перьев. Свины? Она подде-

ла носом дверку, и петля соскочила... а голубка разгуливала по полу?

Голема он нашел на шесте в дальнем углу сарая. Тот молча и неподвижно сидел, вобрав голову в плечи. Его правое крыло, как перебитое, свисло под шест, и в нем не хватало перьев. Несчастливый мужественный дикарь, он, наверное, бросался на выручку и едва не погиб сам.

Валерка чувствовал, как что-то больно сжалось в груди, но не плакал.

В дверях стоял отец. Скользнув взглядом по Валеркиному лицу и увидев перья, он понял все. На свинью посыпались тяжелые удары. Она визжала. От очередного удара голова ее свернулась набок, будто в шее что-то сломалось.

— Папа, не бей, не надо!

— Завтра же заколю! — рычал отец.

Боль за голубку, жалость к Голему, ненависть к свинье, горечь разбитой детской мечты и растерянность от столкновения с жестокостью непоправимого — все смешалось. После детских проказ и наказаний за них можно было прижаться к материнским коленям и попросить прощения. И ему прощалось. Все становилось по-прежнему просто и понятно. Но случившееся было непоправимо. Ничто не поможет: ни просьбы, ни обещания. А что он мог еще! Валерка заревел. Это были последние детские слезы.

# КОМАНДИРОВКА В ЮЖНЫЙ ГОРОД



Виталий  
Ильяшов

рассказ

— Правда, интересные мы люди, Олег Васильевич? — сказал режиссер, обращаясь к Храмову. Тот улыбнулся и ничего не ответил. Им владело приятное чувство усталости, какое бывает, когда после долгой утомительной дороги можно наконец где-то остановиться и передохнуть.

Они только что прилетели в южный город, удачно устроились в маленькой гостинице и теперь сидели в номере директора картины Ефима Григорьевича, пили чай и вели не относящиеся к делу разговоры.

— Кстати о птичках, — заговорил Ефим Григорьевич, призывая всех к вниманию. — Завтра мы можем уже снимать цапель. Нам порекомендовали одного человека, который знает тут каждый уголок. Наташа, как его фамилия?

— Качура, — сказала Наташа. Она сидела рядом с Храмовым, и когда поворачивала голову, ее длинные волосы скользили по его щеке и губам. Храмов посмотрел на ее профиль и подумал, что если ее фотографию показать человеку, который с ней не знаком, то, скорее всего, он ничего особенного в ней не увидит: крупноватые черты, слегка выпуклые скулы, глаза водянистого тона. Лишь воспринимая ее вот так — в объеме, в цвете, в движении, — слышишь ее глубокий, с какой-то горчишкой голос, ощущаешь всю ее прелесть.

Когда Храмов только начинал работать на картине консультантом, он обращался к ней по имени-отчеству — Наталья Егоровна. Лучше просто Наташа, просила она. Собственное отчество ее почему-то не устраивало. А Храмову оно, наоборот, очень нравилось, в нем была какая-то старомодная торжественность: «Наталья Егоровна, разрешите просить вашей руки?» Или: «Наталья

Егоровна, я зашел с вами проститься, я еду на Кавказ в действующую армию». Он стал звать ее Наташей, а она по-прежнему звала его Олегом Васильевичем. Очевидно, из уважения — хоть старше ее всего на пять лет, но все-таки — ученый.

— Не жалеете, что поехали с нами? — спросила Наташа.

— Нет, — ответил Храмов. — Лишь бы тут от меня был какой-нибудь прок.

— Только от вас и будет. От вас да от оператора. Остальные — это сопутствующие. В том числе и я.

Храмов посмотрел на нее с интересом. Ему нравились люди, которые относятся к себе с иронией.

— Вы довольны своей профессией? — спросил он.

— Да, — ответила Наташа. — Все время новые люди, новые места.

— А как семья относится к вашим поездкам?

— Нормально.

— Вы знаете, я вам в чем-то завидую. Я тоже люблю свою работу, но очень уж много в ней рутинного. Изю дня в день одно и то же, одно и то же. Для меня эта поездка — прямо как праздник.

— Ну что, дорогие гости, — сказал Ефим Григорьевич, — давайте по-хорошему разойдемся. Завтра в девять ноль-ноль встречаемся в холле.

Спустившись утром вниз, Храмов увидел кроме знакомых ему людей человека с широким красноватым лицом и редкими, но курчавыми волосами.

— Это Павел Иванович Качура, — представил его Ефим Григорьевич. — Он нам покажет, где живут цапли и прочие пернатые.

Есть такие люди, из которых энергия выпирает, как грибы из-под асфальта. Павел Иванович принадлежал к этой редкой породе. Каждая его фраза напоминала звук реактивного самолета, идущего на взлет. Говоря, он беспрестанно двигал головой, руками и, даже когда молчал, веячески демонстрировал кровную заинтересованность в обсуждаемом вопросе.

— Цапель тут навалом, — сказал он. Любых — белых, серых, черных. Сегодня уже снимать будете. Надо только в одно место смотаться, чтоб договориться насчет лодки. Небольшая сумма — и всё будет путем.

Ефим Григорьевич отозвал Павла Ивановича в сторону. Там они поворковали несколько минут, после чего Качура мгновенно исчез.



Через полчаса все, кроме директора картины, оставшегося договариваться насчет следующих съемок, уже ехали за город в голубом микроавтобусе.

Во дворе, к которому их привел Качура, стоял длинный деревянный стол наподобие тех, что встречаются на полевых станах, и бегали куры, помеченные зеленой краской.

— Надо подкрепиться немного перед работой, — сказал Павел Иванович и, отлучившись ненадолго, притащил огромную бутылку с красной жидкостью.

— Это кислячок, — объяснил он. — Свой, из винограда. Сейчас еще рыбки принесут. Всё нормально, всё путем.

— Нам же снимать надо, — сказал режиссер. — Какая работа после вина?

— Не смешите меня и курей, — ответил с укоризной Качура. — Это же кислячок, все равно что компот. Всё путем.

Вскоре на столе появилась большая эмалированная кастрюля, наполненная жареной рыбой. Павел Иванович поставил на стол единственный стакан и сказал:

— Ефим Григорьевич мне говорил, что вы после этого собираетесь ехать в Молдавию, к румынской границе. Там есть такой обычай — «солomor» называется. Подадут вам уши или рыбы и один стакан. Надо сказать тост, выпить до дна и передать товарищу. Так что мы сегодня проведем вроде бы как генеральную репетицию.

Он взял стакан, бухнул в него красной жидкости и заговорил долго и торжественно про гостей, про столицу, про солнце и кончил пожеланием удачи.

Стакан обошел всех уже по третьему разу, солнце вздыбилось в зените, а конца этому солomору не было видно.

— Пора, — сказал наконец малоразговорчивый оператор, и все с неохотой оторвались от стола.

Лодка легко, без толчков и покачиваний понеслась по плавням. Если бы еще не тарактел мотор, могло показаться, что летишь во сне. Вода впереди лодки была без единой морщинки. Слева и справа торчали камыши и деревья, залитые водой.

Качура продолжал разливать из своей огромной бутылки остатки вина, беспреестанно что-то тараторя.

Наташа сняла платье и осталась в цветастой купальной паре. Лежа на носу лодки, она походила на фигуру на рострах.

У одного из песчаных островков Качура остановил лодку; и оператор с ассистентом вышли на берег, захватив с собой камеру и штатив.

Храмов, наблюдавший за этими действиями с некоторым недоумением, наконец открыл рот и сказал:

— Слишком открыто.

— Не понял вас, — откликнулся с кормы режиссер, разомлевший от солнца и вина.

— Я говорю, Сергей Львович, что цапля — очень пугливая птица. Если она видит новый предмет, она не подойдет к месту несколько дней.

— Всё путем, — сказал Качура, заводя веревкой мотор. — Тут у нас их навалом. Они почти ручные. Погнали!

Лодка вздрогнула и понеслась дальше. Наташа приподнялась, развернулась вокруг оси и подставила лицо солнцу.

— Вы рискуете обгореть, Наталья Егоровна, — сказал Храмов, откровенно любуясь ею. — И в страданиях провести эту ночь.

— Нет, — беспечно отозвалась она, не открывая глаз. — Со мной такого не бывает. Я могу быть на солнце сколько угодно. Это без солнца мне плохо. Я по натуре — язычница, преданная жрица бога Ярилы.

Через час лодка развернулась и пошла назад. Ни людей, ни камеры на островке не было заметно.

— Ну как? — крикнул Сергей Львович.

— Тут только ревматизм зарабатывать, — сказал, появляясь из камыша, оператор. — Они летят сюда, а подлетев чуть ближе, разворачиваются. Видят, что два дурака с пушкой стоят. Мы уж и сверху камышом прикрывались — ничего не помогает.

— Ну что вы скажете, Олег Васильевич? — спросил режиссер.

— То же, что и говорил. Надо строить укрытие и ждать, когда птицы к нему привыкнут.

— И сколько они будут привыкать?

— Трудно сказать. Дня три-четыре. Может быть, неделю.

— У нас здесь всего неделя! От нас дирекция метраж требует.

— Тогда могу вам дать еще один совет: найти рыбное хозяйство — они здесь наверняка есть — и снимать там. В таких местах цапли менее пугливы.

— Слушай, «Соломор», — обратился режиссер к Павлу Ивановичу. — Есть тут поблизости рыбохозяйство?

— Навалом, — бодро отозвался тот, еще не подозревая, что он своими собственными руками уничтожает возможность поболтаться неделю без дела. — Километров за двадцать отсюда. Там полно прудов. Осенью из них воду выпускают, а рыбу чуть ли не экскаватором вычерпывают.

— Мерси, — сказал Сергей Львович. — Крути свой руль назад, мы возвращаемся.

Качура пожал плечами: что поделаешь, не понимают люди своего счастья, и лодка понеслась к берегу.

В этот день никуда больше не поехали. Все разбрелись по городу, и лишь Ефим Григорьевич с Наташей метались по разным учреждениям, получая разрешения.

Когда стало смеркаться, Храмов вернулся в гостиницу, и в тот же миг из подкатившего к подъезду такси выскочили Ефим Григорьевич и Наташа.

— Фу! — выдохнула Наташа так, будто ее только что подняли из глубины.

— Нашли? — спросил Храмов.

— Нашли, — ответил директор. — Целый день из-за этого арапа потеряли. Вот уж действительно — век живи, век учишь. Кто б мог подумать, что на этом юге такой стиль? Завтра выезжаем в восемь.

— Олег Васильевич, пойдете к морю? — предложила Наташа. Он кивнул головой, и Наташа побежала в номер за купальником.

На побережье почти никого не было. Солнце уже скрылось за морем и подсвечивало оттуда перистые облака, которые, казалось, специально сбежали к горизонту, чтобы погреться напоследок. Облака отражались в бесконечных гранях мелких волн, и все вокруг выглядело празднично и грустно.

— Я обожаю плавать вечером, — сказала Наташа. — Вода теплая; как в ванне, даже выходить не хочется. И ночью люблю, при луне. Только страшно очень.

Она быстро сняла платье, бросилась в воду и поплыла брассом. Плыла она, казалось, совсем не торопясь, но вот уже миновала буй и продолжала плыть дальше.

— Э-эй, Наташа! — закричал Храмов. — Может быть, пора к родным берегам?

— Сейчас, — отозвалась она своим низковатым голосом и, проплыв еще метров пятьдесят, повернула назад.

— Как вы хорошо плаваете! — искренне восхитился Храмов, когда она, шурша галькой, подошла к нему. — А я вот за всю свою жизнь так и не научился.

— Я детство на море провела, — сказала Наташа, хватая ртом воздух. — Можно сказать, с пеленок на воде.

Она растиралась полотенцем и шутя постукивала зубами.

— Что, холодно все-таки? — сказал Храмов, вставая с гальки.

— В воде чудесно. А тут ветерок, зябко.

Храмов подошел, взял полотенце и начал быстро растирать ей спину. Наташа вдруг повернулась к нему, и Храмов даже не понял, как это случилось. Наташа ответила на его поцелуй и прижалась к нему своим влажным прохладным телом. Полотенце упало с плеч на гальку, и она, ойкнув, нагнулась, чтобы подобрать его. Храмов подошел к воде и стал кидать камни-голыши в шаркающие волны.

— Подержите полотенце, я переоденусь, — попросила Наташа. — Вот так, как тореадор держит мулету. Знаете, что это у них так красная тряпка называется?

Храмов не знал.

— А от кого вас прикрывать? — спросил он.

— От вас. Или вдруг кто еще подойдет.

Он засмеялся и снова поцеловал ее.

— Я отвыкла целоваться, — сказала Наташа.

— Разве у вас нет никого? Вы такая красивая.

— Ну и что?

— Ничего, — смутился Храмов.

Наташа переоделась, влезла в тесно облегающее ее платье, и они пошли по аллее, в которой совсем не было света, и только по красным огонькам сигарет и треньканью гитары можно было определить, что где-то впереди скамейка.

— Пора возвращаться, — сказала Наташа. — А то нас скоро кинутся искать.

Прощаясь, она улыбнулась ему краешками губ и прикрыла веки. Это был жест сообщника, и от него на сердце Храмова сделалось тепло и радостно.

Новое утро выдалось ясным и объемным. Наверное, в одно из таких утр средневековые люди и сочинили миф, что небо — это большой хрустальный купол.

В рыбохозяйстве их ждали и сразу открыли железные ворота, за которыми пошла узкая полоска насыпи. Их автобус едва уместился на ней — если смотреть из его окна, то казалось, будто плывешь на теплоходе: слева и справа виднелась голубая вода прудов.

Пока оператор с ассистентом готовили камеру, Храмов и Наташа прошли дальше по насыпи и спустились к камышу. Внезапно оттуда с паническим криком вырвалась дикая утка и, шумно хлопая крыльями, стремительно понеслась в сторону.

Наташа от неожиданности испугалась не меньше утки и вцепилась руками в Храмова, но тут же они оба от души расхохотались.

Оператор уже прикрепил к камере большой черный объектив и выжидающе поглядывал по сторонам. Но цапли и здесь боялись подходить близко. Сергей Львович стоял в сторонке, кусая губы, и лицо его было багровым, как перед апоплексическим ударом.

— Ну что, Олег Васильевич,— сказал он резко,— тут еще хуже. Здесь даже спрятаться негде.

— Вы заметили,— сказал Храмов,— что цапли почти не реагируют, когда в машине работает мотор? Пусть водитель не выключает двигатель, и треска камеры не будет слышно. А к звуку машин они привыкли.

— Да уж камеры у нас — не приведи господь,— сплюнул оператор.— Я как-то в Испании бой быков снимал этим «Конвасом». Только нажму кнопку, бык отворачивается от своего тореро и слушает, что там трещит. Чуть меня не побили.

— Ну хватит анекдотов,— оборвал его резко режиссер.— Давайте работать!

Спустя два часа все снова собрались у автобуса.

— Ну как? — спросил настороженно Сергей Львович.

— Да ничего вроде,— сказал оператор, сдувая пыль с кассеты.— Но «крупняков» нету. Эти поганки боятся очень близко подходить. Хотя сейчас метров на тридцать спокойно подлетают.

Храмов уже знал, что «крупняками» и «крупешниками» зовутся крупные планы.

— Ничего, когда они попривыкнут, то станут подлетать ближе,— сказал он.

— Давайте тогда покамест лягушек поснимаем,— предложил режиссер.

Лягушки оказались благодарными актерами. Храмов объяснил, что они реагируют только на движение, и ассистент Володя, живо соорудив удочку и прицепив к нитке белую бумажку, стал подергивать ею в воздухе недалеко от земли. Лягушки вначале осторожно, а потом все смелей стали выползать на берег и пытались

схватить трепещущий кусок бумажки, принимая ее, очевидно, за бабочку.

— Правда, забавные твари? — сказал Храмов. — А вот многие люди их почему-то недолюбливают. Я еще понимаю, почему не любят змей или пауков, — среди них попадаются ядовитые. Хотя это тоже предрассудок. По такой же причине, наверное, становятся мизантропами или женоненавистниками. Встретил несколько ядовитых особей и решил, что и весь вид таков.

— А вы не женоненавистник? — спросил Сергей Львович.

— Почему вы так решили?

— Потому что вам уже к тридцати, а вы еще не женаты. Знаете, как говорят: в двадцать лет ума нет и не будет, в тридцать лет жены нет и не будет, в сорок лет денег нет и не будет.

— А я тоже не люблю лягушек, — сказала Наташа. — Они такие скользкие, холодные.

Они сидели и полулежали на треугольниках плащ-палаток, которые запасливый оператор всегда брал с собой в экспедиции, и смотрели, как он снимает крупный план лягушки.

Никто не заметил, как небо стало затягиваться массивными, напоминающими глыбы сланцев облаками. Первым всполошился водитель, мужчина лет сорока с рыжеватыми усами, опущенными книзу. Все уже знали, что у него сегодня день рождения и что ему к восьми часам надо вернуться в город.

— Успеем, — отрезал режиссер.

— Не в этом дело, — ответил водитель. — Может дорогу развезти. Тут же земля кругом.

Не успели отъехать и ста метров, как крупные капли дождя застучали по крыше, припечатались к стеклам и сделали верхний слой дороги похожим на масло. Автобус стало вести из стороны в сторону. Водитель, который, как потом оказалось, недавно «пересел» с рафика на автобус, не чувствовал его габариты и не мог справиться с управлением. Автобус шел очень медленно, как будто преодолевал сопротивление дождя и ветра. Его задние колеса уводило то вправо, то влево, и наконец они окончательно съехали вниз. Мотор взвыл озлобленно и бессильно, но автобус остался стоять на месте.

— Без трактора ничего не сделать, — сказал шофер, выключил мотор и побежал по насыпи.

Трактор подъехал быстро и стал нос к носу с автобу-

сом. Тракторист, не вынимая изо рта папиросы и выкрикивая постоянно ругательства, дергал лихо рычаги, отчего трактор делал замысловатые пируэты. Наконец он развернулся и подошел вплотную к автобусу. Шофер подцепил трос, влез в кабину, и автобус медленно, рывками снова взобрался на насыпь. Киногруппа угрюмо пошла позади, как похоронная процессия. Огромное туловище автобуса выглядело сейчас на этой узкой, размытой дождем насыпи так же нелепо, как выглядит самолет, поставленный в парке.

Вскоре задние колеса опять соскользнули вниз. Тракторист вновь вытащил автобус на дорогу, но, когда это повторилось еще два раза, он вылез из кабины, отцепил трос и, ругнувшись на прощание, укатил прочь.

Стало совсем темно. Дождь пошел ровный, тяжелый и не думал утихать. Все зашли в автобус и молча расселись кто куда.

С какой легкостью, думал Храмов, глядя на капли, сдирающие со стекла матовую запотелость, судьба может переводить человека из одного состояния в другое. Только что они валялись на земле, испытывая радость и негу от солнечного тепла и голубизны прудов, и никто не мог даже предположить, что придется провести ночь в сыром, холодном автобусе. Но киношники — молодцы, не ропщут и не ищут виновных. Это потому, что они по натуре своей — кочевники, а у кочевников психика более гибкая, они привыкают ждать от жизни постоянных перемен, разочарований и относятся к этому спокойней, чем люди, привыкшие к стабильности своего существования.

Один Сергей Львович не мог усидеть на месте. Он выскочил из автобуса, через полчаса появился вновь, совсем промокший, и сообщил, что в деревянном домике, мимо которого они проезжали, чуть теплее, чем в автобусе, но сидеть там не на чем. Желающих идти под дождем месить грязь не оказалось, и он снова исчез в темноте.

Храмов вдруг вспомнил, что у него в сумке есть бутылка сухого марочного вина, которую он хотел отвезти домой, но забыл вчера выложить. Он достал ее и предложил хоть так отметить день рождения шофера. Все оживились, потому что сидеть в бездействии в темном холодном автобусе было тоскливо, а часы показывали только десять. Водитель остался по-прежнему мрачен и даже пить отказался, но постепенно веселье группы пе-

редалось и ему, и когда последний раз пили за его здоровье и за то, чтобы сегодняшний день был самым неудачным в его жизни, он уже улыбался.

— Ну что, давайте переместимся на заднее сиденье,— сказал Храмов Наташе, когда в автобусе снова погас свет. — Там хоть просторней и не так каплет из окон.

Он собрал со спинки сидений несколько белых чехлов, чтобы укрыться ими, и пошел в конец автобуса.

Наташа легла во всю длину сиденья, положила голову на колени Храмову и, казалось, заснула. Она дышала ровно и лежала почти неподвижно, но через некоторое время сказала, привстав:

— Холодно как. Для меня холод — самое ненавистное состояние.

— Ну прижмитесь ко мне, вам станет теплее,— сказал Храмов. — Теплообмен уменьшится вдвое.

— Раз вы такой ученый, придется последовать совету,— сказала Наташа. Она обняла его и положила голову на плечо.

— Теплее,— сказала она. — Знаете, как в детской игре,— теплее, теплее.

— О господи,— шептала она,— как только бедные эскимосы живут? Для меня солнце — это всё!

Храмов заметил уже, что она частенько повторяет фразы, которые говорила, но и это нравилось ему, как нравится повторяющийся орнамент.

Наташа опять задремала и несколько раз вздрогнула, видно что-то ей снилось. Потом совершенно незаметно она вышла из сна и теплыми, разомлевшими губами прижалась к его губам. От нее пахло молоком и кислотным запахом вина.

В автобусе было тихо — изнуренные и продрогшие, все спали, прикрывшись чем попало, а оператор даже слегка похрапывал. Вдалеке перед автобусом засветился огонек и, казалось, стал увеличиваться, приближаясь к ним, очевидно где-то далеко ехал мотоциклист.

— Есть как хочется! — воскликнула вдруг Наташа.

Храмов поднялся, прошел вперед и, отжав рукой дверь, вышел наружу. Дождь уже кончился, но звезд на небе не было видно. Он пошел вперед, с трудом различая дорогу и ощущая, как к туфлям налипают все больше и больше грязи, делая их тяжелыми, словно подошвы у водолазов. Наконец он уткнулся в кусты; он заметил тут еще днем виноградник. Он отщипнул не-



сколько ягод и, убедившись, что виноград не очень кислый, сорвал кисть. Потом нащупал и сорвал еще несколько кистей и, держа их в ладонях, побрел назад, время от времени делая ногами такое движение, будто ударял по футбольному мячу, отчего земля отлетала и идти становилось легче.

Наташа удивилась и обрадовалась, когда он принес ей виноград.

— Как мне хорошо с тобой! — прошептала она. — Если бы еще было немного теплей, я бы чувствовала себя, как в раю.

Забывшись тяжелым полусном, какой бывает только на вокзалах и в аэропортах у неустроенных пассажиров, они проснулись оба одновременно от холода и от того, что в окно светил красный диск солнца.

Водитель, ходил по дороге и уныло смотрел на голубеющее небо, размякшую дорогу и свой скособочившийся автобус.

Подошел режиссер, хмурый, помятый, с растрепавшимися волосами, в которых виднелись соломины, и сказал, не поздоровавшись ни с кем:

— Надо выходить на дорогу и добираться на попутках.

— На каких попутках? — откликнулся оператор с такой интонацией, будто ему предлагали выбираться подземным ходом. — Легковушки идут сейчас все забитые до краев — куркули спешат на рынок. А на грузовой я аппаратуру не повезу. Надо вытаскивать автобус.

Храмов поддержал оператора. Не потому, что он мог как-то оценить опасность, грозящую киноаппаратуре, а просто ему жалко стало шофера, который попал, пусть и по своей вине, в такую ситуацию и теперь должен будет в одиночку из нее выпутываться. Он вышел из автобуса вслед за оператором, и они направились к деревянному домику. У оператора было громоздкое, как допотопное животное, имя-отчество — Ратмир Никандрович. Храмов пытался завести с ним по пути разговор, но тот отвечал односложно и нехотя. Казалось, что сам процесс произнесения слов доставляет ему страдание, потому что, говоря, он морщился, делал большие паузы, а порой так и оставлял фразу незаконченной.

Они дождались, пока появилось начальство, и начали просить, умолять, уговаривать, — в основном, правда, звучал голос Храмова, а оператор кивал головой и

вставлял то и дело слово «аппаратура», — и кое-как заставили директора послать два трактора. Один пошел впереди автобуса, а другой придерживал его сзади и так, потихоньку, добрались до места.

Когда выехали на дорогу, настроение у всех сразу поднялось, и вчерашнее приключение воспринималось теперь как забавный казус.

В три часа дня, после того как киногруппа отоспалась, директор картины созвал всех на совещание.

— Я пригласил вас, господа, чтобы сообщить вам пренеприятнейшее известие, — начал он, как всегда шутиливо, но без тени улыбки. — Мы катастрофически отставем по метражу. А ваши ночные приключения съели у нас еще один день.

— По вашей милости, Ефим Григорьевич! — перебил его режиссер. — Не нужно было нас отсылать на таком автобусе. А во-вторых, надо хоть иногда бывать самому на съемках.

— Сергей Львович, голубчик, — всплеснул руками директор, — кто же мог подумать, что простая натурная съемка превратится в какие-то арктические страсти?

— Ну ладно, не будем здесь препираться! — сказал режиссер.

— Итак, я узнал, — вернулся к прежнему добродушно-покровительственному тону директор, — что здесь неподалеку есть охотохозяйство. Наташа уже договорилась с господами охотниками, и они готовы за незначительное вознаграждение предоставить нам искомую цаплю.

— Дохлаю, что ли? — спросил режиссер.

— Ну почему дохлаю? У них есть волтеры с птицами и животными. Вот так. Никакого иного варианта я просто не вижу.

— Ну ладно, поедем посмотрим, что это такое, — согласился режиссер.

— Мы как-то с Ильиным ужа снимали, — сказал ассистент оператора. — И никак он не хотел глотать лягушку. Тогда Ильин продел ему через брюхо проволоку, привязал лягушку за лапу и втащил ужу в пасть.

— Фу, какая гадость! — сказала Наташа, брезгливо морщась.

— Все, — сказал Ефим Григорьевич. — Завтра в восемь отъезд.

Вечером Храмов и Наташа опять пошли к морю. Было уже совсем темно, луна, слегка ущербная, висела

низко над горизонтом. Наташа вошла прямо в лунную дорожку и, тотчас окунувшись, поплыла, разбивая лунное отражение.

— Ой, как страшно было! — сказала она, выходя на берег.— Меня в детстве мальчишки испугали.— Кто-то незаметно снизу подплыл и за ногу как дернет. У меня чуть сердце не лопнуло. С тех пор я боюсь по ночам плавать. Но себя пересиливаю.

Она присела рядом с Храмовым и положила голову на его плечо.

— Завтра я улетаю,— сказал Храмов.

— Останься еще хотя бы дня на три.

— Я и так должен был сегодня улетаать, но билеты были, слава богу, только на завтра.

— А мы когда вернемся, я даже не знаю.

— Наташа,— сказал Храмов, и сердце его сжалось, будто он тянул экзаменационный билет.— Наверное, я люблю тебя. Я, собственно, и не знал никогда, что это такое. Все время был чем-то занят, сидел над книгами, в лаборатории... Ты удивительная...

Она прижала палец к его губам и сказала:

— Пойдем, завтра надо рано вставать.

Утром киногруппу ждал небольшой автобус, который издали напоминал ежа, высунувшего нос. Когда тронулись с места, он лихорадочно затрясся, как самолет, попавший в грозу, и казалось, вот-вот развалится. Но тем не менее шел он быстро, и уже через полтора часа они подъехали к зеленым трубчатым воротам охотхозяйства. Во дворе виднелся длинный одноэтажный дом и небольшой вольер, в котором беспрестанно металась два лисенка.

— Ну, где наша цапля? — спросил режиссер, разглаживая рубашку на животе.

— Сейчас должны подъехать охотники,— сказала Наташа, посмотрев на часы.— Да вот это они, наверное.

К воротам подкатил черный мотоцикл с коляской, и из него выпрыгнули двое мужчин с ружьями, одетые в брезентовые куртки и болотные сапоги. Один из них сунул руку в коляску и вытащил оттуда завернутую в тряпку цаплю.

— Так ведь она ранена,— сказал режиссер, с удивлением разглядывая следы крови на оперении птицы.

— Ничего, они живучие. Полчаса еще протянет,— сказал охотник и передал птицу режиссеру. Тот взял ее двумя руками и закричал оператору:

— Быстро камеру! Сюда давайте, на фоне веток. Оператор, бурча что-то себе под нос, вытащил аппарат и с помощью ассистента начал устанавливать его на штатив.

Режиссер достал носовой платок, вытер им капли крови с клюва и перьев птицы и, обхватив ее за крылья, приблизил к объективу.

— Так, хорошо,— сказал он, когда оператор отснял крупные планы.— Наташа, возьмите платок, помашите перед ней. Ниже, ниже, как будто она клюет лягушку. Очень хорошо!

Храмов оторопело смотрел на все происходящее, не в силах произнести ни слова.

— Всё, спасибо,— сказал режиссер охотникам.

Те уже успели переодеться в обычную одежду и пришли посмотреть, как идут съемки. Один из охотников взял цаплю за крыло, подошел к вольеру, где как заведенные носились взад-вперед два лисенка, и бросил ее внутрь вольера.

Лисята перестали бегать, забились в углы и настороженно следили за птицей. К вольеру подошли мальчик и девочка лет по шести и с любопытством стали наблюдать за происходящим.

— Ну это уж слишком! — сказал водитель автобуса, молодой паренек, все время покусывающий ногти.— Не, больше я с вами не поеду. Таких ужасов тут наглядисься!

Наташа кинулась следом за охотником и что-то стала ему говорить. Тот неохотно вернулся к вольеру, посмотрел задумчиво на цаплю и сказал:

— Да, живучая какая. Глаза может лисятам поклевать.

Охотник запустил руку в вольер, схватил птицу за крыло и вытащил ее наружу. Одной рукой он взял ее за горло, а другой ухватил за голову и крутанул ее в сторону, как будто завинчивал штопор. Кинул обмякшее тело птицы обратно в вольер и направился к дому, отряхивая пух с ладоней.

Все, кроме Наташи, вышли со двора и молча уселись в автобус.

Подошла Наташа, пряча в сумочку платежную ведомость, села рядом с Храмовым, и автобус тронулся.

— Весь ваш дерьмовый фильм не стоит этой несчастной цапли,— сказал оператор, обращаясь неизвестно к кому.

— А что было делать? — развел руками режиссер. — Сидеть тут еще неделю? Эта цапля нам стоила копейки, а неделя обошлась бы в сотни рублей. Вот и рассуждайте об экономике и морали.

— Они этих цапель отстреливают тут каждый день, — поддержала режиссера Наташа. Оператор отвернулся к окну и ничего не ответил.

— Ну а ты что смотришь на меня, как на врага народа? — сказала негромко Наташа, с улыбкой глядя на Храмова. Он пожал плечами.

— И тебе, значит, я не нравлюсь? Все вы тут ангелы без крыльев, одна я крокодил.

— Скажи, ты знала об этом? — спросил Храмов.

— О чем?

— О том, что цаплю будут отстреливать.

— Ну, знала.

Автобус, дребезжа всеми своими заклепками, несся мимо садов и далеких холмов.

— Ну, знала, — повторила Наташа. — И что?

— Ничего, — ответил Храмов. До самой гостиницы они ехали молча.

Через час Храмов зашел к Ефиму Григорьевичу за билетом. Тот стоял у стола и занимался странным делом — разглаживал электрическим утюгом какие-то справки, квитанции, билет и аккуратно складывал их в одну стопку. Закончив эту процедуру, он сходил в ванну, принес оттуда «Шипр» и, набрав его в рот, попрыскал им сквозь сжатые губы отглаженные документы.

— Чтобы липой не пахло, — объяснил Ефим Григорьевич. — Ну что вы такой мрачный? — сказал он, увидев, что Храмов не улыбнулся на его шутку. — Жалко с нами расставаться? Нам тоже. Но через месяц мы с вами увидимся снова.

— Ефим Григорьевич, я зашел сказать вам, что я больше не смогу быть вам полезным. Я хочу расторгнуть договор. Деньги за билеты и проживание я вам возвращаю.

— Да вы с ума сошли, Олег Васильевич! Что это вы вдруг? Из-за цапли этой несчастной? Ну чего не бывает, голубчик? Не человека же убили. Другого выхода у нас просто не было. Вы же видели, что тут за народ. Обещают одно, а подсовывают совсем другое.

Храмов молча положил на стол деньги вместе с экземпляром договора и вышел. Он быстро собрал свои ве-

щи и посмотрел на часы — оставалось еще сорок минут свободного времени. Он прилег на кровать и закрыл глаза.

Минут через двадцать раздался стук в дверь. Храмов вскочил и сказал неестественно напряженным голосом:

— Да, войдите.

Но это был Ефим Григорьевич.

— Ну что вы, голубчик, ставите нас в неловкое положение? — начал он. — У каждого бывают свои ошибки, простите уж нас великодушно, но ей-богу, ваши действия неадекватны проступку... Может быть, дело и не в цапле вовсе, тогда скажите, в чем.

Храмов вздохнул и с неохотой произнес:

— Вы знаете, кто-то сказал: дело не столько в том, какие мы совершаем ошибки, сколько в том, как мы из этого выпутываемся. Или что-то в этом роде. Так вот я лично считаю, что я получал деньги зазря, если можно, оказывается, организовывать съемки таким простым и доступным образом. Я думаю, что вы все можете совершенно спокойно обойтись без меня. Желаю удачи!

Он взял чемодан и, не слушая, что говорит ему в ответ директор, вышел из номера.

**2**

**ВЕСЕЛЫМ  
ПЕРОМ**



В конце февраля Виктора Михалева вызвал к себе начальник отдела. Когда секретарша Тина сообщила об этом по селектору, в лаборатории наступила гробовая тишина.

— У меня на старой работе был один знакомый, которого повышали каждый год,— многозначительно произнесла Алевтина Карловна, старшая лаборантка среднего возраста.— Так он через пять лет спился, потому что все время приходилось обмывать новую должность. Теперь он работает начальником ОТК на винзаводе.

— Я не пью,— тихо сказал Михалев.

— Мой сосед тоже жмот,— хрустя огурцом, вздохнул кладовщик Федор.— Вчера попросил у него до полочки рубль, а он говорит: «Нету мелочи...»

— Когда начальство вызывает, то неизвестно, что бывает,— заржал техник Быков.— Вчера в соседнем НИИ инженера уволили. Он думал, что шеф вызвал с повышением поздравить, а его — по сокращению штатов. Катаклизм, одним словом.

Михалеву стало не по себе.

— А я бы на месте некоторых сама ушла,— не глядя на Михалева, сказала Алевтина Карловна.— Мне было бы просто стыдно смотреть в глаза людям, которые делают за меня всю работу.

— Ваш расчет готов, Алевтина Карловна,— громкогласно объявил Барсуков, глядя прямо в глаза старшей лаборантке.

Быков прыснул в кулак.

— Я не понимаю, есть Михалев или его сегодня нет? — рявкнул селектор голосом начальника отдела.

Барсуков нажал клавишу переговорника.

— Михалев только что закончил расчеты по блоку А-2. Надо было срочно передать результаты проектировщикам. Сейчас идет к вам, Степан Кузьмич.



Михалев с благодарностью посмотрел на Барсукова и поплелся к начальству.

Идти туда не хотелось по двум причинам. Во-первых, из-за этой дурацкой неизвестности, прояснить которую, по всей вероятности, не могла даже секретарша Тина. А во-вторых, из-за самой Тины, чей пугающе ласковый взгляд преследовал Михалева уже вторую неделю.

В приемной сидело еще два человека. Михалев присел было на свободный стул, но Тина, улыбнувшись ему, как долго не заходившему в гости родственнику, широко распахнула дверь к шефу.

— Заходите, товарищи,— донеслось оттуда.

Все трое встали и, толкаясь, протиснулись в кабинет.

— Знакомьтесь,— дружелюбно сказал шеф, широко разведя руки, как будто хотел обнять всех троих.— Шишкин из лаборатории питания. Васильев из БРИЗа. А это наш Михалев. Большой выдумщик.

Шишкин и Васильев дружно посмотрели на Михалева и улынулись. Виктору стало не по себе. Слово «выдумщик» прозвучало в устах Степана Кузьмича многозначительно. Как нечто среднее между словами «прогульщик» и «застрельщик».

— Вы все, конечно, знаете, какое ответственное задание вам предстоит выполнить? — спросил шеф, окинув троицу взглядом Мюллера, которому только что сообщили о том, что Штирлиц — советский разведчик.

Васильев и Шишкин быстро замотали головами из стороны в сторону. Михалев с испугу кивнул.

— Ну вот и прекрасно! — обрадовался шеф.— Товарищ Михалев вам все объяснит. Главное — до окончания работы никому ни слова! Ни полслова!!!

Из кабинета все трое вышли молча, так же молча миновали приемную, а в коридоре Васильев и Шишкин громко расхохотались.

— Ну, конспиратор! — заливался Шишкин, хлопая Виктора руками по плечу.— И так каждый год.

— Что каждый год? — поинтересовался Михалев.

— Да поздравления эти. Женщинам. С Восьмым марта! И каждый год за всех отдуваемся мы с Васильевым. Хорошо хоть теперь тебя в помощь дали. Ведь ты, говорят, стихи пишешь.

Тут Михалев понял всё. И внезапное расположение к нему начальника отдела, и ласковые взгляды Тины, которой две недели назад от имени лаборатории вручал

написанное им с большим трудом стихотворное поздравление с днем рождения. Понял и похолодел.

В отделе было около тридцати женщин. Даже если честно поделить тридцать на три, то получится десять поздравлений на каждого. Но и Васильев и Шишкин явно рассчитывали на поэтическое дарование Михалева, не подозревая, сколько творческих мук он перенес, когда сочинял предназначенное Тине четверостишие. Виктор потратил на него восемь часов — по два часа на строчку.

Теперь надо было написать тридцать таких четверостиший! Даже по самым скромным подсчетам, учитывая накопленный при этом опыт, выходило, что для завершения работы потребуется никак не меньше двух недель, тогда как до восьмого марта времени оставалось «с гулькин нос». И Виктор решил взять инициативу в свои руки.

— Вот что, мужики, — тихо сказал он. — Одному мне столько не написать, да и вам, я думаю, тоже. Поэтому есть идея: пойдём в библиотеку и выберем тридцать стихотворений о женщинах. Потом заменим в них имена, и дело в шляпе.

— Ну, голова! — изумился Шишкин. — Так мы за два дня всё успеем, а четыре оставшиеся дня можно в потолок плевать!

И все трое помчались в библиотеку.

Начать решили с классиков, потому что, как авторитетно заявил Михалев, у них всегда все в порядке и с размером, и с рифмой. Однако первое же стихотворение Михаила Юрьевича Лермонтова о женщине заставило их насторожиться.

В избушке поздней порою  
Славянка юная сидит.

Юных в отделе было немало. Попадались и славянки. Хуже было с избушкой. Это слово было явно не из той оперы. Лермонтова пришлось отложить в сторону и взяться за Державина.

Зрел ли ты, певец Тисский!  
Как в лугу весной бычка  
Пляшут девушки российски  
Под свирелью пастушка? —

писал Гаврила Романович. Это тоже не лезло ни в какие ворота! Если даже условно принять за пастушка начальника отдела, под чью дудку все беспрекословно плясали, все равно первые две строчки вызывали неко-

торое удивление. Во-вторых, было непонятно, почему «российски девушки» не пасут бычка, а «пляшут» его. Напрашивалась мысль, что бычок — это популярный в те времена среди молодежи танец. А во-вторых, настораживал «Тийский певец». И с Державиным тоже пришлось расстаться.

Следующим классиком был Пушкин. Первое же его стихотворение получило единодушное одобрение:

Я помню чудное мгновенье:  
Передо мной явилась ты,  
Как мимолетное виденье,  
Как гений чистой красоты.

Михаил взял карандаш и быстро стал добавлять в строки Александра Сергеевича «местный колорит». Слово «я» он сразу же заменил на «мы», а вместо «ты» написал «Алевтина Карловна». Теперь стихотворение звучало так:

Мы помним чудное мгновенье:  
Перед нами явилась Алевтина Карловна,  
Как мимолетное виденье,  
Как гений чистой красоты.

Все трое переглянулись и дружно почесали затылки. Если в стихах Пушкина все было просто и понятно, то теперь возникал законный вопрос, почему Алевтина Карловна появляется перед своими сослуживцами «как мимолетное виденье», если она не злостная прогульщица? Кроме того, назвать вслух Алевтину Карловну «гением чистой красоты» не поворачивался язык, потому как всем, что на ее лице еще могло радовать глаз, она была обязана французской косметике.

Васильев, тяжело вздохнув, предложил оставить классиков в покое и полистать современную поэзию.

— Правильно, — поддержал его Шишкин, — может быть, она по части рифмы порою и хромает, зато образы там наверняка попроще и непонятных слов нету.

Михалев молча подошел к полкам и не глядя вынул несколько сборников. Васильев наугад раскрыл один из них и прочитал:

С глазами, но безглазая,  
С губами, но безгубая,  
Ты вся до безобразия  
Какая-то сугубая!

— Ну это уже чересчур! — поморщился Шишкин и взял следующую книжку.

Приходи ко мне под липу на скамейку,  
С глаз сотри своей стыдливости слезу,  
Я тебя, мою колдунью-чародейку,  
Закусаю, забодаю, загрызу!

Старичок библиотекарь, уже давно прислушивавшийся к этому разговору, буквально давился со смеху. Наконец он не выдержал, подошел к уныло сидящей на корточках троице и вежливо покашлял.

— Видите ли,—осторожно начал библиотекарь,—дело, которым вы занимаетесь, обречено на провал. Каждый поэт пишет стихи о вполне определенной женщине, реальной или вымышленной, но определенной. И любой другой они просто не подойдут. Читать их она, разумеется, может. Стихи ей даже могут понравиться, как художественное произведение. Но принять их на свой счет может только та, для которой они написаны. Спросите любого поэта, и он подтвердит мои слова.

— Где же мы его возьмем, этого поэта? — угрюмо спросил Шишкин.

— Стойте! — вдруг закричал Васильев. — У меня же сосед по площадке стихи пишет. Даже в газетах печатается. Своими глазами видел!

— Кого? — грубо оборвал его Михалев. — Поэта?

— И стихи, и поэта, — обиделся Васильев. — На прошлой неделе даже телевизор ему чинил. Испортился, понимаешь, прямо во время трансляции хоккейного матча. Он меня еще коньяком после этого угостил и сказал, что мне по гроб жизни обязан.

— Что же ты его теперь заставишь тридцать стихотворений написать? — усмехнулся Виктор.

— Не заставлю, а попрошу, — уточнил Васильев. — Надо ведь каждой не более четырех строчек.

— Кое-кому даже двух хватит, — оживился Михалев, имея в виду Алевтину Карловну.

— Не выйдет, — махнул рукой Шишкин. — Поэтам гонорар полагается. По рублю за строчку.

Мужики зашевелили губами. По самым скромным подсчетам получалось около ста рублей.

— Может быть, он спиртом возьмет, — неуверенно сказал Шишкин.

— Исключено, — вздохнул Васильев. — Поэты пьют только коньяк или шампанское.

— Значит, придется писать самим, — отрубил Михалев, — потянувшись за чистым листком. — Так сказать, искать внутренние резервы.

Все посмотрели на него с уважением, а Шишкин достал из кармана авторучку с золотым пером и положил перед Виктором.

Тот глубоко вздохнул, оглядел полки с современной поэзией, затем, словно припадая к живительному роднику, бросил долгий взгляд на стеллаж с классической литературой. Золотое перо на секунду задумалось, потом быстро зашуршало по бумаге. Как ни странно, стих про Алевтину Карловну получился молниеносно:

У Алевтины Карловны  
Идут расчеты, как блины,  
И каждый блин — не комом,  
Хотя печет не дома.

У Васильева отвисла челюсть. Шишкин вытер платком почему-то вспотевший лоб. А Виктор вспомнил Тинину улыбку и вывел немного ниже:

Ну что сказать о нашей Тине?  
Она сидит, как на картине.  
За ней начальник наш родной —  
Как за бетонной стеной.

Васильев с Шишкиным на цыпочках вышли из библиотеки. Старичок осторожно, боясь потревожить Михалева, закрыл форточку. А из-под золотого пера рождались новые вирши:

Неумолима наша Ира,  
Она стоит за честь мундира.  
У ней работа нелегка,  
Поскольку Ира — в ОТК.  
На свете много женщин славных,  
Но я ручаюсь головой:  
Мы без Татьяны Николавны —  
Как без фуражки постовой.  
Работать можем мы без света,  
Покуда рядом будет Света,  
Но если Светы рядом нет,  
То нам не мил весь белый свет.

Через час все тридцать четверостиший были написаны. Виктор с трудом разжал негнущиеся от напряжения пальцы, и авторучка, сверкнув золотым пером, упала на пол. Молниеносно выросший рядом Шишкин поднял ее и с благоговением положил Михалеву в карман.

В дверях библиотеки молча толпились люди. Впереди всех стояла Тина, смотря на Виктора с немым обожанием, не решаясь подойти ближе. Михалев встал и,

пройдя сквозь почтительно расступившийся строй сослуживцев, направился в свою лабораторию. С каждым шагом поступь его становилась четче и уверенней, а на голове все явственней ощущалась непривычная тяжесть лаврового венка.

## МЫСЛЯЩАЯ ЕДИНИЦА

*юмореска*

Заведующий магазином «Всё для семьи» Иван Иванович Бурлаков издали заметил на стоянке такси долговязую фигуру своего коллеги директора универмага Несмеянова и ускорил шаг. Знакомы они были давно, еще с институтских времен, направления получили одинаковые, но если Несмеянов за короткое время от скромного товароведа дорос до руководителя крупнейшей торговой фирмы, то переход Ивана Ивановича на каждое новое место проходил мучительно и для него и для его непосредственного начальства, поэтому Бурлаков в последнее время смотрел на своего бывшего одноклассника с уважением и завистью, как смотрят на олимпийского чемпиона люди, когда-то ходившие с ним в одну спортивную школу.

Вот и сейчас Несмеянов уже садился в такси, а на стоянке было еще человек двадцать, и ни одной свободной машины. Иван Иванович с грустью вздохнул и повернул было в сторону трамвайной остановки, но такси, сделав крутой разворот, замерло рядом с ним, гостеприимно раскрыв дверцу. Изнутри радушно махал руками Несмеянов:

— Садись, Ваня, не задерживай шофера. Для него выражение: «Время — деньги» — значит даже больше, чем для нас с тобой. Тебе куда?

Бурлаков плюхнулся на мягкое сиденье и назвал адрес. Несмеянов расхохотался.

— Как ни странно, тебе повезло. Я еду как раз в твою сторону. И мне повезло, что я тебя встретил. А то видимся только на совещаниях. Даже словом перекинуться некогда. Ну рассказывай, как дела.

— Чего уж тут хвастаться, — криво усмехнулся Бур-

лаков.— Читал ведь, наверное, приказ по управлению. Опять в хвосте плетусь по реализации.

Несмеянов хлопнул приятеля по плечу:

— Не расстраивайся! С кем не бывает!

— С тобой,— неожиданно обозлился Иван Иванович.— С тобой почему-то этого не бывает. У тебя почему-то раскупают всё. Под метлу! Можешь ты мне объяснить это феноменальное явление? Ведь товары-то у меня такие же, как и у тебя.

— Товары-то такие же,— согласился Несмеянов,— да только продавцы разные. Я со своими почти ежедневно воспитательную работу провожу. А с января даже новую штатную должность пробил— психолога. Должна же у нас быть хотя бы одна глубокомыслящая единица!

— И в каком же отделе он у тебя торгует?

— А он у меня вездесущ, как господь бог. Сегодня здесь, завтра там, послезавтра среди покупателей трется. А в результате у меня товары на прилавке больше двух дней не лежат.

— Ну это ты, положим, загибаешь! Дефицит у тебя, конечно, и двух часов не пролежит, а взять, к примеру, соковыжималки ручные, так их никакой психолог продать не сможет.

Несмеянов громко рассмеялся:

— Давай сделаем небольшой опыт. Завтра я тебе пришлю его на пару часов. Если он тебе не поможет, с меня бутылка коньяка. А если наоборот, то с тебя.

Приятели ударили по рукам, и такси, высадив Буракова у дверей его дома, помчалось дальше.

На следующий день в обеденный перерыв на дверях магазина «Всё для семьи» повесили маленькую записку, около которой сразу же собралась большая толпа. Текст записки был краток, но давал максимум информации для размышления.

### *Уважаемые покупатели!*

*Сегодня нашим магазином получены дивансы типа «УАНТУЗ». Они будут продаваться во дворе с 15 до 18 часов. Просьба соблюдать порядок и очередность. В противном случае продажа будет прекращена.*

### *Администрация*

Через пятнадцать минут двор гудел, как потревоженный улей. Очередь, змеясь, уходила через подворот-

ню за горизонт. Около черного хода у импровизированного прилавка стоял пикет из добровольцев, готовых лечь костьми, но не пропустить пытающихся примазаться к первой сотне.

Стрелки часов приближались к трем. Волнение нарастало.

— Простите, вы не знаете, какого они цвета? — спросила молоденькая девушка. — Мне нужны зеленые, под цвет нового бархатного платья.

— Кто же нынче берет под цвет платья! — возмутилась полная дама. — Надо брать под цвет обоев, но эти дивайсы такая редкость, что выбирать не приходится.

— Доченька, что дают-то? — обратилась к студентке старушка с вуалью на черной соломенной шляпке.

— Дивайсы, бабушка. Типа «УАНТУЗ».

— А что это такое?

Очередь замолчала, возмущенная такой беспардонной неграмотностью. Студентка покраснела.

— Это что-то типа рейтузов, бабушка, — шепнула она тихо, но полная дама услышала и саркастически усмехнулась.

— Это типа дивана, милочка, — снисходительно сказала она. — Только не вдоль, а поперек.

Старушка, крестясь, отошла от спорящих, к которым тотчас же присоединился мужчина с красным носом.

— Эх вы, женщины! — вздохнул он, пытаясь удержаться на ногах. — Даже не знаете, за чем стоите! А это, между прочим, вам и ни к чему, поскольку «УАНТУЗ» — чисто мужская игра, типа карточной, но только с одним тузом.

В это время в двери открылось окошечко, и продавец зычно выкрикнул:

— Предупреждаю! Только по одной штуке в одни руки!

Жители ближайших домов поспешили за родными и близкими. Представители других районов хватали зазевавшихся ребятишек и, суля конфетные горы, умоляли признать в них родителей.

Дивайсы продавали завернутыми в плотную бумагу, которая, в свою очередь, была упакована в полиэтиленовый мешочек с красным вкладышем: «Благодарим за покупку».

Товара хватило ровно на полтора часа. Военственная делегация, отправленная к заведующему, вернулась в подавленном настроении с одним дивайсом на десяте-



рых. Он немедленно был пущен с молотка, и двор опустел.

За полчаса до закрытия к Бурлакову неожиданно зашел Несмеянов. Он молча положил перед Иваном Ивановичем пакет и посмотрел на приятеля исподлобья.

— Что же это такое получается, Ваня? Прибежала сейчас ко мне жена. Кипит, как самовар, и свертком этим самым в нос тычет. Говорит, у дружка твоего в магазине купила, час отстояла, а домой принесла, развернула и ахнула! Обыкновенная прокачка для воды. Таких в любом магазине навалом!

Иван Иванович весело поглядел на Несмеянова и, смахнув пакет в ящик стола, достал из шкафчика бутылку армянского коньяка.

— Собирался к тебе вечером зайти. Ну да если сама гора пришла к Магомету, давай отметим триумф твоего психолога.

И он положил перед изумленным приятелем записку. Несмеянов прочитал ее и, ничего не понимая, поднял глаза на Бурлакова. Тот усмехнулся:

— Вот и я так же сначала на твоего психолога смотрел. А потом он мне растолковал, что к чему. Большое объявление делать нельзя, поскольку это означает, что администрация не уверена в реализации товара. Значит, надо сделать акцент на то, что продавать будут во дворе и назвать изделие как-нибудь оригинально, но не искажая действительности. Очень подошло английское слово «дивайс», что означает устройство или приспособление. Остальное понятно и без перевода.

Несмеянов встал и почесал в затылке.

— Надо будет позвонить этому психологу домой,— задумчиво сказал он. — Завтра к нам с утра мыло привозят банное и петли дверные. Пусть помозгует, чтобы ничего не залежалось.

## **ГЛАВНОЕ- ВЫДЕРЖКА**

*юмореска*

В обеденный перерыв ко мне подошли начальник цеха Петр Христофорович и спортсектор нашего цехкома Паша Метелкин.

— Здравствуй, Петров,— сказал начальник, пожимая мне руку.— Как здоровье? Как семья? Как работа?

— Работа как семья, семья как здоровье, а на здоровье я еще никогда не жаловался,— отшутился я.

— Может, путевочку куда-нибудь хочешь льготную? — подхватил Метелкин. — В однодневный дом отдыха с семьей или в Шри Ланка с группой трудящихся? Так это мы мигом!

— Короче,— сказал я.— Если надо ехать на овощебазу, то так и скажите. Я сознательный. А если стенгазету оформлять, то лучше попросить Витьку Селиванова. Он у нас и рисует, и стихи писать умеет.

Начальник посмотрел на меня с укоризной.

— Напрасно ты думаешь, что мы пришли к тебе с корыстными намерениями,— сказал он.— Просто мы должны поощрять людей, которые успешно совмещают ударный труд с общественной деятельностью.

— Ну насчет ударного труда это вы, пожалуй, переборщили, Петр Христофорович,— смутился я.— Норму выполняю, а особо отличиться пока не сумел. Ну а насчет общественной работы, так мне ее отродясь не поручали. Организатор из меня плохой. Петь я не умею, плясать тоже. Даже почерк у меня и то неразборчивый.

Начальник цеха улыбнулся загадочной улыбкой Моны Лизы и легонько толкнул Метелкина в бок. Тот зашел ко мне с другой стороны и нежно заглянул в глаза.

— Есть такие дела, Петров,— просто сказал он,— где не требуется организаторских способностей. Все уже организовано и подготовлено.

— Я не умею плавать,— предупредил я,— поняв, куда клонит Паша.— И бегаю так, что меня обгонит даже черепаха.

— Бегать тебе тоже не придется,— обрадовался Метелкин, видя, что в принципе я не возражаю.— Надо только сидеть и думать.

— Курить можно? — спросил я у начальника.

Тот замаялся и украдкой взглянул на Метелкина. Тот подумал и кивнул головой.

— Можно,— разрешил Петр Христофорович.— Только осторожно.

— Тогда я согласен.

— Ну вот и прекрасно,— обрадовался Паша.— Я знал, что ты нас не подведешь. Переодевайся и бегом

в наш клуб. Там тебя ждут. С начальством вопрос улажен.

Я вопросительно посмотрел на Петра Христофоровича. Он улыбнулся и еще раз крепко пожал мне руку.

— Помни, Петров,— сказал Метелкин голосом директора завода.— На тебя глядит весь наш цех. Борись до последнего!

По дороге в клуб я на чем свет стоит ругал себя за то, что так и не спросил, в каких именно соревнованиях мне предстоит участвовать. Рассказывают, что аналогичный случай произошел со слесарем с картонажной фабрики. В клубе ему прикрепили на спину какой-то мешок, потом повезли на аэродром, посадили в самолет и выбросили прямо над стадионом. Секунд пятнадцать, обливаясь холодным потом, он дергал за что попало, в результате чего парашют все-таки раскрылся, и он плюхнулся прямо в центр круга, завоевав первое место и специальный приз за смелый затяжной прыжок.

Обуреваемый страшными предчувствиями, я вошел в вестибюль, твердо решив, что ничего надевать на себя не дам. Немножко успокаивало заверение начальника, что можно курить, но все-таки настораживали слова Метелкина насчет борьбы до последнего.

Торопливо назвав человеку за столиком свою фамилию и номер цеха, я прошел в зал. Там стояла тишина, как перед лишением квартальной премии. Меня проводили на сцену и усадили за столик, на котором лежала шахматная доска с расставленными фигурами.

Я огляделся. Кроме моего на сцене стояло еще четыре стола, за которыми уже началась игра. Противники сидели напротив друг друга и, обхватив голову руками, напряженно обдумывали ходы. Напротив меня никого не было. Мне стало не по себе. Не то чтобы я никогда не брал в руки шахмат. Один раз я даже дал мат соседу по квартире, но выступать на соревнованиях мне еще не приходилось. От волнения я вытащил из кармана пачку сигарет и закурил. Сразу же появился тот, который привел меня на сцену, и поставил передо мной пепельницу. Я поманил его пальцем.

— Послушайте,— зашептал я,— а где мой противник? Не могу же я играть сам с собой. Вслепую, насколько мне известно, можно играть в козла, но не в шахматы.

Оценив мой профессионализм и в той и в другой игре, парень хихикнул и пояснил:

— Сегодня вам просто не повезло. Седьмой цех до сих пор не выставил человека, поэтому пока вам придется покурить. Можете почитать журнал или газету. А если никто не подойдет, мы запишем им поражение.

Через полчаса напротив меня никто не появился, и мне разрешили идти домой и готовиться к завтрашней встрече с перворазрядником из отдела главного технолога.

Весь вечер я думал, как бы поделикатнее намекнуть моему партнеру, что играть я почти не умею, и уговорить его, чтобы он не ставил мне детский мат.

Наутро в назначенный час я занял свое место за столиком. Напротив меня слева никого не было. Через пять минут, пошептавшись со старичком, ко мне подошел уже знакомый парень.

— Непредвиденное обстоятельство. Представитель ОГТ внезапно заболел, и сегодня вам снова придется поскучать. А через полчаса мы вас отпустим домой.

Я достал сигарету и закурил. Начальник цеха сказал правду: курить здесь было можно. Правда, думать пока не приходилось...

На следующий день мне снова пришлось сидеть одному и курить сигарету за сигаретой, потому что в шестом цехе был прорыв и начальник ОТК, который должен был играть против меня, выяснял отношения с заказчиком. Таким образом я стал единоличным лидером турнира и остался им до конца, поскольку два моих следующих соперника улетели в срочную командировку, и я оказался единственным, кто шел без поражений.

После вручения ценного подарка и диплома за первое место в заводских соревнованиях по шахматам меня обступили корреспонденты многотиражки и местного радиовещания.

— Скажите,— оттеснив других в сторону, спросила черноглазая девушка, сунув мне под нос здоровенный микрофон, обмотанный пыльной тряпкой,— какая, по-вашему, отличительная черта настоящего спортсмена? Что вам помогло добиться победы?

— Выдержка,— честно признался я и пошел к выходу.

**ВСЁ**  
**В ВАШИХ**  
**СИЛАХ!**



**Вячеслав**  
**Гречнев**  
рассказ

Владимир Штыков, молодой, но уже сумевший преуспеть рижский драматург, был сторонником прямого контакта со зрителем. Именно поэтому, вырвавшись как-то раз на пару месяцев в Ленинград, он не стал сообщать ничего о своем приезде дирекции театра, в котором шла его пьеса. Стараясь сохранить полное инкогнито, он отказался от номера в интуристской гостинице, от контрамарок и, поселившись у родственников своей жены, людей далеких от искусства, посещал театр как простой смертный.

Штыков любил смотреть свои пьесы из гущи толпы. Он считал, что, сидя бок о бок со зрителем, автор может лучше проникнуться настроением, которое вызывает его произведение в чужих душах. Ведь только путем тщательного изучения того, как та или иная реплика героя отражается на лицах зрителей, драматург способен познать сильные и слабые стороны своего творчества! «Это продолжение работы,— говорил себе Штыков.— Здесь я учусь...»

На одном из спектаклей, уже совсем незадолго до отъезда Штыкова в Ленинград, его соседом по креслу оказался интеллигентного вида мужчина лет пятидесяти. Внешность его показалась Штыкову знакомой. Напрягшись, он вспомнил, что уже несколько раз встречал его во время антрактов в местах, отведенных для курения. Мужчина обращал на себя внимание длинным унылым носом, трогательной «бабочкой» и таким сосредоточенным, самоуглубленным выражением лица, что казалось, будто он поставил себе задачу в уме умножить пятизначное на восьмизначное число.

«Наверняка ученый,— с проницательностью, присущей людям его профессии, определил Штыков. И, подумав, уточнил: — Биолог...»

Все первое действие Штыков не спускал с предполагаемого биолога глаз. «Биолог» оказался незаурядным зрителем. Чувствовалось, что с того момента, как поднялся занавес и осветители своими прожекторами выхватили из темноты кусочек сцены, весь остальной мир перестал для него существовать: он весь подался вперед, судорожно вцепился в спинку кресла и как замороженный следил за развитием действия. Время от времени он подскакивал, закрывал лицо руками и довольно громко постанывал. Сидевшая впереди них женщина с золотыми зубами решила было призвать его к порядку, но Штыков с таким вызовом на нее шикнул, что она в испуге зарылась в свое блестящее вечернее платье и больше уже не поворачивалась.

«Вот ведь странное дело», — размышлял Штыков, с симпатией поглядывая на своего соседа, — казалось бы, смотрит человек спектакль не в первый раз, знает уже, чем он кончится, а все равно ничего не может с собой поделать: волнуется, переживает, мысленно ставит себя на место героев, живет чужими судьбами. Вот в чем сила, предназначение искусства: помогать человеку преодолевать свою ограниченность во времени и пространстве, выводить его за пределы одинокого, бессильного, смертного «я»! Кто знает, что за трагедию носит в душе этот немолодой мужчина!.. Какие сомнения, вопросы мучают его? Что заставляет его еще и еще раз обращаться к моей пьесе? Может, в ней он нашел разрешение каких-то своих проблем? Или оправдание каких-то своих поступков? Или судьба какого-нибудь героя напоминает его судьбу? Как знать, не исключено, что именно мое произведение поддержало его в трудную минуту, наполнило его существование смыслом, надеждой... Выходит, недаром я просиживал ночи напролет над черновиками, мучаясь над каждым словом, фразой; недаром я загубил молодость, недаром испортил себе зрение, здоровье! Всё недаром! Этот совсем незнакомый мне человек — моя награда, мой успех! Нам необходимо познакомиться, поговорить, мы давно ищем друг друга!»

Во время антракта Штыков отыскал своего соседа в фойе, у фотографий актеров театра. Штыков подошел к нему и, протянув ему пачку сигарет, дружелюбно предложил:

— Угощайтесь!

— Вы очень любезны,— сказал тот, принимая сигарету и в свою очередь услужливо щелкая у Штыкова перед носом зажигалкой. — Вот актеров смотрю... — добавил он, словно оправдываясь.

— Ну как вам пьеса? — сразу же перешел к делу Штыков.

— Весьма,— сказал мужчина, глубоко затягиваясь.— Весьма...

Штыков надеялся на продолжение фразы, однако никакого продолжения не последовало: «Биолог» уставился на кончик дымящейся сигареты и погрузился в продолжительное молчание. Судя по его отрешенному виду, было ясно, что возникшая пауза отнюдь его не стесняет.

Между тем время, отведенное на антракт, неумолимо бежало. Скоро из буфета стали появляться первые успешившие перекусить зрители. В их числе оказалась женщина с золотыми зубами. Она сделала было несколько шагов по направлению к фотографиям актеров, но, увидев, кто рядом с ними стоит, резко шарахнулась в сторону и смешалась с толпой.

— А я вас здесь не в первый раз вижу,— решил зайти с другого фланга Штыков. — Вы, видать, большой театрал...

— Да, как сказать...— неопределенно пожал плечами «биолог». — Посещаю... А как же иначе? Иначе мне нельзя. У меня с этим,— он кивнул на фотографии,— у меня с этим все связано...

— Вот, вот,— подхватил Штыков. — У меня тоже... Кстати, не создается у вас впечатления, что характер Горелова слишком слабо разработан?

— Горелова? — наморщил лоб «биолог».

— Ну, мужа Ксении... Помните, тот, который бросает руководство кафедрой в сельскохозяйственной академии и уезжает на село простым агрономом? Мне кажется, что этот поступок героя не совсем вразумительно аргументируется автором: не до конца выдержана логика поведения. Как, на ваш взгляд?

— Да,— замялся мужчина.— Пожалуй, вы правы, не до конца...

«А ты, похоже, не из говорливых,— с некоторым разочарованием подумал Штыков.— Ну, что ж поделаешь, бывают и такие; внутри у него черт-те что творится — и концепции, и идеи, а выразить не может».

В этот момент раздался звонок, извещавший о конце антракта. «Биолог» в последний раз затянулся и стал тушить окурок о край урны. Штыков нерешительно топтался на месте. «А может, сказать ему, кто я?» — мучительно думал он.

— Большое спасибо за сигарету, — поблагодарил мужчина и, видя, что Штыков медлит, добавил: — Пора идти, начинается...

— Постойте! — остановил его Штыков. — Я вам хочу кое-что сказать...

Он подошел к нему вплотную и шепотом произнес:

— Я автор этой пьесы.

«Биолог» выпустил короткий деликатный смешок, давая понять, что оценил шутку.

— Я — автор, — громче повторил он. — Моя фамилия Штыков. Можете прочитать ее на афише... — Поймав в глазах «биолога» недоверие, он пошарил по карманам и вытащил паспорт. — Вот, пожалуйста, мои документы. Вот фотография... Теперь верите? Дело в том, что все первое действие я внимательно наблюдал за вами и пришел к выводу, что вы очень тонко понимаете мою вещь: вам на удивление точно удалось уловить все представленные мною акценты. Мне, как автору, очень важно знать ваше мнение по некоторым частностям. Мне просто жизненно необходимо поговорить с вами!

— И мне необходимо! — воскликнул «биолог», расцветая. — Вы даже представить себе не можете, до какой степени необходимо! — Он подхватил Штыкова под руку и повел его в сторону, противоположную от зала. — Так вы и есть тот Штыков?! — приговаривал он. — Тот самый Штыков... Вот так удача! Это настоящая удача!..

— Куда мы идем? — поинтересовался слегка сбитый с толку драматург.

— Куда? Да конечно же, в буфет!

— А как же спектакль? — нерешительно возразил Штыков.

— Спектакль? Спектакль подождет...

«Боже мой, — с грустью подумал Штыков, — как все-таки тщеславен, суетен человек: еще три минуты назад он рвался к искусству, был весь во власти того, что происходило на сцене, но вот стоило показаться знаменитости, и искусство забыто...»

Они вошли в буфет, уселись за сервированный столик у окна.



— Штыков,— не переставал бормотать «биолог», не спуская с драматурга своих ясных восторженных глаз.— Какое совпадение: тот самый Штыков!

Подошла буфетчица. Они заказали по рюмке коньяка. Чувствуя себя не совсем в своей тарелке под обожающим взглядом «биолога», Штыков сразу же постарался направить разговор в серьезное, деловое русло.

— Линия Макара Красилина не показалась ли вам слегка наивной? — спросил он, залпом выпивая свою рюмку и закусывая ее долькой апельсина.

— Да что вы! — с жаром возразил «биолог». — Напротив, очень тонкая, психологически глубоко разработанная линия!

— И тем не менее,— настаивал Штыков,— вы должны признать, что в ней есть уязвимые стороны. Например, этот монолог Макара о белке... Помните его первую встречу с Викторией на танцах в сельском клубе? «Что такое тайна любви, тайна страсти по сравнению с тайной белки? Страсти, любовь приходят и уходят, а белок пребывает вовеки! Любовь не существует вне жизни, а жизнь не существует вне белка. Мы, ученые...» Не звучит ли все это натянуто, дилетантски? Вы как биолог...

— Я не биолог. Я — инженер по газу...

— Ах, извините,— смутился Штыков.— Я почему-то решил, что вы биолог. Кстати, мы так другу другу и не представились: Штыков Владимир Карлович...

— Илья Григорьевич Иванов.

— Иванов? — обрадовался Штыков.— Какая приятная, исконно русская фамилия! Давайте за знакомство и за вашу фамилию!

Он сделал знак буфетчице, чтобы она принесла еще коньяку.

— Илья Григорьевич,— продолжал он, когда они чокнулись и выпили.— Я хотел бы задать вам один вопрос. Речь пойдет об одной детали... Деталь эта специфическая, профессиональная, но вы как истинный ценитель сценического искусства должны были обратить на нее внимание. Если помните, в самом финале пьесы есть один неожиданный, даже спорный поворот. Многие обвиняют меня за него в отсутствии логики. Я имею в виду сцену, когда Виктория сама, первая, объясняется в любви Макару. У стога...

— Вот именно! — перебил его Илья Григорьевич,

подскакивая на стуле.— В точку попали! Как раз об этой сцене я и хотел с вами поговорить!

— Так, значит, заметили! — просиял Штыков.— Оценили! Ай да молодчина! Ну, спасибо, утешили: значит, я не зря огород городил!

— Владимир Карлович! — молитвенно сложил руки Илья Григорьевич.— Владимир Карлович, я в вашей власти! Измените сцену у стога!

— Как изменить?! — На лице Владимира Карловича застыла полуулыбка.

— Измените или еще лучше вообще снять...

— Снять?!!! Да что вы такое говорите? Это же ключевая сцена! На ней все держится! Вы, наверное, что-то путаете. Подумайте хорошенько, это же та сцена, где Виктория говорит: «Макар, любимый, оставь этот чудовищный равнодушный город! Беги оттуда, беги! Я понимаю, там возможность служить цивилизации, прогрессу. Там твоя работа, тайны белка... Но здесь... здесь природа... здесь я... Слышишь, я... Ма-ка-руш-ка!» Далее следует немая сцена раздумий Макара. Наконец, он бросает на землю свой «дипломат», покачивающейся походкой приближается к Виктории, и они сливаются в продолжительном поцелуе...

— Сливаются,— машинально повторил за ним Илья Григорьевич.

— Да, сливаются! И это звучит гимном победе чувства над прагматизмом нашего бездушного века! И вы предлагаете мне снять эту сцену?

— Да.

— Но почему?!

— Потому что актриса, играющая Викторию,— моя жена...

— Ваша жена? — поднял брови Владимир Карлович.— Ну и что тут такого? Не вижу связи. При чем тут ваша жена?

— А при том, что она меня младше на двадцать лет. И этот, который Макара играет, брюнет, ее тип... Они там по-настоящему целуются, взасос. Не обратили внимания? Сколько раз она обещала мне этого не делать! Месяц вроде продержались, а на последнем спектакле опять...— Он бросил на Владимира Карловича несчастный загнанный взгляд и тихо проговорил: — Умоляю, помогите мне: всё в ваших силах!

# ЛИЧНОСТЬ

## рассказ

Милочке оставалось отдыхать две недели, когда на чердаке поселился новый квартирант. Этот человек не мог не обратить на себя внимания: он коренастый, с мощной грудью, весь сжатый, собранный как пружина. У него было волевое задумчивое лицо, резкий отрывистый голос. На всем его облике лежала какая-то таинственная роковая печать.

— Такое впечатление, — говорила Мила своей подруге Лизе, — будто он много страдал, многое знает о жизни. Не удивлюсь, если узнаю, что он известный поэт или художник, который скрывается от суеты и почитателей.

— Вполне может быть, — соглашалась Лиза. — В прошлом году у Кирокасянов отдыхала совсем обычная женщина с сыном. Впоследствии оказалось, что она актриса городского драматического театра...

Мила училась в пединституте, Лиза — на химическом факультете университета. Обе девушки были довольно милovidны: хрупкие, высокие, с коротко подстриженными вьющимися волосами, они были похожи, как родные сестры; только Мила была брюнеткой, а Лиза — блондинкой. Уже четвертый год подряд они останавливались у полуглухой одинокой старухи — бывшей учительницы музыки. Вначале они приезжали с родителями, потом — самостоятельно.

Несмотря на то что девушки жили в разных городах и виделись лишь месяц в году, их связывала настоящая дружба. Они постоянно переписывались, держали друг друга в курсе своих семейных дел. После окончания учебы они собирались поселиться в одном городе, выйти замуж за каких-нибудь братьев и дружить семьями.

— У меня нет человека ближе, чем Лиза, — любила повторять Мила. — У нас с ней биологическая совместимость.

Примерно то же самое думала и ее подруга.

Прошло всего три дня с приезда нового квартиранта, а у девушек уже не было сомнений — они живут под одной крышей с необыкновенным человеком. Утром, когда простые отдыхающие обычно направлялись на пляж, квартирант спускался с чердака, варил себе кофе, жарил яичницу и, не обмолвившись ни с кем ни еди-

ным словом, опять удалялся в свою обитель. Через некоторое время оттуда доносился равномерный скрип его шагов и глухой глубокий кашель. «Творит!»— решили девушки.

Однажды утром Мила развешивала на веревке белье. Дул сильный ветер. Мокрая простыня металась, как ненормальная, и несколько раз неприятно била ее по лицу.

— Не сорвется? — неожиданно услышала она за своей спиной голос. Обернувшись, она увидела, что рядом с ней стоит новый квартирант.— Эдик...— представился он.

Губы у него улыбались, однако глаза оставались совершенно серьезными. Эдик зачем-то потрогал веревку и задумчиво добавил:

— Ветер — забавная штука...

Мила молчала. Присутствие этого человека оказывало на нее странное действие: с одной стороны, она чувствовала себя неловко, подавленно, с другой — больше всего на свете она боялась, что он возьмет и исчезнет. «Что сказать? Как вести себя? — судорожно соображала она.— Скорей, скорей! Ведь уйдет...»

— У меня тугие прищепки...— наконец выдавила из себя Мила.

— Ветер — забавная штука...— словно не расслышав ее слов, повторил Эдик.

«Какой он глубокий!»— восхитилась Мила и, кокетливо проведя по верхней губке язычком, спросила:

— Довольны вы отдыхом?

— Отдыхом? — пожал плечами квартирант.— Отдых такая же необходимость, как и сон. Как можно быть довольным сном? Как на всю жизнь не наспишься, так же на всю жизнь и не отдохнешься...

— У вас, наверное, тьма работы? — участливо произнесла Мила.

— Тьма,— отрезал Эдик.

«А все-таки я тебя разговорю! — упрямо подумала Мила.— Понимаю, как все тебе надоело, но я-то — не все!»

— Как вам там, наверху, не тесно? — спросила она.

— Нормально.

— А у нас, представляете, ужасная теснота! Шкафы, комоды, серванты, какие-то коробки и, наконец, этот рояль. Не повернешься! Только место занимает...

— Все мы занимаем чье-нибудь место,— сказал Эдик

и тут же, без всякого перехода, поинтересовался: — А эта веревка крепкая?

— То есть как крепкая? — не поняла Мила.

— Ну человека, скажем, выдержит?

— Человека выдержит. Она капроновая. Капрон...

— Очень хорошо, — перебил ее Эдик. — Что вы сегодня вечером делаете?

— Я... мы... Мы с Лизой ходим купаться...

— Лиза — это такая белобрысая, на овцу похожая?

— Ну зачем вы так?.. Лиза хорошая, симпатичная девушка. Она...

— Да, да, — нетерпеливо согласился квартирант. — А вы, значит, сегодня вечером свободны?

— Я? Свободна? — смутилась Мила. — В общем-то, да... Я... я поговорю с Лизой...

— Никаких Лиз! — отрезал Эдик. — Я приглашаю вас, а не Лизу. Итак, в одиннадцать у лодочной станции...

И он, сдержанно кивнув, пошел прочь.

«Что я могу сделать? — беспомощно развела руками Мила. — Он меня гипнотизирует!»

Она уже забирала пустой таз, чтобы идти домой, когда прибежала Лиза.

— Он только что со мной говорил! — объявила она, с трудом переводя дыхание. — Ты права. Он точно — великий!

И Лиза, широко раскрыв глаза, захлеб принялась рассказывать, как она чистила картошку, как неожиданно появился он, как она вначале растерялась, но потом взяла себя в руки, улыбнулась ему и он тоже улыбнулся ей. Что у него была за улыбка! Восторг! Оказывается, он знает ее по имени. Они беседовали. Он почти через каждое слово говорил умные вещи. Какие? Она не помнит... Но уверена, что это гениально. У него сократовский лоб и выразительные пальцы. Уж не музыкант ли он?

«Бедняжка! — думала Мила, пристально разглядывая подругу. — Кажется, она влюбилась. Ей и невдомек, что он оказал предпочтение другой. Жесткие все-таки эти мужчины! Ну не любишь — не люби, зачем обзывать овцой? Впрочем... впрочем, на овцу она действительно чем-то похожа. Носом, что ли?»

— И тут Эдик меня спрашивает... — сыпала Лиза, — и тогда мы с Эдиком...

Миле вдруг стало неприятно, что кто-то еще, кроме нее, может называть этого серьезного, солидного чело-

века запросто Эдиком. «Как бы сделать так, чтобы она за мной не потащилась сегодня вечером? — ломала себе голову Мила. — Скажешь правду, начнутся обиды, слезы, интриги... Будто я виновата, что он полюбил меня, а не ее!»

К вечеру, однако, проблема разрешилась сама собой: у Лизы разболелось горло, она обвязалась платком, приняла аспирин и заявила, что пойти никуда не сможет.

— Мне тоже остаться? — с замиранием сердца спросила Мила.

— Ни в коем случае! — возразила Лиза. — Еще не хватало, чтобы ты из-за меня страдала!

Мила была тронута. Она обняла Лизу, заботливо прикрыла ее одеялом и пообещала скоро вернуться.

Без четверти одиннадцать Мила уже была в условленном месте. Чутье подсказывало ей, что встреча эта многое будет значить для нее. Хотелось побыть в одиночестве, подумать, помечтать.

Мила уселась на теплый волнорез; Ветер стих; луна, словно кусок сливочного масла, растаяла в облаках. Море сразу же как-то приблизилось, потемнело, звук прибоя стал серьезнее, звучнее.

От волнения ее знобило. О чем они будут говорить? Как сложатся их отношения? Что значит это усталое, печальное выражение лица? Разочарование в людях? В любви? В жизни? Если это так, она должна придать его существованию смысл, вселить в него надежду, помочь ему обрести покой, счастье... Несомненно, он слишком сложен для окружающих. Кто способен понять, оценить всю глубину, всю афористичность его речи. Ей довелось поговорить с ним всего несколько минут, а сколько он успел высказать, сколько идей подбросить! «Ветер — забавная штука»... Ведь это почти афоризм!

Или: «Все мы занимаем чье-нибудь место». В двух-трех словах ему удалось выразить то, что другие не в состоянии сделать и в десятках томов, — передать тоску человека по бессмертию, по неумолимо уходящему времени, по своей и чужой жизни. Здесь и скорбь мудреца, и мужество гения, и такой понятный и потому такой близкий страх простого смертного перед неизбежной кончиной... Скорей бы он пришел! Скорей бы успокоить его, объяснить ему, что есть души, созвучные его душе. Души, которые вместе с ним будут страдать, бороться.

Мила взглянула на часы. Десять минут двенадцато-

го. Странно, пора бы ему подойти... Она встала и принялась ходить взад-вперед по волнорезу. С каждой минутой беспокойство ее росло. Эдик производил впечатление обязательного человека. Уж не случилось ли что-нибудь? Не заболел ли он? И тут дыхание у нее перехватило. Она вспомнила — веревка! Как же она сразу не догадалась — он повесился!

— Нет! — простионала Мила. — Нет!...

Она бежала до самого дома. По дороге она потеряла сабо и порезала обо что-то ногу. На боль она не обратила внимания. «Только бы успеть! — стучало у нее в висках. — Только бы успеть!»

Дом стоял погруженный во тьму. Из комнаты доносилась музыка. «Как она может спокойно слушать музыку, глупое радио, когда рядом умирает человек! Умирает от одиночества, от того, что его никто не понял. Жестокие, равнодушные люди!»

Мила быстро начала подниматься по лестнице. Вот наконец и дверь. Она собралась с духом, резко толкнула ее, щелкнула выключателем и... И от удивления зажмурилась: на чердаке никого не было, повсюду валялись банки, колбасные обрезки, а вдоль неубранной раскладушки вытянулись ряды пустых бутылок...

Внизу ее ждал еще один сюрприз — их комната оказалась запертой изнутри. В груди у Милы шевельнулось подозрение. Вспомнилась неожиданная болезнь подруги, ее восхищенное лицо после разговора с Эдиком, то, с какой готовностью она согласилась одна сидеть дома...

Стараясь не шуметь, Мила приставила к стене стул и влезла в окно. На кровати она разглядела очертания Лизы. Лиза как-то странно урчала.

Когда Мила включила свет, она обнаружила, что подруга ее лежит связанная бельевой веревкой по рукам и ногам, а изо рта у нее торчит кусок полотенца. В комнате можно было уловить запах эфира...

Через несколько минут они сидели обнявшись и горько плакали.

— О... об-об-чистил! — всхлипывала Лиза. — Всё взял! И перед тобой я виновата, Милочка. Он тебя овцой обзывал, а я смеялась! О... ооо!

— Как обзывал? — перестала плакать Мила.

— О-ооо-ов-ов-цой! — И Лиза разразилась такими рыданиями, что в соседней комнате зашевелилась полуглухая хозяйка.

# РОЖДЕНИЕ ДАЧНИКА



Виктор  
Петров

рассказ

Невезучий я! За что бы ни взялся, все шиворот-навыворот, все кувырком. Недавно увлекся рыбалкой. Признаться, меня спровоцировал знакомый, пылко утверждавший, что в этом деле он дока. Расписал места, где рыба чуть ли не сама прыгает в лодку, только укладывай в садок. Главное — добыть наживку.

За лакомством для рыбешек мы укатили в заповедное место, куда со всего города свозятся отходы. В своем желании добыть приманку мы были не одиноки. По кучам мусора ползали на четвереньках десятка два любителей рыбной ловли. Выбрав местечко, «застолбили» его и рьяно принялись за работу.

Вовка чувствовал себя здесь как рыба в воде. Я тоже терпел, а через полчаса и вовсе не замечал аромата свалки. Еще через час мы наполнили банку и тронулись домой. Жена встретила меня у дверей. Несколько мгновений она смотрела на меня, втянула воздух и тут же, зажав нос пальцами, указала на порог и прогнусавила: — Раздевайся здесь, снимай все!

Я понял, что моя супруга — отсталая личность, поскольку не оценила моего увлечения рыбалкой.

С восходом солнца мы выкатили мотоцикл и, намотав на спидометр сорок километров, благополучно прибыли на берег реки. Природа наполнялась жизнетворной силой, над рекой парили чайки.

Спешно начали готовить лодку. Володька настроил удочки. Драгоценную наживку он переложил в металлическую коробку и сунул ее в карман телогрейки. Лодку спустили на воду, сложили в нее рыбацкий скарб, кое-как уселись и поплыли. На стрежне, метрах в двадцати от камышей, бросили якорь.



— С богом! — сказал Володька и раздвинул телескопическую удочку. Я последовал его примеру. Сладостное предчувствие, что впервые в жизни я наловлю рыбы, не покидало меня.

— Усаживайся поудобнее и не шевелись, а то ненароком перевернемся,— предупредил Вовка. Он привстал, пытаясь сесть половчее, и тут... из кармана его телогрейки выпрыгнула коробка, стукнулась о борт резиновой лодки, подскочила и, описав в воздухе дугу, шлепнулась в воду. Над рекой разнесся душераздирающий крик Володьки:

— Опа-ры-ши!

Схватив его за полу фуфайки, я спас ему жизнь. Он сел на дно лодки и сник. Глядя на него, можно было подумать, что он потерял нечто дорогое. Если бы он проглотил этих червяков, выглядел бы лучше.

Погоревали и смотали удочки. Итак — первый блин комом! Володька оказался оптимистом. Он вышел на берег и принялся грозить, что за сегодняшний промах завтра отомстит и переловит всю рыбу. Договорились: он едет на свалку, а утром встречаемся в гараже...

И вот мы опять сидим в лодке. Вовкины угрозы сбывались. Не прошло и часу, а у нас в садке трепыхалось десятка два плотвиц и несколько сыртей. Вовка довольный распалялся:

— Я вам покажу, где раки зимуют! А ну, лезь в садок. Я и детей и внуков ваших выловлю!

К полудню наши желудки заскулили. Было решено отправиться на берег и состряпать ушицу. Подняли якорь. Я погреб. Подплываем к берегу, а у Володьки выпучиваются глаза и наполняются гневом.

— Стой! Где садок? — заорал он благим матом.

Теперь и я заметил отсутствие садка. Пока работал веслами, веревка, к которой был привязан садок, перетерлась, и он вместе с уловом ушел на дно речное.

— Растяпа, балда! — кричал он на меня.— Доверь такому болвану рыбу! Я ведь привязал садок к уключине не для того, чтобы ты его утопил!

Он долго не мог успокоиться и утверждал, что мне нужно тренироваться на лягушках. Не солоно хлебавши уехали домой. И я твердо решил: займусь охотой.

Год бегал у опытных охотников вроде гончей. Поднимал зайцев, ходил в загон на лосей, а для тех, которых не подстрелили, ломал веники. Сдал охотминимум и получил билет, дающий право охотиться без оружия.

Чтобы приобрести хотя бы паршивенькое ружьецо, требовалось особое разрешение милиции. Начал собирать справки. Участковый выдал бумажку, заверявшую, что в семье я не дебошир.

Вторую предоставил наркологический кабинет. В ней говорилось, что я на учете в данное время не состою. Большой гарантии они не дали, но и этого было достаточно, чтобы моя личность не попала под сомнение.

Наконец-то появилось разрешение. Теперь нужно было отыскать магазин, где продаются берданки. В нашем городе такой магазинчик был, но его прикрыли.

За свой счет взял несколько дней и покатил в соседний областной центр. Специализированная лавка «Охота. Рыболовство» оказалась закрытой на ремонт. В другой стояли зачуханные пшикалки, отобранные, очевидно, у тех, кто попал на карандаш к наркологам, а может, стрелял не тех зверюшек. Кроме дроби и капсулей, здесь я ничего не приобрел.

Наконец я купил порошу и ружье тридцать второго калибра. Других не было. И гильз к моему ружью не оказалось. Я не отчаивался, верил: кто ищет, тот всегда найдет. И не обязательно думать о времени, когда сбудется мечта.

Прошел месяц. Было из чего стрелять, да не было чем. Неожиданно повезло. Направили в командировку! Но счастье и на этот раз обошло меня стороной, и очень даже далеко. Милые моему сердцу гильзы, возможно, и были в этом городском магазине, но зато исчез продавец. Топтавшиеся у дверей мужички объяснили, что дожидаются этого злодея третий день.

Время командировки кончилось. Возвращался я проездом через Москву. Пять свободных часов решил использовать на поиски гильз.

Неподалеку от Казанского вокзала таксисты, а кроме них в Москве никто ничего не знает, услужливо показали торговую точку с охотпринадлежностями. Радости моей, выпиравшей наружу, не было конца. Сквозь витрину я видел на прилавке мои родные гильзы! И хотя обеденный перерыв только начался, я стойко продержался в болоньевой курточке под ветром на морозе почти час.

В магазин влетел первым и едва не получил инфаркт. Отдел закрыли на переучет! Я метался по залу и надеялся на ошибку. Но через полчаса пропала последняя надежда. Замшелых скептиков, утверждающих, что

ружье само в пять лет стреляет, готов был растерзать за скудость воображения. Не стреляет, увy, не стреляет! Хотите убедиться — купите ружье!

Пошел на хитрость. Подозвал продавщицу и официальным тоном попросил позвать заведующего. «Зав», представительный мужчина с умным и добрым лицом, внимательно меня выслушал. Перед ним не было смысла ломать комедию. С плаксивой физиономией рассказал о своем несчастье, показал документы и билет на отходящий поезд. Он сжалился надо мною, коротко распорядившись:

— Девочки, обслужите молодого человека.

Дай боже здоровья человеку, коль он отзывчив ко всем вопиющим! Две пачки гильз я прижимал к груди нежнее, чем дочку в роддоме.

Дождался охотничьего сезона, купил путевку и поехал. Забрался, куда не ступала нога человека, не считая охотников, спрятался в камышах на берегу небольшого озера и стал выжидать дичь. Долго ли, коротко ли высиживал удачу, но на ловца никто не летел и не бежал. А не такой уж я простофиля! Предусмотрительно купленный манок должен был мне помочь. Приготовил ружье, запихал в рот свисток и принялся тихонько побрякивать. Не прошло и минуты, как где-то поблизости отозвался вроде селезень. А вот и второй подал голос. Безмерно долгожданное счастье охотника!..

Совсем рядом послышался шорох. Стебли камышей раздвинули два ствола двенадцатого калибра. Чуть было не проглотил свисток и, оцепенев от ужаса, замер, представив, как в меня вопьется заряд дроби, назначавшийся утке. Новый шорох заставил молниеносно повернуть голову в противоположную сторону. И откуда вылезли два зловещих отверстия! Выплюнув проклятый свисток, истошно заорал:

— Не стреляйте, не утка я! Не селезень!

Раздалась дружная брань, и из зарослей вышли братья по оружию.

— Ты какого лешего раскукарекался? — грозно спросил один. — Жить надоело, что ли?

— Свистун! — иронически добавил другой.

Они разом плюнули и пошли восвояси, а я задал дикого стрекача поближе к дому, размышляя на ходу, чем же мне еще полезным заняться, чтобы угомонить свой беспокойный и неумный характер.

Твердо решено — беру дачный участок.

В каждом выпуске «Точки опоры» читатели знакомятся с новыми произведениями молодых ленинградских прозаиков. Продолжая нужное и важное дело публикации произведений начинающих литераторов, Лениздат и в данном сборнике представляет читателю новые имена. Это Анатолий Конгро, Владимир Лысов, Рэм Наумов, Вячеслав Силин, Владимир Сухов, Виктор Петров. Другие же авторы — их больше — продолжают свой разговор с читателем, начатый на страницах предыдущих выпусков.

Сравнительно небольшой объем сборника нацеливает авторов на такие литературные жанры, как рассказ и повесть. Они с особой очевидностью дают возможность читателю оценить и литературное мастерство и морально-эстетические принципы начинающего писателя, его способность использовать огромную школу, которую создали в этих жанрах классики отечественной и зарубежной литературы. Разнообразнейшие приемы разработки сюжетов, методы психологического анализа характеров, опыт социальных обобщений, не говоря уже о целом разлыве образцов художественной речи, то по-народному простой и чистой, то лирически взволнованной, то романтически приподнятой, а порой насмешливой и даже язвительной, — вот та необъятная сокровищница, которая дает возможность учиться и приобретать творческие профессиональные навыки молодым прозаикам.

Со времен А. С. Пушкина до наших дней наиболее живым, гибким, подвижным, откликающимся на все требования жизни жанром остается рассказ. Он позволяет автору свободно повествовать о том или ином жизненном явлении с использованием описательных, психологических, оценочных и других элементов, то есть утвердить свое гражданское и лирическое начала.

Обращаясь к опубликованным в сборнике произведениям, можно видеть, как рассказ помогает молодым авторам найти примечательные связи человека со временем, высказать свои гражданские позиции. Жизненные сложности и конфликты, порождаемые быстро меняющимся укладом как в деревне, где крестьянин, стремясь к различным удобствам, съезжает с насиженных мест, оставляя приусадебные участки, прощаясь с личным скотом, теряя отчасти свою близость к земле, так и в городе, где рабочий, чтобы не отстать от прогресса в производстве, должен постоянно работать над собой, сближаясь со специалистами интеллектуального труда, — все эти знаменья времени находят отражение и в литературе молодых.

Без четкой идейно-нравственной направленности произведение состояться не может. Если автор замкнет героя створками его частной жизни, то такое произведение будет восприниматься как нечто вневременное, чуждое современному мироощущению читателя. Лишь кровно связанное с сегодняшним миром, его чаяниями, заботами, надеждами и свершениями, произведение, за которым стоит сам писатель со своими общественно-политическими, нравственными устремлениями, психологической настроенностью, можем мы воспринимать как художественное, полноценное и современное.

Один из типичных нравственных конфликтов человека, в недавнем прошлом покинувшего родное село, променявшего его на деловитый шумный город, высвечивается в рассказе Виктора Кречетова «Письмо». Он написан в довольно распространенной манере «потока сознания» лирического героя, в прошлом деревенского мальчишка, пережившего войну в далекой, уже позабытой им деревне. Неожиданно полученное письмо вызвало в душе героя сильный всплеск чувств. Память его устремилась к старой белоснежной школе, к людям, сквозь дымку лет кажущимся как бы чище, благороднее и добрее, дороже. Одновременно с благодарным чувством к родным людям у героя возникает вполне обоснованное беспокойство за их судьбы, за судьбы родных мест: в письме-то сообщается, что дорогая сердцу школа не гудит, как пчелиный улей, звонкими ребячьими голосами, ее уже нет, а в новую записался всего... один мальчик, а старая бабка Марфа осталась последним стражем родительского дома.

Ностальгия по родине героя в рассказе передана автором посредством экспрессии его монологов, временных смещений, дымчатой мозаики воспоминаний. Это лирический рассказ, решенный в самобытной творческой манере. Такая манера способствует максимальному сближению автора с читателем. Язык для Виктора Кречетова — это не только первоэлемент творчества, но и непреходящая духовная ценность русской культуры. Речь его, в основном чисто литературная, порой перемежается простонародными оборотами, что придает рассказу правдивую доверительность.

Думы о родных местах, пронизанные патриотическими экскурсами в историю Древней Руси, обращениями к летописям и сказаниям, питают национальную гордость героя за свой народ и внушают читателю патриотические чувства. «Счастлив этот мальчик, который услышит речь Святослава на родной земле!» — патетически восклицает герой, как бы отвечая на все свои сомнения о будущем деревни. В этом утверждении — большой и глубокий смысл всего рассказа о непрерывности исторической преемственности патриотического духа русского народа.

Поднимаемая в рассказе животрепещущую социальную тему запустения старых деревень, автор не пытается ее как-то разрешить, дать практические рекомендации. Он исследует лишь определенное жизненное явление, пропуская его через призму восприятия современником, вкладывая в его размышления тревоги и угрызения, придавая им глубоко лирическую окраску. Душевная выстраданность темы в рассказе Виктора Кречетова о покинутой деревне и близких людях бесспорно вызовет в читателе соответствующий отклик.

Тот же полюс притяжения — родная земля, деревня, но взятые в ином аспекте, а именно в плане тяги людей к красоте, к художественному творчеству как призванию, находим мы в рассказе «Зимняя ночь» Бориса Маркова. Написан он в традиционной ма-

нере повествования от лица рассказчика, активного участника событий.

В прошлом сборнике можно было ощутить особенную, глубинную связь этого автора с деревней, тонкое понимание им насущных, но отнюдь не сиюминутных забот и интересов сельского жителя. В новом рассказе Борис Марков снова подметил нечто важное в русской народной жизни — даровитость и талантливость людей.

Ни для кого сейчас не секрет, что в дефиците культуры на селе, в неумении на местах, где были позабытые старинные народные промыслы, найти им равноценный эквивалент зачастую кроется одна из причин оскудения деревни молодыми силами.

Русских крестьян — деда Макарыча и его внука Витьку — автор в своем рассказе показал людьми, живущими духовными интересами, умеющими в повседневном окружающем увидеть прекрасное и отдаваться ему всеми силами души. «Она, вить, природа, — великое учение... Ведро пота надо пролить — тогда, может, и отдаст толику секретов» — так понимает и поучает деревенских ребятишек старый резчик по дереву. «Слушают, чертенята... а сам смотрю, кому бы умение свое передать. Только бы душу к природе имел!».

Бережно и поэтично на нескольких страницах своего лирического рассказа показывает Борис Марков эстетическое формирование личности художника, деревенского мальчика Витьки. И хотя автор подметил лишь отдельный штрих из жизни нашей деревни, эмоциональность и своеобразие созданных образов придают рассказу теплый, человеческий, взволнованный характер.

Приятное впечатление оставляет язык автора — простой и образный. В диалоге он не злоупотребляет диалектизмами и просторечиями, хотя и не избегает их полностью. Это чувство меры приводит к эффекту интеллектуального сближения героев рассказа, деревенских людей, с рассказчиком — представителем городской культуры.

То же чувство любви к природе отличает героя рассказа Вячеслава Силина «Голуби». Как возвращение в страну детства с его радостями и забавами, а также и неизбежными горестями написан этот рассказ, поднимающий тему любви ко всему живому, тему освоения окружающего мира ребенком. Правдиво и увлекательно переданы автором ситуации, связанные с мальчишеским увлечением героя голубями, увлечением, сейчас, к сожалению, почти забытым юным поколением. С тактом и психологизмом Вячеслав Силин раскрывает характер мироощущения, свойственный подросткам, присущую этому возрасту пытлившую наблюдательность.

Рассказы В. Кречетова, Б. Маркова и В. Силина приводят нас к убеждению, что по сути крестьянский сын всегда, даже если он покидает родную деревню, душою не расстается с нею, особенно с тягой к знакомому ему с раннего детства труду, ибо только труд дает ему душевное равновесие и устремленность в будущее. Об этом, собственно, и рассказ Николая Вахты «Практиканты» — о деревенском пареньке, приехавшем в Ленинград и поступившем учиться на плотника в ПТУ.

Автор уже известен читателю по пятому выпуску сборника «Точка опоры», в котором была опубликована его повесть «Я вернусь...». Проблемы, поднятые в ней, и в частности такие, как тяга к родному дому, формирование и закалка характера деревенского юноши с заложенной в него трудовой основой, взаимовлияние лич-

ности и производства, продолжают развиваться и в новом рассказе.

Сюжет этого рассказа довольно прост. Проходя практику, один из ребят по нерадивости при строительстве подмостей для штукатуров употребил гнилые, надтреснутые доски, произошла авария, пострадала любимая девушка героя, наказан был мастер, который не проверил работу учеников-плотников. Герой рассказа, считая себя причастным к случившемуся и мучаясь раскаянием, решает сделать все, чтобы загладить свою вину перед девушкой и доставить приятное мастеру. Он не только успешно заканчивает практику, но и вырезает из дерева сложную модель макета Нарвских ворот ко дню рождения мастера.

Казалось бы, перед нами банальная история, обыденные, ничего не значащие вещи, изложенные простым языком, без интеллектуальной наполненности, и тем не менее рассказ притягивает к себе читательское внимание, привлекает своею теплотой, непосредственностью и жизненностью. Как этюд радует подчас глаз свежестью и непрорисованностью отдельных деталей в отличие от законченной художником картины, так и такие зарисовки из жизни не оставляют нас равнодушными.

Чрезвычайно важно то обстоятельство, что все эти перечисленные произведения о нашем молодом современнике создавались не в кабинетной тиши уютных городских квартир и загородных дач, а на жизненных деревенских переулках, на строительных площадках, то есть в гуще событий, активными участниками которых были и сами авторы. В них мы не найдем необычайных, сногшибательных, невероятных событий, порожденных экстремальными условиями, в которых находились бы и действовали исключительно смелые, находчивые герои, чем грешат порой в своих произведениях некоторые литераторы старшего поколения, но в них не менее ценный материал, вдохновляющий читателя на постоянное, ровное, уважительное отношение к любому труду, труду честному, добросовестному и повседневному, создающему материальные ценности родной советской земли. В этом нам прежде всего видятся достоинства творчества молодых авторов.

Ведя разговор с читателем о нравственных и общественных проблемах современности, связанных с трудом и бытом, молодые литераторы умеют увидеть за обыденными фактами духовный мир человека и в силу своих способностей раскрыть его, увязывая личное с социальными процессами общества. И если Николай Вахта в своем рассказе «Практиканты» заостряет главное внимание на поведении учащихся в ПТУ ребят, оставляя мастера на втором плане, то другой автор — Владимир Сухов — строит рассказ «Утренние мысли» полностью на размышлениях наставника.

Рассказ «Утренние мысли» перекликается с известным рассказом Сергея Воронина «Наставник». Ни в коей мере не повторяя его и не подражая, но так же, как и Воронин, Владимир Сухов, прежде чем привести героя Андрея Семенова к пониманию наставничества как «тесного единения двух поколений», показывает его сомнения и раздумья. И именно в таком раскрытии непростых путей самопознания — залог художественной убедительности образа.

Автор подчеркивает, что воспитание не односторонняя передача опыта старших младшим, а взаимообогащение и взаимодействие. Если старшему поколению даны мудрость и опыт, то молодежь обладает энергией и энтузиазмом. Это — старая истина. Давно за-

мечено, что юность беспечна, что она не видит подчас того, что ее окружает, не способна трезво оценить обстановку. Некоторые ее представители летят порой, как мотыльки, на ложный огонек.

Не случайно умудренный жизненным и производственным опытом мастер, герой рассказа Владимира Сухова, идя на встречу с ребятами из подшефного ПТУ, задумывается о том, что он им сможет сказать, чем заинтересовать, чтобы привлечь к рабочим профессиям. Выпавшее солдатское письмо из только что вынутой из почтового ящика газеты, оказавшееся от его бывшего ученика, который проходит действительную службу и мечтает вернуться на завод, заставляет мастера еще раз пережить все то, что он испытал с непокорным учеником, благодаря ему вытасненным из дурной компании и ставшим на ноги, вселяя снова уверенность в правоте своего дела и вдохновляя на встречу с ребятами из ПТУ.

Рассказ «Утренние мысли» привлекает современностью темы, чувством кровной связи автора с молодежью. Андрей Семенов, несомненно, вызовет симпатию у читателя как натура открытая, как человек честный и искренний, чуткий к своим подопечным, такой, каким по-настоящему и должен быть наставник.

Непреодолимая тяга к порядочности и ответственности за нравственный облик человека характерна и для героя рассказа «Командировка в южный город» Виталия Ильяшова. Сердце, открытое только красоте и любви, противное всякому злу, непорядочности, стяжательству, отличает молодого зоолога — консультанта фильма Храмова, входящего в киносьемочную группу.

Через труд и быт членов этого небольшого киносьемочного коллектива, очертив ряд эпизодов из их жизни, достаточно емких (погоня за цаплями, ночь в застрявшем автобусе, сцена с охотниками), автор вместе со своим героем приходит к утверждению необходимости для каждого человека постоянного контроля внутренних побуждений соображениями морального порядка. В противном случае, повинуюсь лишь собственным желаниям, стремлениям любой ценой выполнить задание, идя даже на низопись и жестокость, человек постепенно теряет нравственные ориентиры, что происходит в рассказе с попутчиками героя. Виталий Ильяшов реалистически, а порой и достаточно жестко отображает невыдуманную жизнь, которая течет рядом с нами.

Проходят годы, все дальше отодвигаются события Великой Отечественной войны, постепенно редуют ряды участников этих героических событий, но бессмертным для всех последующих поколений останется подвиг советского народа, укротившего, как предсказывал великий индийский писатель Рабиндранат Тагор перед своей смертью в 1941 году, и не только укротившего, но и уничтожившего страшного зверя — фашизм — в его логове.

В грозную годину испытаний и за сорок послевоенных лет создано немало выдающихся произведений о войне, вошедших в героическую сокровищницу нашей литературы. Стремясь в своих произведениях отразить справедливый освободительный характер войны, советские писатели сумели глубоко и разносторонне раскрыть характер героя-солдата, показать масштабность событий и массовую самоотверженность советских людей.

Война, бесспорно, предоставляет предоставлять писателям нескончаемое разнообразие тем, сюжетов, открывающих неизведанные грани героизма и стойкости нашего народа. Многие проблемы в сегодняшнем мире берут свое начало со второй мировой войны. Поэтому не случайно, что все новые и новые литера-



торы продолжают поднимать и разрабатывать героическую тему, внося в нее свой вклад. Природу русского героизма хорошо подметил С. Сергеев-Ценский. «В нем нет надрыва, ни позы, — писал он в 1943 году, — он прост и естественен, он в духе нашего народа, а если теперь временами кажется, что он превосходит все, что было известно нам из истории, то ведь и великая борьба за Родину, которую мы ведем, не имеет себе равной в истории мира».

Одним из представленных в сборнике произведений о героизме русского человека является рассказ «В тот день бушевала гроза» Антона Савенкова, автора, известного читателю по прошлым выпускам. И ныне он в остросюжетной форме, с почти приключенческой занимательностью поведал нам о славном военном прошлом человека, посвятившего всю жизнь летному делу. Пожалуй, трудно найти более обыденный и в то же время яркий пример героизма летчика, доставлявшего повседневно почту на фанерном «У-2» в осажденный Сталинград на виду у фашистов, под носом грозных немецких «мессершмиттов».

Раскрыв характер своего героя в действии, показав этого же летчика спустя годы среди молодой смены работников аэропорта, автор поставил проблему значения жизненного опыта старшего поколения для идущих следом молодых, воспринимающих от них преданность делу, чувство долга и ответственности, умение в критический момент найти правильное решение.

Еще одним примером героического прошлого человека, продолжающего служить и воспитывать армейскую молодежь сложной профессии минера, никогда не выпячивая свои прошлые заслуги, служит рассказ «Побратимы» Рэма Наумова. Только случайно узнается о подвиге, совершенном во время войны ветераном-мичманом, который не только спас тонущего раненого офицера, но и руками отвел мину от своего корабля, бросившись в ледяную воду и больше часа проведя в соседстве со смертью.

Автор правдиво и убедительно показывает, что и в мирное наше время для многих военных профессий, как в данном случае, служба сопряжена с постоянным риском. Это хорошо видно на примере выполнения обычного для этих подразделений задания — разоружения выловленной в море неразорвавшейся донной немецкой мины, оставшейся с войны. Не обходя острых, напряженных моментов, Рэм Наумов при помощи отдельных штрихов проявляет характеры и поступки своих героев в тяжелую минуту. И только благодаря огромной выдержке и опыту мичмана Груздева, не идущего на бессмысленный риск, на который толкает минеров по легкомысленности молодой лейтенант, грозный остаток войны, в котором «притаились сотни тротильных смертей», был спокойно обезврежен.

Героический подвиг Страны Советов вызывал восхищение у всех прогрессивных сил мира. Простые люди земли знали, каких неисчислимых жертв стоила русским борьба за свободу и независимость. И в этой борьбе бок о бок с русскими мужественно сражались лучшие сыны всех народов СССР.

Кровная причастность ко всему происходящему, когда любая частица бытия Родины стала бытием человека, рождала в каждом особую силу, особую духовную статью. Одному такому эпизоду войны — спасению раненых русских матросов с Моонзунда латышским рыбаком во время немецкой оккупации, когда их торпедный катер в неравном бою был потоплен фашистским сторожевиком,

посвящен другой рассказ Рэма Наумова — «Возвращайтесь, родные...».

Знаменательна отраженная автором психологическая сторона героического поступка рыбака Айвара. Он без прикрас показывает этого немолодого человека, который решился на опасный шаг — на виду у немцев переправил на своем рыболовном катере русских матросов к родным берегам. Он ведь рискует не только своей жизнью, но и жизнью всей семьи, если его схватят фашисты, они такого не прощают. Но, вспомнив беспросветную жизнь в буржуазной довоенной Латвии, заветы отца, потомственного рижского рабочего, и брата, красного латышского стрелка, он решается и, взяв раненых, вместе с сыном выходит в штормовую ночь в море.

Пожалуй, самое главное в рассказе, что Рэм Наумов видит в описанном случае скорее типическое, обычное, чем исключительное, свойственное мужественному, честному и свободолюбивому латышскому народу — собрату по революционной борьбе, по отстаиванию независимости от немецких захватчиков.

Читатели, вероятно, смогли заметить характерное направление, определившееся в творчестве Вячеслава Всеволодова, произведения которого публиковались в сборнике «Молодой Ленинград» и в предыдущем выпуске «Точки опоры», а именно его внимание к разнообразным социальным граням проявлений преемственности между поколениями в современном обществе. Какие герои находятся в центре внимания писателя? Это главным образом люди, прошедшие войну, немало пережившие на своем веку, с достаточным жизненным опытом, которым они готовы поделиться с молодыми.

В рассказе «Во поле березонька...», действие которого происходит в послевоенные годы, герой Михаил Иванович, полковник в отставке, бывший участник памятных событий Великой Отечественной войны, естественно приходит к размышлению о характерах и судьбах тех, кто наследует отвоеванную у фашистов родную землю и жизнь на ней.

Автор умело подчеркивает обостренное восприятие бывшим фронтовиком примет выздоровления природы, ее весеннего цветения, справедливо видя в этом признак духовного обновления самого героя, ибо давно замечено, что, чем открытее наши сердца для этого наслаждения природой, тем счастливее мы себя чувствуем. Отталкиваясь от жизненной правды, Вячеслав Всеволодов подчеркивает, что в то же время фронтовик не может до конца считать себя счастливым человеком, так как память слишком часто наталкивается на вехи, вызывающие горькие воспоминания, поэтому он делает все возможное, чтобы скорее поднималась из пепла, огня и забвения к новой жизни земля, чтобы были счастливы следующие поколения.

И в данном рассказе, и в рассказе «Ладога, родная Ладога...» жизнь показана не только в ее поверхностном, но и в скрытом от глаз подводном течении. Мы узнаем не только о поступках людей, но и об их мечтах, потерях и обретениях. Вячеслав Всеволодов понимает, что нравственные силы воспитываются в противостоянии жизненным трудностям, в борьбе, порою в конфликтных ситуациях. И люди и их дела очень различны: один все тянет к себе, как Прохор из рассказа «Ладога, родная Ладога...», другой отдаст все людям, как Михаил Иванович из рассказа «Во поле березонька...». Без навязчивой дидактики, подчеркивая лишь самое существенное в случившемся, автор умеет выделить главное: совесть, честь,

достоинство, если их разбудить в человеке, дают такие добрые всходы, каких не добиться никакими увещеваниями и наказаниями.

Подводя итог всему сказанному о рассказчиках, выступивших на страницах данного сборника, хочется еще раз подчеркнуть, что в столкновении с разными проявлениями человеческой деятельности, отношений между людьми они сумели понять роль таких «катализаторов» совести, каким является положительный герой. Обратившись к разработке характера и духовного мира такого героя, они тем самым объявили решительный бой всему, что принижает достоинство человека. В этом их преимущество. Основным же упреком, который можно сделать им, — это некоторая декларативность их произведений, понятная неопытность (вся жизнь впереди!), а иногда и нравоучительный тон. В целом же, на наш взгляд, они верно диагностируют определенные болевые точки в жизни современной молодежи, и несомненно их рассказы вызовут соответствующий отклик у читателя.

\* \* \*

Другим жанром, представленным в сборнике, является повесть. Читатель уже знаком с Павлом Крневым и Павлом Денисовым как с рассказчиками. Теперь они выступают как авторы повестей. Владимир Лысов и Анатолий Конгро в сборнике «Точка опоры» — дебютанты. Но в литературе они не новички: Владимир Лысов имеет опыт работы в научно-популярной и краеведческой литературе, а Анатолий Конгро — в документалистике и публицистике.

Молодому радиожурналисту, делающему свои первые шаги в избранной им профессии, посвящена повесть Владимира Лысова «Сигналы точного времени». Автор не стремится к внешней занимательности сюжета, к романтизации журналистского труда. Он постепенно вводит нас в будни сложного коллектива, состоящего из людей если не сплошь талантливых, то уж во всяком случае интеллектуально развитых и по роду журналистской деятельности знакомых с определенными жизненными явлениями.

В основе повести проблема актуальная и обычная — человек и его дело. Герой ее — представитель молодой современной творческой интеллигенции Алексей Долгов. Он носитель одной из самых беспокойных, деятельных профессий — журналист. Мы видим, как вместе с опытом работы к нему приходит душевная зрелость, как вырабатываются определенная жизненная позиция и уверенность в себе как специалисте. Но все это дается путем упорного труда, ценой неудач, душевных взлетов и приступов неуверенности в себе, в своих способностях.

Автор достоверно отображает тему становления характера молодого специалиста, его профессионального роста, показывает общественную и трудовую активность молодого человека в коллективе, при выполнении корреспондентских обязанностей, в личной жизни. Юноша проявляет в своем поведении честность, отзывчивость к людям, работоспособность, стойкость в трудностях, несмотря на некоторые неудачи, неизбежные в начале каждого трудового пути.

Суть характера Алексея Долгова раскрывается в сравнении с другими персонажами повести, например, в этом смысле значительно проигрывает герою его более талантливый и яркий по призванию коллега-журналист Брянцев, которого автор рисует человеком легко вдохновляющимся, но так же быстро снижающим при неудачах, капитулирующим.

Гармоническое сочетание устойчивых нравственных принципов, человеческой доброжелательности с организованностью и деловитостью мы встречаем в представителе старшего поколения, в опытном радиожурналисте Жарове. Это тот человек, который не только умно и деликатно руководит своим небольшим коллективом журналистов, но и сам не может сидеть сложа руки, работает засучив рукава с утра до позднего вечера.

Подробно останавливаясь на различных деталях журналистской работы, автору удалось правдиво передать ее непрерывный, напряженный темп. Проходит труд журналиста «в сплошной лихорадке буден». Будничность обстановки наблюдений за людьми интеллектуального труда, отсутствие строгой композиционной и сюжетной оформленности придают реалистическое жизненное правдоподобие повествованию, и, хотя с героями ничего особенного не случается, нам интересно следить за их жизнью и деятельностью, протекающей постоянно среди людей, с их бедами, заботами, успехами и радостями. И в том, как молодой радиожурналист заинтересован в судьбах тех, с кем сталкивает его хлопотливая работа, угадывается настоящий строитель жизни, стремящийся активно вмешиваться в окружающее.

Все герои повести показаны Владимиром Лысовым не только в служебной, но и в домашней обстановке. И это придает характерам большую выпуклость, так как здесь открываются какие-то иные стороны их натуры, привычек. Люди пьют чай, обедают, ссорятся и мирятся с близкими, то есть становятся, как и мы, обыкновенными смертными. Но развитие любовных отношений героя со счастливо встреченной им на пути девушки Аней в повести не отражено, оно впереди, за пределами ее. Залогом счастливого будущего молодых людей можно считать общность их восприятия жизни, понимание неотделимости личного от общественного. Взаимность молодых людей основана на полном доверии друг к другу.

Любовь, семейные взаимоотношения автор понимает как гармоническое единство любящих на основе духовной близости. Там, где оно теряется, семья терпит урон. Это происходит с семьей Жарова, человека мыслящего, но в своей постоянной занятости как-то допустившего отчужденность от близких, что не замедлило сказаться нарастающим отсутствием взаимопонимания с женой и сыном. Владимир Лысов довольно удачно передает психологические оттенки переживаний супругов, обеспокоенных судьбой своего будущего. Что ж, автор прав: самопроверка действительно необходима каждому человеку, даже вполне сложившемуся, каким в повести выглядит этот герой.

Авторские раздумья о юном поколении осуществлены в повести через того же Жарова. Сын его Валерик, воспитанный в эпоху НТР, со школьной скамьи усиленно развивает интеллект, в чем достигает немалых успехов (он постоянный победитель на математических олимпиадах). Одновременно он серьезно занимается спортом. Отец понимает, что все это не дань увлечениям, а результат глубоко осознанной сыном программы.

Зоркий взгляд молодого автора разглядел в современном юношестве определенную однобокость, гипертрофию рационалистической стороны личности в ущерб эмоциональной. Через Жарова он приглашает нас задуматься о важности самого тесного духовного контакта между отцами и детьми, особенно в период формирования личности последних. Время, упущенное в детстве, для воспита-

ния впоследствии невосполнимо. Как раз об этом и размышляет Жаров-отец, с тревогой предвидя сердечную глухоту сына в будущем и страдания окружающих из-за отсутствия культуры чувств у его отпрыска, к которому он, упустив момент, не может уже подобрать ключей. «Крепким орешком» кажется отцу собственный ребенок. Истина печальная, но, согласимся, не редкая для многих родителей.

Повесть «Сигналы точного времени» во всем очень современна. В ней мы слышим ровный, напряженный пульс нашей жизни, узнаем, как ощущают время и его проблемы люди интеллектуального труда, как они понимают современника, трудовой народ строек, промышленных предприятий, ибо герои-журналисты причастны к самым различным сторонам бытия. Хотелось бы пожелать автору в будущем более полного раскрытия характеров своих героев, давая им возможность проявить себя решительными действиями, поступками, требующими от них принципиального выбора. Ввиду отсутствия каких-либо конфликтных ситуаций повесть выглядит несколько приглаженной.

Что же касается главного героя повести — Алексея Долгоза, то он вселяет уверенность: такой человек не отступит в будущем от своих нравственных убеждений, не спасует перед жизненными превратностями. Это человек активной жизненной позиции, ищущий в ней свой путь. И хотя его еще нельзя назвать полноценным строителем жизни, так как он еще очень мало успел совершить по своей молодости, но потенциальные возможности молодого журналиста налицо.

Так повелось, что любой читательский разговор о прочитанной книге, ее героях естественно переключается на реальные судьбы, характеры. В художественном вымысле нам свойственно искать жизнеподобие, сверять свои поступки с действиями и поведением полюбившихся литературных героев, искать ответы на наши сомнения. В этом-то и проявляется огромное воспитательное значение художественной литературы.

Тревожным укором многим современным писателям звучат раздающиеся при обсуждениях книжных новинок на литературных дискуссиях и диспутах вопросы молодых читателей: «Где герой, не только рассуждающий, рефлектирующий, а живущий среди нас полнокровной жизнью?» Почему так трудно стало отыскивать новые произведения, в которых можно было познакомиться с подлинными творцами современной жизни — рабочими, строителями, мастерами урожая, поближе узнать их труд, проблемы, мир увлечений?! Или, наконец, одна из важных реалий жизни современной молодежи — ПТУ. Очень немного можно указать произведений, из которых мы узнаем, как и чему там учатся молодые люди, о чем мечтают, как готовятся к самостоятельной жизни, какие у них представления о гражданских чувствах ответственности, патриотизма, о чести, совести...

Как-то Егор Исаев хорошо сказал, что «самая извечная тема — удивляться труду рук человеческих, его души, его мозга». Вполне естественно, что тема труда неотделима от творчества молодых авторов, о чем уже говорилось выше при разборе рассказов Николая Вахты и Владимира Сухова, успешно работающих в этом направлении, представлена она и повестью Анатолия Конгро «Изобретатель». В центре ее образ талантливого, увлеченного техникой паренька Николая Васильцева, выписанный автором довольно обстоятельно, неторопливо, с большой теплотой.

Знакомясь с героем, его мечтами, дерзаниями, трудностями, мы постепенно убеждаемся, что это человек, умеющий бескорыстно дружить, верно любить и крепко браться за облюбванное дело. В скромных жизненных буднях своего героя и окружающих его людей, таких, как мастер Кряхтунов, друзья Гошка и Николай Капустин, любимая девушка Нина, подмечено немало значительного, интересного. Это, в первую очередь, жизнерадостная увлеченность ребят трудом, познанием нового, техникой.

Основное внимание в повести уделено становлению личности молодого самобытного таланта, в горячем юношеском увлечении техникой которого заложены истоки будущих свершений взрослого человека. На примере мальчишек Кольки и Гошки, устроивших в углу старого чердака свою «экспериментальную» мастерскую, автор правдиво рассказал, как пылкие мечты и фантазии ребят сочетаются с пытливой наблюдательностью, постепенно сменяясь серьезным увлечением техникой, а затем перерастают у одаренного юноши в настоящий талант изобретателя.

Николай Васильцев еще в школьные годы, во время заводской практики, понял, что для овладения любой технической специальностью одних теоретических знаний недостаточно, нужны умелые руки, практическая смекалка. Поэтому, получив отличный аттестат, дающий ему преимущества для поступления в институт, он избирает другой путь — идет на завод, где проходил практику, и начинает работать в электроцехе. На наших глазах постепенно из пытливого юноши формируется зрелый человек, изобретатель-самородок.

В обрисовке героев повести много зазора, искренности чувств. В картинах труда и личной жизни героев — бытовая узнаваемость детализировки; жизненная достоверность соединяется органически с гражданской зрелостью и нравственной взыскательностью. Наиболее удачны в повести эмоционально воспроизведенные трудовые сцены. Волнение, противоречивое чувство радости и сомнения в своих силах правдиво отражают состояние человека, впервые ощутившего ответственность перед коллективом в эпизоде дежурства героя на заводской подстанции. Запоминается и яркий, зримый эпизод сборки сигнального автомата Васильцевым.

В несколько иной манере выступил Павел Денисов, которого мы запомнили как автора необычного, интересного психологического диагноза человеческих состояний. Читая его новую романтическую повесть «Когда кончался сентябрь...», читатель знакомится с людьми мужественной специальности — с геологами, работающими на Дальнем Востоке, с местными жителями, представителями тофаларского народа — оленеводами, охотниками и их неразлучными друзьями — собаками, оленями. Со страниц повести автор доносит до нас ветры дальних дорог, чистый ток кислорода, запахи костров. Как и водится в произведениях подобного рода, мы узнаем, как в трудностях и опасностях проверяются на прочность характеры, крепнет дружба людей. Мысль эта не нова, но автор вкладывает в нее собственную художественную интерпретацию, свои нравственные идеалы, воплощая их в образах главных персонажей повести — геолога Пафнутия Долецкого, каюра Серафима и рассказчика, от лица которого ведется повествование.

Пожалуй, самый запоминающийся образ в повести — это обаятельный лиричный старик каюр Серафим. Внешне ничем не примечательный старик, с небритыми обычно щетинистыми щеками, одетый в простой ватник, он весь светится чистотой помыслов и доброжелательностью. Своим уважительным и каким-то родствен-

ным отношением к солнышку-матушке, кедрам-папушкам, зверям-батушкам, заповеданным тофалару Серафиму его предками, он одновременно и сам частица окружающей природы, и хозяин тайги, привносящий мир и порядок в лесное царство, ибо для него характерно чувство понимания нужд и забот всяческих обитателей этого сказочного края. Завидев медведя на рыбной ловле, Серафим останавливает заворчавшую было собаку словами: «Пусть он охотится, Буска. Хороший зверь всегда занят делом. Не мешай ему, Буска!» Такое мироощущение старика каюра, в котором находят отражение извечные древние представления людей о природе как об одном большом обжитом доме, звучит для нас вполне современно.

Через портретное своеобразие образа автору несомненно удалось передать логику взаимоотношений героя с другими персонажами, в частности с героем романтического склада — геологом Пафнутием Долецким. В описании этого образа чувствуется рука автора рассказа «Желтые листки календаря», знакомого нам по прошлому сборнику, создавшего портреты людей сильных и мужественных, но смятенных духом. В данной ситуации совесть героя угнетена совершенным им предательством. И пусть объект морального преступления всего лишь собака, однако, по идее автора, трагедия безнравственности в том и заключается, что человек, совершивший бесчестный поступок против кого бы то ни было, не может быть счастлив и сам.

Именно это происходит с геологом Долецким, которого окружающие ценят за надежность и выносливость в поле, но из-за замкнутости, обособленности не могут испытывать к нему теплых дружеских чувств. Нужно отметить, что автору удалось воспроизвести эту сложную атмосферу настороженности, витающую вокруг личности Долецкого, которая передается нам еще задолго до того, как мы узнаем историю дружбы человека и собаки, образу которой в повести отведено одно из значительных мест.

Развивая тему душевного отношения ко всему живому, и прежде всего к четвероногим друзьям, Павел Денисов проводит свои главные мысли о том, что любовь и счастье, правду и красоту жизни нужно всеми силами отстаивать и беречь, так же как и свободу, не променивать ни на какие блага, открыто и прямо смотреть друг другу в глаза и всегда ощущать братство и родство между собой и природой.

Именно на основе подобного традиционного подхода к смыслу жизни автору удается понять и распознать у животных, которые тысячелетиями сопровождают повсюду человека, не только всем известную преданность, но и характер, требующий к себе внимания и уважения. Но, хотя мы все не собираемся оспаривать интеллектуальных возможностей собак, а тем более способности их на дружбу и верность, нам представляется образ «черного богатыря» излишне гиперболизированным, загадочно-очеловеченным, что заставляет в нем где-то усомниться. Увлечись романтизацией образа четвероногого друга, автор переступил какую-то невидимую грань, чем и лишил образ жизнеспособности.

Так или иначе, но повесть Павла Денисова «Когда кончался сентябрь...» с большим интересом читается и наводит на размышления морально-философского свойства о чистоте нравственных принципов нашего современника, об ответственности человека за все живое на земле.

Проблемам личной жизни в современной семье посвящена повесть «Жил да был „дед“» Павла Кренева, с замечательными рассказами которого мы тоже уже знакомы в предыдущем сборнике. В ней мы встречаемся с типом мещанки новой формации. Женщина, сочетающая интеллект, развитый упражнениями в литературе и музыке, с жадной роскошью, материальной обеспеченности и наслаждений жизненными благами, не желает ограничивать себя никакими соображениями морального свойства. Такова в общих чертах героиня повести Инна Злотникова.

Справедливости ради отметим, что подобный тип женщин в наше время нередок, и такие «райские птички» умело пользуются своим радужным оперением, гипнотизируя простодушных «петушков», главным образом из тех, что наивно принимают наносный слой культуры за богатство внутреннего мира и душевную красоту.

В нелегкой ситуации оказался герой — честный труженик моря, занятый по роду профессии почти исключительно техническими проблемами. Автор не случайно показал его в окружении простых и бесхитростных людей — моряков, привыкших к суровой работе. И эта работа требует от них не столько слов, сколько дела, бессонных ночей, напряженного внимания к корабельной технике, от исправности которой всецело зависит их жизнь в море.

В обстановке постоянной напряженности, беспокойства за вверенное герою, старшему механику корабля, стальное сердце — двигатель и остальное техническое хозяйство — трудно ожидать от человека, чтобы он находил время для серьезных занятий литературой и искусством. Однако подспудная тяга к красоте, к культуре, живущая в душе героя, приводит его к женщине, которая, как ему кажется, но, к сожалению, именно лишь кажется, сможет утолить его духовный голод, а кроме того, будет для него желанной пристанью в дни его возвращения. Здесь-то и кроется семейный конфликт, развивающийся перед читателями в повести.

Необходимо отметить, что, стараясь изобразить Инну Злотникову недостойной любви и верности ее супруга, эгоистичной и нравственно нечистоплотной женщиной, автор по сути и сам возненавидел свою героиню. И с этого момента его перо избрало лишь одни темные краски. Читателю остается лишь недоумевать, чем же в сущности она так покорила героя повести, мужественного и честного человека!

В заключение хочется сказать, что многие аспекты, о которых говорилось в связи с движением молодой прозы, кажутся нам характерными для всей нашей литературы, ибо в ней отражены герои, на которых держится жизнь. И хотя произведения разнообразны по темам, неодинаковы по художественному проникновению в жизнь, налицо стремление во всей полноте отобразить образ современника, а задача эта важная, нужная и благодарная.

*НИКОЛАЙ ПАНТЕЛЕИМОНОВ*



## СОДЕРЖАНИЕ

### 1. ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

<i>Владимир Лысов.</i> СИГНАЛЫ ТОЧНОГО ВРЕМЕНИ. Несколько дней из жизни молодого радиожурналиста. Повесть	4
<i>Николай Вахта.</i> ПРАКТИКАНТЫ. Рассказ	80
<i>Анатолий Конгро.</i> ИЗОБРЕТАТЕЛЬ. Повесть	88
<i>Вячеслав Всеволодов.</i> ЛАДОГА, РОДНАЯ ЛАДОГА... Рассказ	136
ВО ПОЛЕ БЕРЕЗОНЬКА... Рассказ	149
<i>Павел Кренив.</i> ЖИЛ ДА БЫЛ «ДЕД». Повесть	159
<i>Борис Марков.</i> ЗИМНЯЯ НОЧЬ. Рассказ	194
<i>Антон Савенков.</i> В ТОТ ДЕНЬ БУШЕВАЛА ГРОЗА. Рассказ	202
<i>Павел Денисов.</i> КОГДА КОНЧАЛСЯ СЕНТЯБРЬ... Повесть	208
<i>Рэм Наумов.</i> ПОБРАТИМЫ. Рассказ	236
«ВОЗВРАЩАЙТЕСЬ, РОДНЫЕ...» Рассказ	241
<i>Виктор Кречетов.</i> ПИСЬМО. Рассказ	247
<i>Владимир Сухов.</i> УТРЕННИЕ МЫСЛИ. Рассказ	253
<i>Вячеслав Силин.</i> ГОЛУБИ. Рассказ	270
<i>Виталий Ильяшов.</i> КОМАНДИРОВКА В ЮЖНЫЙ ГОРОД. Рассказ	277

### 2. ВЕСЕЛЫМ ПЕРОМ

<i>Александр Матюшкин-Герке.</i> ВНУТРЕННИЕ РЕЗЕРВЫ. Рассказ	294
МЫСЛЯЩАЯ ЕДИНИЦА. Юмореска	300
ГЛАВНОЕ — ВЫДЕРЖКА. Юмореска	303
<i>Вячеслав Гречнев.</i> ВСЁ В ВАШИХ СИЛАХ! Рассказ	307
ЛИЧНОСТЬ. Рассказ	313
<i>Виктор Петров.</i> РОЖДЕНИЕ ДАЧНИКА. Рассказ	318
Поступь повести и динамизм рассказа. <i>Николай Пантелеймонов</i>	322

**Точка опоры: Сборник повестей и рассказов молодых ленинградских прозаиков.** — Л.: Лениздат, 1984. — 335 с.

В сборник входят повести и рассказы, посвященные нашим современникам. Особое место в сборнике занимают произведения на производственную и военно-патриотическую темы. Сборник завершается послесловием критика Н. Пантелеймонова «Поступь повести и динамизм рассказа».

Т  $\frac{4702010200-117}{M171(03)-84}$  197-84

84.3P7

*Составитель Николай Сергеевич Пантелеймонов*

## **ТОЧКА ОПОРЫ**

**Сборник повестей и рассказов  
молодых ленинградских писателей**

**Выпуск шестой**

Заведующий редакцией Н. П. Утехин  
Редактор Н. Н. Сотников  
Художник Ю. Г. Колотвин  
Художественный редактор А. К. Тимошевский  
Технический редактор Л. П. Никитина  
Корректор М. В. Иванова

ИБ № 2803

Сдано в набор 13.01.84. Подписано к печати 07.06.84. М-37469. Формат 84×108<sup>1/2</sup>. Бумага тип. № 1. Гарн. литерат. Печать высокая. Усл. печ. л. 17,64. Усл. кр.-отг. 18,48. Уч.-изд. л. 19,06. Тираж 15 000 экз. Заказ № 322. Цена 1 р. 50 к.

Ордена Трудового Красного Знамени Лениздат, 191023, Ленинград, Фонтанка, 59. Ордена Трудового Красного Знамени типография им. Володарского Лениздата, 191023, Ленинград, Фонтанка, 57.

1 p.50 к.